

ISSN 0132-0637

Октябрь

1992
12
Октябрь

12 1992



ПРЕДЛАГАЕТ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ — РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, БИЗНЕСМЕНАМ, БАНКИРАМ, АРЕНДАТОРАМ — ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ДИАЛОГ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ У ВАС ЛЮДЕЙ.

Страховые полисы, приобретенные в наших организациях, предоставят Вам гарантии наиболее полного возмещения при повреждении (гибели), краже основных и оборотных средств, убытках при осуществлении коммерческих операций (страхование непогашения кредита и ответственности заемщиков).

Только у нас Вы можете заключить страховые договоры, обеспечивающие комплексную страховую защиту рабочих и служащих.

Это коллективное страхование жизни, от несчастных случаев, возвратное страхование, страхование инвалидности, временной нетрудоспособности, страхование на случай потери работы (рабочего места), страхование различных видов имущества работников и пр.

Устойчивость наших страховых операций, наличие объединенных республиканских запасных и резервных фондов — гарантия полного выполнения обязательств перед клиентами. Наши тарифы — самые минимальные в стране.

Если Вы за предусмотрительность в делах, если Вас заинтересовали наши предложения — обращайтесь в организации Государственного страхования России, расположенные во всех районных центрах республики.

Адрес Правления АО Росгосстрах: 103381, Москва, Неглинная ул., дом 23.

Телефоны: 200-29-95, 200-47-77.



ОКТАБЬОРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1992

ДЕКАБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ ИМЕНА.

- Евгений НЕКРАСОВ. Надя и кадавр Данил Василич.
Олег ЛЕЩУК. Причастие. Петр АЛЕШКОВСКИЙ.
Старшина. Иван АЛЕКСЕЕВ. Мужчина на одну ночь. 3
Михаил БУТОВ. Реликт. Владимир ЛАВРИШКО. В од-
ном тумане, не считая всего остального. Рассказы
- Анастасия ЧАЙКОВСКАЯ. Веселая злая надежда. Алек- 37
сандр МАКАРОВ-КРОТКОВ. Однажды ночью... Татьяна
ВОЛЬТСКАЯ. Яблоко. Стихи
- Марк АЛДАНОВ. 44
Десятая симфония. Повесть. Вступление, публикация,
подготовка текста и примечания А. ЧЕРНЫШЕВА
- Лев МОЧАЛОВ. 89
Голоса Гефсиманского сада. Стихи
- Ирина ОДОЕВЦЕВА. 91
Оставь надежду навсегда. Роман. Окончание
- Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. 126
Иисус Неизвестный. Продолжение

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Юрий ПИВОВАРОВ, Андрей ФУРСОВ.
КПСС: состоялся ли суд истории! 155

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Советская литература — новый взгляд

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
Движущийся ребус. Над строками «Высокой болезни»
Бориса Пастернака и не только 166

Панорама

Обзор книг:

Владимир НАВОКОВ. Бледное пламя (Б. ЧЕРНИН);
Сальвадор ДАЛИ. Дневник одного гения (Т. ВАСИЛЕВ-
СКАЯ);
Дело мастера Бо. Сборник. Полное собрание текстов Бо-
риса Гребенщикова и других авторов (А. ГОМАРНИК);
М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ. «В начале было слово...» В. М. АЛ-
ПАТОВ. История одного мифа (Э. ХАН-ПИРА);
Встречи. Альманах. Ежегодник (Борис КОЛЫМАГИН);
Сергей ЮРЬЕНЕН. Сын империи (Б. ФИЛЕВСКИЙ);
Юлия КАПУСТО. Последними дорогами генерала Ефремо-
ва (Валерий ВОЛКОВ). 174

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Татьяна КОНШИНА.

Серебряный фермуар. Вступление и публикация канди-
дата филологических наук Галины ЧЕРМЕНСКОЙ . . . 185

Содержание журнала «Октябрь» за 1992 год 190

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы сможете приобрести любой интересующий вас номер журнала «Октябрь» (начиная с № 7 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», «Интерпол-Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель
главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора),
И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 02.11.92. Подписано к печати 26.11.92. Формат 70×108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 115 400 экз. Заказ № 2168. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, поэзии —
214-69-37, критики — 214-71-34, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Н о в ы е и м е н а

Евгений НЕКРАСОВ

НАДЯ И КАДАВР ДАНИЛ ВАСИЛИЧ

Что нужно вам, женщина с усами? Что нужно вам от Нади, и зачем у вас шашка на боку, вы же царапаете паркет? Ах, форма такая, вы из жэка? Но это не повод, подумаешь — не уплачено за три месяца. Вам же выгодно, идет пеня. Пеня идет, сапоги — черные зеркала, шашка звяк-бряк, в ножнах гривенник для звона. Вставайте!

Надя распахивает глаза и в дымной вышине, над белой с красной полосой трубой ТЭЦ видит усы и две заросшие буйным волосом пещеры.

— Вставайте, ваш ребенок обкакался, — избегая, как обычно, имен собственных, говорит Хранительница, и дым валит из папиросной трубы.

Данилка у ванны, растопырил ноги, как физкультурник. Его уже трудно удерживать одной рукою на весу, экий вертлявый. Надя моет извивающегося Данилку под краном, свекровь дымит за спиной. При чем здесь, спрашивается, шашка?

— Я сон видела, — делится разговорчивая Хранительница, затаптывая окурок «Любительской» в пепельнице. У нее такая пепельница — как непроливайка, можно класть в карман.

— Правда? — Надя ухитряется всплеснуть руками с повисшим Данилкой, и довольная таким вниманием Хранительница благосклонно подтверждает:

— Данил Василич! Бекеша, бурки, галифе с желтыми леями. Ключик под ним играет, зубищами норовит хватить за колено. Потом глядь — это не Ключик, а Прохор, он Данил Василича возил еще на «эмке».

Вымытый Данилка обвис бледным дождевым червем, и мурашки заползают на согретую под Надиной ладонью кожуцу.

В дверях, от косяка до косяка, — квадратные бедра, квадратные плечи. Только ростом Хранительница не вышла, и Надя прикидывает, как удобнее было бы форсировать м а м у: залезть на край ванны и прыгнуть — или карабкаться по уступам?

— Вы позволите?

— Конечно, вам неинтересно. А Данил Василич служил в наркомате боеприпасов. И в НКГБ — МГБ. А я с десяти лет у очага. Как маму взяли, Данил Василич не захотел в другой раз жениться. Ты, говорил, то есть я, ты хранительница очага.

— Вы рассказывали, — вздыхает Надя, высматривая на потолке — так удобнее сосредоточиться: пять с небольшим лет — почти две тысячи дней; две тысячи историй с традиционным, как «жили-были» в сказке, зачином: «Ты, — говорил Данил Василич, — хранительница...»

— Я рассказываю, а вы запоминайте. Это было. Вам же ничего неинтересно. А это было.

— Позвольте пройти!

— Вот-вот, покричите, Данил-то Василича нет. Чтоб я — на свекровь... И в мыслях не держала, Данил Василич первый меня выгнал бы из дому!

— Мальчику холодно, — полушепотом объясняет Надя, она и раньше

не кричала, но здесь говорят выжатыми больничными голосами. — Сквозняки, а он только-только выздоровел.

Хранительница запускает прокуренный ноготь в прокуренный ус. Чешет, и ходундом ходит кончик носа, торчащий из мясистых крыльев, как пипка плохо надутого шарика. Вдруг кончик игриво ползет вверх, тянет за собою усы и маленький, вкривь наклеенный подбородок. Усы домиком, брови домиком.

— А волшебное слово?

— Пропустите нас, Фаина Данииловна. Пожалуйста.

— Данил Василич так внуку: «А где, Вася, волшебное слово?» А у Васи вместо «пожалуйста» выходило только — «палата». И вот как обедать — Данил Василич приезжал обедать домой, любил по-семейному, — как обедать, он Васю за стол не пускает: «Скажи «пожалуйста». Не палату свою, а «па-жал-ста». Уж Вася старается, он любил немецкую супницу, там пастушки с пастушками, а супницу только для Данил Василича и ставили. Из кожи лезет, а все одно — «палата»!

Нет полотенца, Надя обшаривает пустоту под крючком, как ищут пропаяжу в заведомо дырявом кармане. Все правильно: суббота, Хранительница самой себе сдает-принимает по счету белье.

— Фаина Данииловна, мальчик простудится.

— У него имя есть, у мальчика? Отчего вы все время: «мальчик» да «сын», а имя? Данил Василич! Стыдиться нечего, не Пиня.

Перехватывая с руки на руку икающего мокрого Данилку, Надя стряхивает с себя халат. Укутывает, подтыкает и почти спокойно присаживается на край ванны.

Ванна огромна: мрамор, львиные лапы, розанчики. Пробка давно потерялась, и при стирке сливную дыру затыкают полиэтиленовой крышкой от банки; когда воды много, крышка прижимается и ничего, держит, но чуть не доглядишь — всплывает. Неудобно, много уходит порошок.

— Мы в ваши годы не понимали, как это можно — без лифчика, — замечает Хранительница. — Мужчина в майке или в нижней рубаше, женщины в лифчике. Должен быть стыд.

По ногам дует, хотя Надя еще в сентябре проконопатила ватой и окна, и двери на балконы — их два, декоративных: локти на перилах, а ноги в комнате. Даже сквозняки здесь не с улицы, а свои: зарождаются в гулкой сырой гостиной, которую на Надиной памяти приводили в порядок однажды, к их с Василием свадьбе, и тихой сапой вползают под столы, под кровати.

В ванне можно хранить мороженое мясо — не оттает. Надя ерзает на узком граненом краю, как ни сядь — неудобно, а мрамор знай сосет ее тепло, но сам теплее не становится. Дрожит на руках Данилка, и она не сразу понимает, что дрожит уже вместе с ним, в унисон; отчего-то радостно.

— И что это ребенок ваш какается? Вася был приучен с шести месяцев, только закричит — Ариадна его на горшок. Пеленки стирать не любила: западница, белая кость. Но — готовила! Какая морока была ее прописать, и вообще в Москву не каждого пропишут, а уж на нашу улицу... — Хранительница привстает на цыпочки, делает страшные глаза, и Наде становится в самом деле страшно. В желтых склеротических белках, в неожиданно чистой, гжельской синевы радужке с неаккуратно просверленными зрачками — муравьиное потрясение Подметкой. торившей близости неисповедимые свои тропы.

— «Паккард», — шепчет Хранительница. — Ему нравился «Паккард», и он приказал сделать с него «ЗИС». На «ЗИСах» потом ездили, Данил Василичу был положен «ЗИС». Но один раз Данил Василич проехал на «Паккарде».

Не застудиться бы, думает Надя и — вот способ разойтись, наконец, по комнатам — рассеянно спрашивает:

— От Васи ничего нет?

Синева подергивается зелеными крапинками ряски. Глаза Хранительницы ясны, покада смотря на Данил Василича, на «Паккард», на бурки с кожаными головками, Торгсин и трофейные шелковые халаты. А здесь и посмотреть не на что — все мелко. Не напольный, с нынешний шкаф «Телефункен», а легкомысленный транзистор величиною с пачку вермишели;

не плавный на ходу черный и угрожающий, как танкетка, «Паккард», а высыпанные из ящика с игрушками разноцветные машинки, их и называют тачками. Люди здесь мельче. Оттого, что портачей увольняют с работы, а было — увольняли из жизни.

— Где уж Васе, — передразнивает Хранительница. Вася для нее мальчик, любовавшийся супницей с пастушками, а сейчас в обиходе — Василий, при гостях — Василь Мартенович. Данилку же зовет «он» или «ваш ребенок» (хотя Наде и пеняет за подобное) — может быть, оттого, что до «Данил Василича» внук не дорос, а подцепить уменьшительный суффикс к такому имени язык не поворачивается. — Где уж Васе, ему на мать времени жалко. Зато жене...

И смотрит искоса, и Надя должна ответить: нет, и мне с июля не писал.

Писал он в августе, только не сюда, а на отцов адрес. Но — придержи язык, Надя! Отец Василь Мартенович, ответственный работник то МИДа, то Внешторга, погиб то в Гватемале, то в Венесуэле — опять же для гостей Хранительницы. Старых-то знакомых, кто знал правду, она отвалила.

— Нет, и мне с июля не писал, — лжет Надя, трусоватый ученик. Ругается Хранительница нечасто, но со вкусом, не съезжая с вежливого «вы», и кажется, что не Надю честит она, не сына и не внука, раз нолапых, а весь нынешний разнолапый мир, едва успевший качнуться, может быть, полшага сделать из шеренг.

...Хранительница разворачивается, толкнув своими квадратами и уступами дверь. Уходит.

А писал Вася — на школьной контурной карте, где нарисованный человечек («я» — поясняла стрелка) занимал с полтысячи квадратных километров, но все равно терялся на белом, как в снегу, — писал, что сделался уже матерым вздымщиком, ночует в тайге где попало, а в поселковой лавке продавщица держит для него личную поллитру и банку с маринোванными помидорами. И прет, Надя, твой Васятка из тайги медведем, даже волос на теле загустел, отбивается от собак, моется в ничейной грязной баньке и принимает двести грамм из личной поллитры, под личную помидорку — они кислющие стали, тебе посмотреть и то было бы страшно. Осталось три помидорки. Добью — приеду.

И подписался: кандидат искусствоведенья, доцент и протчая.

Это — Наде. Для отца расчертил табличку: выработка, расценки. Выходило, что за сезон добыл кандидат искусствоведения живицы на одну комнату. Но однокомнатная им с ребенком будет мала. Еще полкомнаты даст книжка — сам понимаешь, не белль летр, на потиражные расчитывать особо не приходится. Так что добавь, ответработник то МИДа, то Внешторга (семейная дразнилка; на самом деле Мартен Мартынович юрисконсульт на заводе). Отдам, когда получится. А то на второй сезон меня не хватит...

Отточие в конце пробило бумагу насквозь — надо полагать, писал Василий на колене.

— У меня семья, — сказал Мартен Мартынович Наде, когда она прочла и второе, ему адресованное письмо. Сидели на кухне, новая Мартен Мартыновича жена гуляла с новым сыном. Сверху крутили «Юрая Хипп», снизу стучали по трубам.

— Семья, — согласилась Надя.

Мартен Мартынович помолчал со смыслом, как умеют молчать руководители, пока маленький человек обкладывает себя хворостом и суетливо ищет по карманам спички; да вот Надя, показалось ему, не прониклась. Будто бы ждала еще чего-то, хотя все сказано — умному достаточно.

— Новая семья, — пришлось уточнить для недогадливой невестки.

— Я так и поняла, новая, — подтвердила Надя, уж чему-чему, а подтверждать да поддакивать научилась девчонка из Комаричей в генеральском доме.

На самом-то деле — врач «скорой», на четвертом, кстати, десятке — поздний брак; и дом, остывший каменный уют, населенный уже не ответственными работниками, а ответственными квартиросъемщиками, на-

зывали «генеральским» разве что соседи из агонизирующих трехэтажек, где текло сверху донизу и в подвалах круглый год водились комары. Но таилось в доме нечто, законсервированное в многолетних наслоениях краски, в газетах тридцать пятого года под обоями. Или нечто — с обратным, понятно, знаком — оказалось заложённым в Надин характер когда-то давным-давно, с первым «нельзя»? Только в доме она не могла не то что перечить, а разговаривать громко. И нечастые гости в любом настроении быстро сбивались на полупшепот. Один, правда, любил пошуметь и послушать эхо, но то был не друг, а навязчивый дурак. (Возможно, нечто и было всего-навсего эхом, рождавшимся под непривычно высокими потолками, так что люди пугались собственного голоса. Несомненно лишь то, что виною всеобщей пришибленности была не Хранительница, тут она, именно как хранительница, поддерживала, а не насаждала.)

Кто знает, что варилось под самоварно блестящей лысиной Мартен Мартыновича. Ретивое ли взыграло — ведь невестка не старше новой его жены, — возрастное ли желание иметь своего, по гроб тебе обязанного врача, а скорее — Наде не хотелось думать о нем плохо — пахло на Мартен Мартыновича памятной отравой смирения.

Он-то выбросился из той жизни на ходу, и вначале, пока радовался возможности ощутить себя и отдышаться, было не до воспоминаний. Новая жизнь шла вроде бы с такими же остановками, так же трясло на стрелках, и уже казалось: ну что там постылая тетка со своим Данил Василичем, мне постылая, Васе — мать. А теперь вот покорная Надя, принесшая с собою запах тех стен... Сын бывал не таков. Бодрился.

И вновь осознал Мартен Мартынович, не мог не осознать, коль в свое время без носового платка удрал из покоев, что сама по себе Хранительница — полбеда, а беда и зараза, исподволь гложущая семью оставленного им сына — ну и так далее, свободный человек может позволить себе отрицательные эмоции.

— Дачу-то вы продали? — спросил, уже сдаваясь, и догадливая Надя поправила:

— Она. Дачу она продает. У двоих получила задаток и ждет, кто поднимет цену.

— Угу, — подмигнул совсем уже по-свойски, стал потчевать Надю фруктовым сахаром. — А вам на радостях отказала подстаканник Данил Василича.

— Обижаете, — так же по-свойски съехидничала Надя, — не подстаканник, а ложки. То мы ели ее ложками, а теперь едим своими.

Мартен Мартынович взглянул исподлобья: говорить или нет; вместо «Юрая Хипп» сверху завели что-то Наде неизвестное, ударник молотил бесстыже и неизобретательно, как полковой барабанщик: бумм — бам, левой — правой. Зато внизу смирились и перестали бить по трубам.

— Это не ваши ложки. И не ее. Это ворованные ложки, — решил-таки рассказать Мартен Мартынович. — В сорок девятом тесть получил служебную дачу: кровати застелены, в буфете полграфинчика водки, детская коняшка валяется в саду — осень, дожди что ни день, а с нее даже краска не успела облезть. Занес он эту коняшку в дом, а Фаина уже командует шоферу: «Комод передвинь, трюмо ко мне...» Она тогда была с животиком — Вася-то январский. Стоит Данил Василич так с коняшкой, на животик ее поглядывает, и вижу, хочется ему рыкнуть. А как тут рыкнешь, если нас с шофером трое свидетелей, и надо радоваться. Так и прожили на этой даче осень и лето — опять же надо, раз положена дача. Данил Василич только ругался, когда били посуду, — ведь все чужое, по описи. Потом дали ему Сталинскую премию, и он затеял строиться, а казенную дачу сдал, снова по описи. Фаина порезвилась, махнула серебро на мельхиор. Заметить бы сразу, что ложки дачные, а мы привыкли. Я вообще гуманитарий областной выделки, считал мельхиор серебряным сплавом. Это Данил Василич обратил внимание, а прошло уже с неделю, на даче новые люди... И все боялись. Приходит со службы — я пораньше, тесть уже под утро, — Фаина открывает и заглядывает за спину, на лестницу. А мы — через ее голову в комнаты.

...Позвонили. Мартен Мартынович пошел открывать, и Надя с ним, решив лучше сразу показаться новой (свекрови? — фыркнула про себя). А

то сидят одни, Мартен Мартынович по-домашнему в спортивном костюме — словом, понятно. Как понятно и то, что эта новая — не Хранительница, но тут уж Надино право дуть на воду.

Оказалось — нижние, те, которым надоело стучать по трубам.

— Это не у нас, — отчего-то виноватым голосом объяснялся Мартен Мартынович: дескать, и рад бы услужить — поскандальить, раз уж вы так настроены, да ничем помочь не могу. Не у нас.

Нижние — супружеская чета, ровесники ему, но оба расплывшиеся и неровные, будто набитые цельными яблоками, — уже и сами поняли, что рок бесчинствует наверху, но выговаривали Мартен Мартыновичу: как это он с маленьким ребенком терпит и так далее.

Все скомкалось. Надя, раз уж вышла в коридор, засобиралась, Мартен Мартынович стал уговаривать; мол, дождитесь, посмотрите сына. «У меня Данилка некормленный дома», — отвечала Надя, прыгая на одной ноге: лень было расшнуровывать кроссовки. Рок буйнил, набитая чета в два голоса обижалась.

— Так чем там кончилось с ложками? — спросила Надя, хотя надо было бы спросить о деньгах.

— В общем-то, нормально кончилось. — Мартен Мартынович пожал ей пальцы — не ладонь в ладонь, а как если бы хотел поцеловать ручку — и кивнул на пару набитых: — Потом расскажу.

Значит, будет «потом», успокоилась тогда Надя.

А теперь сидит на кровати раздетая, заснувший Данилка на руках бьет ей коленкой в живот, будто еще не родился, и кажется Наде, что последние годы она так и просидела с летаргическими глазами человека из очереди — ждет жизни, этого самого «потом». А будет ли?..

Девочка Надя, чего тебе надо, какой жизни? Хранительница анекдотически скупа только на живые деньги, а так и накупит, и наготовит, и накроет стол по дипломатическому протоколу, и научит обращаться с полудюжиной вилок, и покажет, как не давясь и не брызгаясь едят каверзное блюдо — бульон с яйцом. Подметает, передвигает, протирает; моет залежи хрусталя и фарфора (ковров, слава богу, нет — Данил Василич не любил) — все это, Надя, будьте объективны, именно для жизни, для того, чтобы очаг Хранительницы горел сильно и ровно, как прежде.

Тогда озабоченный Данил Василич приезжал не вовремя, но все уже páрило и пахло, и тарелки были подогреты, а нарзан охлажден в ванне, и обязательная к столу фиолетовая травка базилик — Данил Василич называл ее по-грузински «регáн» — не лежала, а будто стояла на четвереньках, такие у нее были упругие, не успевшие умереть листья. Хранительница встречала его в чистом, с толстой косою, и пахло от нее молодостью, а не пóтом и кухней, как сейчас. Данил Василич по-отечески чмокал ее в лоб, а то и шлепал пониже спины, как прилежный садовник, беспokoясь, не перезрела ли, — насколько могла понять Надя, был он простоват, хоть и любил изысканный стол, — чмокал или шлепал, и графинчик со сладкой или горькой, по настроению, доставал собственноручно из буфета.

Домработницу Ариадну и шофера сажали за общий стол, а потом и порученец бойкий Мартеша появился, стеснявшийся тогда патриархального своего отчества, как нынче стесняется индустриального имени. Для Мартеши пришлось раздвинуть стол — не беда, стол-то «сороконожка», хватило места и для другого порученца, постарше, — это когда Мартеша стал зятем, неудобно держать зятя порученцем. — и для названного в честь прадеда Васи, который все никак не мог выговорить «пожалуйста».

Ели, слушали осторожные, без имен, рассказы Данил Василича, поднимали обязательные тогда госты, обнося только Васю и шофера, всласть курили за столом — дым уносился под высокий потолок, и в гостиной не пахло табачной кислятиной.

Данил Василич уезжал; с час убрали и мыли посуду, еще с час отдыхали — западница Ариадна вспоминала, как жилось при буржуях, — и потихоньку начинали готовиться к ночному возвращению Данил Василича: протирали в кабинете, мыли в прихожей и на кухне, впрок лущили грецкие орехи, вымачивали что надо в молоке, что надо в уксусе.

Только нет домработницы Ариадны.

Только шофер не относит, как прежде, на кухню пайковые свертки — где тот шофер, где пайки.

Только фиолетовая травка базилик стóит на рынке уже не гривенник старыми, пенсия за потерю кормильца ничтожна, и Вася, как бы хорошо ни научился выговаривать «пожалуйста», никогда не будет получать и половины того, что получал дед.

Очаг остыл, и Хранительница суетливо пытается протопить его жалкими щепками, сгорающими быстро и без жара. Деньги — что; в конце концов проживала наследный фарфор, теперь будет проживать наследную дачу. Обрушился весь уклад, от протокольных обедов (ну кто сейчас может позволить себе заехать среди дня и отобедать дома?) до прежней медицинской чистоты, какую валкой Хранительнице поддержать не под силу. А кажется, ведь было уже: в годах женщина и женщина помоложе, с маленьким сыном — и вещи лежали на своих местах, и горели бронзовые шпингалеты, и пускал зайчики воцеленный паркет. И Хранительница стервенеет, кричит на разнолапую свою помощницу Надю — то есть, понятно, не кричит, а наполняет голос до общепринятой сочности.

Хранительница права. Хотя в ее рассказах и возникают фигуры вовсе уж мистические, как-то: полотер, мойщик окон — всё мужской профессии — и дворничий мальчик Саша, за пятак старыми выносивший жильцам ведро, двум женщинам и без них под силу вылизать сто с чем-то метров до требуемых кондиций. Пока у Нади не было Данилки и не прошло понятное изумление п л о щ а д ь ю, она помогала Хранительнице с истовостью неофитки, и бывало, что после маетного выходного дня достигался идеал — «как при Данил Василиче».

Только сейчас Надя не хочет, чтоб как при Данил Василиче.

В зыбкой полудреме чудится ей, будто квартира сжалась в кукушечий домик и тусклый часовой механизм где-то под полом заставляет всех здесь живущих копошиться, бить крылом и выхрипывать непонятное — атмосферное давление на пике Победы или температуру в тени собачьей будки. Механизм-то врет, стрелки безнадежно повисли на половине шестого, и колесики со сломанными зубьями стучат и проскальзывают. Но движитель всего — чугунная гиря на цепочке вознесена превысоко, по миллиметру, по звеньишку разматывается за нею цепочка. Хорошо, если сама оборвется, — а ну как прохожий любитель порядка вздернет гирию еще выше, где надо подмажет, где надо подтянет... Бред, утешает себя Надя, внизу никакой не механизм, а полоумная старуха Мясова — бутылки, банки, оберточную бумагу складывает в комнаты, сама живет на кухне и целыми днями греется у плиты. «Вы хотите жить, как Мясиха, — горестно констатирует Хранительница. — В помоях утонуть хотите». Опять у нее шашка на боку. Что все-таки нужно вам, женщина с усами, отчего вы служите покойнику?

Ключнула носом, очнулась. Данилка опять вертится — жарко ему. В коридоре отчетливо шаркает Хранительница. Отжимает воду над звонким тазом. Опять шаркает.

— Мы гулять пойдем! — кричит Надя в задраенную без щелочки добротную дверь.

— Да мне-то что, — шарк, шарк, отвечает Хранительница. — Только я вас на стул закрыла. Коридор, — шарк, шарк, — высохнет, шарк, — и гуляйте на здоровье.

И тогда Надя, отчаянно зажмурившись, плюхается за стол рядом с самим Данил Василичем. «Скажешь волшебное слово — садись с нами. Только не «палату» свою, а по-жал-ста», — з а н и м а е т с я отвработник НКГБ — МГБ — нет, не с Васей, Вася добывает живицу на белой контурной карте, а с правнуком Данилкой. «Па-ла-та, — старается Данилка, ему хочется поближе к супнице с пастушкáми и пастúшками. — Па-ла-та! Па! Ла! Та!»

Надя встает, у нее толстая коса, как у Хранительницы на снимках. Надя берет супницу. И в истоме. В счастье, с каким любила еще до свадьбы, когда бродили не юные, замороженные работою люди по киношкам и паркам, и все было ясно, и было негде, а Вася, оказалось, носил с собою ключи от проданной теперь дачи с колоннами и гнилой пальмой в гнилой кадке, но боялся оскорбить ее, Надю. И вот Надя случайно — грела руки в его карманах — наткнулась на эти ржавые ключи, и он побледнел и покраснел од-

новременно, стал каким-то рыжим, залепетал, заврался в минуту. Бог мой, как сладко плакала она, еще не выпытав, что это за ключи, но поняв — ключи. И поняв, отчего Вася еще месяц или полгода назад не сказал, ключами эдак позвякивая: «Друг в отпуске, просил цветы поливать. Может, съездим?»

И в таком, да, счастливом полете Надя обнимает глянцевою теплой супницу и медленно, медленно надевает на голову Лауреату, Кавалеру, историческому Данил Василичу.

В коридоре — шарк, шарк — точит шашку Хранительница.

— Он кадавр, ваш Данил Василич! — кричит в трубку Надя; у ног ее, прижавшись, Данилка утаптывает сугробик, нанесенный сквозь разбитую дверь телефонной будки. Снег чернеет и становится кашей. — Я поняла, он сосал при жизни, Ариадне хоть платил, такая работа — ладно, а дочь за что? С девочек, господи, ей бы открытки с артистами, а тут все мечты — напитать Данил Василича. Не папу — Данил Василича, представляете, сын зовет вас Мартен Мартынычем? При жизни сосал и был вампир, а умер — получился кадавр, опять сосет. Он уже нас с Васей сосет! Я не хочу провести жизнь в молениях на штаны Данил Василича, пускай даже штаны с желтыми леями. Я вообще не знаю, что такое леи.

— Надя, — как в тряпку говорит Мартен Мартынович. — Вы зайдите, Надя. Сейчас.

И такой механический голос у него — осторожно, двери закрываются, — что Надя выскакивает из будки не проверившись, хотя каменный дом — вот он, и Хранительница может оказаться поблизости. Выйдет в магазин — и пожалуйста: невестка разговаривает из автомата. С кем? Почему не из дому?

Нести укутанного Данилку тяжелее, чем одетого по-домашнему, будто комбинезон и сапожки бог весть какой груз. Снег по обочинам, а тротуары поплыли; на газоне, где в земле проложена теплая труба, еще пытается жить травка, но это Москва, Надя, а белая контурная карта давно под снегом, и сосновая кровь — живица — янтариками застывает на морозе. Там нечего делать кандидатам искусствоведения, зимой живицу не добывают.

А ведь она ждала механического голоса Мартен Мартыновича, понимает Надя, руки отваливаются, камней, что ли, Данилка напихал в карманы? Не самого по себе голоса, но чего-то уже случившегося, что предопределило и этот голос, и ее, Надин, бег с Данилкой по раскисшему снегу... Так, наверное, ждала украсшая ложки Хранительница, не называя даже про себя, чего ждет.

Метро. Данилка жмурится и закрывает уши варежками. «Все?» — спрашивает на каждой остановке, и Надя отвечает: «Еще далеко», потом отвечает: «Скоро», — а потом встает к двери, и сидящий рядом подвыпивший старичок принимается уступать ей место: вскакивает, уговаривает, обижается, снова садится; вскакивает, уговаривает...

— Вы знали такого Данил Василича из НКГБ? — кричит Надя. Что это всегда так воет в метро? Занятый старичок не слышит, он как раз обиделся. — Я работаю в его квартире-музее, это интересно. Рабочие энского завода подарили Данил Василичу плексигласовый танк, непохожий на настоящий по соображениям секретности, а еще у нас есть лампочка-шахтерка и бухгалтерский халат.

Молчун Данилка тоже кричит, он домашний молчун: Хранительница требует выговаривать слова, как положено, а, как положено, Данилка еще не умеет.

— Пыиг, пыиг, пыиг! — кричит Данилка и подпрыгивает у Нади на руках: прыг — прыг — прыг. И еще он кричит: — Дыйлич, Дыйлич, Дыйлич! — Данил Василич.

— Это правнук Данил Василича, он вырастет и будет у нас экскурсоводом, — надсаживается потная Надя, с ума она сошла, что за чушь?!

Серые стены тоннеля взрываются простором и светом — Измайловский парк, здесь рельсы выходят из-под земли, — и вой отскакивает от поезда. Поначалу кажется — тихо.

Данилка молчит. Надя молчит.

— Не хотите — как хотите, — заявляет старичок и садится.
Не слышал.

А в прихожей...

Надя не здороваясь заглядывает Мартен Мартыновичу за спину, а в прихожей красный Васин рюкзак и обувь из кого-то лохматого.

Милый кандидат искусствоведения, как он лихо похвастает, будто сам подстрелил лохматого.

— Можно было сразу сказать? — шепчет Надя в лицо странно улыбающемуся Мартен Мартыновичу. Данилку несет впереди себя, смотри, какой у нас Данилка... Сейчас за дверью — ржавый ключ из Васиного кармана, ее слезы, Крымский мост, — они стояли тогда под Крымским мостом, и над головами громыхало. Сейчас... И обидно, что в комнате лишь взметнувшаяся навстречу новая Мартен Мартыновича жена, как ее зовут? Обидно, должна была почувствовать, где Вася, — вон он плещется, бедный, здесь маленькая ванна.

— Туда нельзя, — больничным, любезным Хранительнице голосом уговаривает Мартен Мартынович. Да почему нельзя, что вы?

Что вы?!

Литая мужицкая спина. И прет, Надя, твой Васятка из тайги медведем, даже волос на теле загустел, отбивается от собак, моется в ничейной грязной баньке...

А ведь не Васю ждала, позабывши плотью его плоть, — нарисованного ждала человечка, и это было уже началом смирения.

«Скажите, что он пошел в булочную», — хочется попросить Наде, но говорит она:

— Когда?

— Да месяца с два. — Мужик, бедняга, прикрывает ягодицы мочалкой, глаза в зеркале над стеклянной полкой дикие.

— Я врач, — механически успокаивает Надя, сует Данилку за дверь, Мартен Мартыновичу. — Разденьте мальчика, жарко.

— Сейчас выйду, — переступает большими ступнями мужик, глаза просят пощады.

— Это я сейчас выйду. Извините... Как?

— В машине, в кузове. Легли спать, мотор работает — шоферу в кабине греться. Ночью ветер поменялся, и под брезент им задуло с выхлопной трубы. Двое. А шофер живой.

— Мойтесь, — разрешает Надя. — Мальчику пора есть и спать, мы уйдем нескоро.

Это для всех обязательно, как восторг ребенком: надо же, он сам ест из бутылочки. В экстазе творца или в угрюмой сосредоточенности исполнителя, отложив метлу опричника или дирижерскую палочку, — надо же, он сам ест из бутылочки! И — щелкнули ножницы, хвостик пряжи мелькнул в бездне — надо же, я был в котельной или на концерте, а он, выходит, уже...

Месяца два, как он у же, а Надя, что делала Надя?

Ездил на дачу с теми двумя, у одного «Волга», у другого «Вольво».

«Вольво» просторнее, плавней на ходу, но как раз в нем Данилку укачивало, и он отхаркивался, рыгал в кювете, как взрослый перепивший мужик, а быстроглазый хозяин машины сочувственно морщился, довольный, что успел вовремя остановиться и сиденьям ничего не угрожает.

В «Волге» дуло. Шофер жаловался, что не может пройти мойку — в щели затекает, — и приходится мыть из ведра. Блеклый покупатель в бордовом галстуке с полосой в тон костюму — лицо терялось, этакий манекен — отвечал на это, что к Новому году будут и новые машины. Он вечно торопился, приказывал гнать и курил, совершенно как Хранительница: когда и где хотелось, даже тетешкая Данилку, которого, тоже в манере Хранительницы, тащил на колени между прочим, как кошку.

В конце концов Данилка заболел бронхитом и ветрянкой, подхваченной неизвестно где, — во дворе каменного дома было всего-то двое помимо него мальшей, и они, ясельные, уже перенесли ветрянку. Ездить на дачу, чтобы покупатель еще раз слазил под террасу и простучал балки (терраса подгни-

ла, балки звенят, как новенькие), Надя отказалась, какой бы уход за Данилкой ни сулила Хранительница с ее вечной папирсой.

Вот и все события двухмесячной давности, кто там сейчас в хозяйском зуде выступает балки уже своей дачи — быстроглазый, которого Хранительница в лицо называла басурманом и грабителем, или душа блеклый? Забыла или не знала: что ей чужая наследная дача.

Ах, нет. Жалко дачи. Теперь — жалко.

У истории с ключами есть продолжение, это ей тогда казалось, что продолжения нет — глуповатый скомканный финал.

В электричке битком, наступали на ноги, и оттаявший рыбий хвост из чьей-то авоськи норовил задрать Надин подол.

Асфальтированная пустая дорога, узкая и чистая, дачи с общим проволочным забором — забор с будкой, будка со сторожем, сторож с собакой, Васю не хотел узнавать даже за рубль.

Дача сыра и безобразна. Вася растапливал печь, она пошла наверх — выбирать комнату, но всюду не торопясь гуляли толстые бурые мыши. Назад шла расстроенная, у лестницы подсмотрела немножечко за Васей — хотелось видеть, как он с мальчишеской самозабвенностью делает огонь. И увидела: что-то выковыривает гвоздем из гнилой кадки с пальмой. Там в боку была словно червоточина, и он полкадки земли выворотил на пол, чтобы взглянуть на эту червоточину изнутри. Покажи, пристала Надя; спорить с ней он еще не научился и показал — свинцовый сплюснутый шарик. Она подумала: разыгрывает, — и обиделась. А Вася сказал: поехали домой — здесь не место. По-медицински небрезгливая, Надя знала, что все же будет думать о мышах, какие они разносят болезни и как устраивали гнездышки в комодке с бельем. А он, выходит, не то догадался по ее лицу, не то сам думал так же — и стало неважно, что там за сплюснутый шарик, а важно — что берег Надю. Любил.

Вот что было продолжением. А как раз близость могла тогда стать финалом.

— Он застрелился, — шепчет Надя, обнаружив перед собою глаза новой Мартен Мартыновича жены. Обидно: зачем Вася скрывал от нее? Опять берег, но зачем так беречь ее, Надю? Это же трудно — держать себя за язык, и всегда начинаешь злиться на того, кого обманываешь.

Новая Мартен Мартыновича жена заглядывает сбоку, наклонивши голову к плечу, и Надя тоже наклоняет голову: кажется, что, если глаза будут смотреть строго зрачок в зрачок, эта новая поймет ее без слов.

— Он угорел, Гена привез справку, — убеждает ничего не понявшая, зрачки, наверное, не совпали, новая Мартен Мартыновича жена.

— Ну да, застрелился, — возникает лицо Мартен Мартыновича с тою же странной улыбкой. — Почти что при Васе, подлец. Оружие из дому забрали, даже мой «Коровин», так он взял у соседей двустволку — поохотиться... А Фаина ходила за керосином, электричества там еще не было.

— Свинцовым таким шариком? — уточняет Надя.

— Картечью... Неужели Вася сказал? Он после заикался до девяти лет. И сейчас заикается, когда устал или тяжелый разговор, не замечали?

Слез нет, но мутный вокруг Нади мир становится резче и красочней, она понемногу осознает себя: вот пальцы — шевелятся, вот задравшийся подол, и новая свекорова жена змеєю смотрит на ее голые колени; а сидит она в кресле, полированные черные подлокотники холодны и жестки; на окнах полотняные занавески с мережкой не узором, а буквами: «ОЛИМПИАДА-80».

Так вот и привыкают к смерти.

— Он сейчас не заикается, — говорит Надя, а слез все нет.

— Извините, — извиняется за Мартен Мартыновича новая жена.

— Где Данилка?

Данилка на кухне, обливает дядю молоком. А дядя на полгода его младше, но должен есть сам. один: такое здесь воспитание. Надя снимает с Данилки свитер, на полпальца намазанный овсянкой, и — Бог с ним, со здешним воспитанием — сажает Данилку на колени, выскребает из миски, что осталось.

А укутанный по-зимнему Данилка не тяжелый, приходит в голову, а неудобный. Ему неудобно, рукава, штанишки толстые — и неудобно ей.

Как-то детские тельца приспособлены к нам, гибкие, как-то легко прикипают к нашим ленивым мясам.

Плоть родная, великие удачники — дети, вы и умнее нас будете, и светлее, и обойдут вас косность наша и наши болезни, а то, что мы сейчас зовем дерзаниями мысли, станет для вас привычнее колеса.

И тогда мы обвиним вас в тягчайшем грехе — непохожести на старших, и грех этот с лихвою покроет наши собственные грехи. Мы же грешили для-ради вас, для-ради будущего. А вы грешите себе в удовольствие.

И входит мужик Гена, одетый и суровый.

— Что ж ты, — обвиняет, — не приехала? Моя с двумя грудными — и то приехала. Это в прошлый год, когда я загулял.

А Надя утешалась, заглядывая в пустые глазницы почтового ящика: и тайга не без людей, случись дурное — сообщат. Потому и знала, едва увидев незнакомого человека, привезшего Васиных вещи: случилось. А раз случилось — уже давно сообщили. Но тогда, в ванной, второе мелким было перед самой смертью, и ей в голову не пришло гадать, затерялось ли известие на почте или до сих пор лежит между страницами искусствоведческих журналов, припрятанных нелюбопытной Хранительницей «до Василия».

Выходит, сейчас пришла нужда подумать о письме или телеграмме таежников. Выходит, она еще чуть-чуть привыкла к Васиной смерти.

— Кому отправляли телеграмму?

— Кровный Василь Мартеныч, — делает Гена «козу» Данилке, а разглядывает Надю.

— Вы что же, два месяца молчали — и вот приехали?

Кожею Надя чувствует, как скользнул взгляд мужика Гены в вырез ее кофточки, как прошелся по ногам.

— А ты, значит, ни сном ни духом? Не знала? — наконец спрашивает, сделав какие-то свои выводы.

Уйти, думает Надя. Уйти, потому что продолжение будет мерзко. Но и Гена этот уйдет, канет в белизну, а вместе с ним — и могила на контурной карте.

Молчит, паршивец. Ждет, когда она скажет — не знала.

— Не знала я, — говорит Надя вяло, как разбивший стекло школьник твердит свое «не я» без надежды на людскую доверчивость.

А мужик сумрачный Гена говорит:

— Мы-то думали, мамаше плохо, и ты при ней. А ты вон какая... Сука. Я — поняла? — я был у Василья Мартеныча мамаша два месяца назад, пока ты на даче... Она мне доверенность написала на его деньги, в конторе не хотели давать, но я говорю, мамаша, говорю, у ней горе, у мамаша. И вот, привез. А Василь Мартеныч лежал на леднике — пока там следствие, пока что... Могла ты успеть? Могла. Поплакала бы честь-честью, а то и цинку свезла бы в Москву. Некоторые своих возят... А ты, выходит, и знать его не желаешь.

— Мы не знали, — встречает бестолковая Мартен Мартыновича жена, помолчала бы.

— Вы, — упоенно отделяет Гена чистых от нечистых, — не знали. Опять же через суку. Ладно, с Мартен Мартынычем мамаша в разводе, могла не позвонить. Но про себя-то понимала, тут дипломатия, что сука ему все должна рассказать! Как же, отцу родному — и не рассказать, что, мол, сын умер?! Говорю же — сука.

Гена чист и пахнет хозяйственным мылом — поскромничал в чужой ванной, а может быть, привык именно к хозяйственному. За ним — шапочное, по сути, знакомство с кандидатом искусствоведения, когда работали в десятках километров друг от друга и встречались у поселковой лавки — если так совпадало, что консервы подъезжали одновременно. И поездка к матери погибшего, дело благородное и горькое, — за Геной. И он судит. И уже мало ему.

— Это он тебе, сука, заработал на помаду, — швыряет конверты в размазанную по столу овсянку. — Это мы тебе, сука, собрали на твою сучью жизнь. Это он тебе, сука, писал, чтобы ты была человеком, и отправлять поехал за полтора километром. У нас почта раз в неделю, а он хотел скорей. По дороге и заночевал, слышь? Ученый мужик через тебя заночевал

навек, а он учился, может, лет двадцать. Мне столько лет нету, сколько он учился!

И лишь тут видит сосредоточенная в себе Надя, что мужик Гена — мальчик. С заросшей медвежьим волосом спиной, с женой и двумя младенцами, с прошлогодним задулом — мальчик. Года бы еще два сбросить — годился бы ей в сыновья. И при всяких «бы» хочется погладить его по кудлатой голове, избитого человеческого коварством и опьяненного взятым на себя правом судить.

Но и право на жалость судьи считают исключительно своим. Жалости подсудимых им не понять.

Щелчком Надя пускает по столу конверты с деньгами, но конверты прилипли к овсянке и отлетают недалеко.

— Не шлепайте, Гена. Вы же не оставите мне эти деньги, нет? Мамаше повезете.

— Лучше уж мамаше, — ерепенится Гена, — хотя мы-то собирали вот на него: на Василья Мартеньча сына. Но бабка внука не обидит, а?

Швырять деньги в кашу было гордо и красиво, а брать двумя пальцами за уголок, осматриваясь, чем бы вытереть, и, не выдержав Надинаго взгляда, так и сунуть в карман грязные — глупо и жалко. Гена тянется к третьему конверту, с письмом, и вдруг кухня гудит-звенит злой фистулой:

— Куда?!

Мартен Мартынович, стоявший в дверях безмолвным понятым, отталкивает новую жену — она держала его за рукав, что ли?

Мартен Мартынович делает шаг. И еще шаг. И еще.

Мартен Мартынович краснеет и машет готовым оторваться пальцем, будто стряхивает градусник.

Как бы не пришлось откачивать, машинально отмечает Надя, а Мартен Мартынович уже хватается ртом воздух, глаза — как пленки на мясе.

— Как так можно?! Вы в чужом доме! Это чужое! Это вам не принадлежит, вы! Как вы можете распоряжаться? И как вы можете обидеть?! — Глаза Мартен Мартыновича светлеют, отекает от висков, сходит с криком опасный багрянец.

Боятся, понимает вдруг Надя. Он и его новая жена боятся бунтующего мужика Гены.

Данилка и полуторагодовалый его дядя орут: соло ведет дядя, а Данилка причитаёт.

Мужик Гена лезет пятерней в затылок.

— Держись, я вызываю милицию! — Новая Мартен Мартыновича жена, и откуда он взял такую, отскакивает в коридор и, подхватив с тумбочки телефон на длинном шнуре, запирается в уборной.

— Галина! — без прежнего апоплексического волнения ревет Мартен Мартынович. Ее, значит, зовут Галина.

— Я уже, Мартик, отбивайся пока табуреткой!

Скорбь. «В горькие минуты прощания вспомним и минуты чистой радости, душевного тепла, которые дарил нам усопший. Вспомним, что жизненный путь его был путем достойного человека...» — голос бархатный на окладе. И всё?

— Что же ты натворил, паршивец, что же ты дуболом такой, — горюет Надя, механически скармливая дяде и племяннику фруктовый сахар, чтоб не голосили. — Не мог тогда меня дожидаться. За колбасой, наверное, погнался?

Гена молчит. Сомневается.

— Не глупи, Галина! — колотится в дверь Мартен Мартынович. — Стыдно! Все уладилось, Галя, не глупи!

— Мартик, я знаю, он выворачивает тебе руки. Говори, что он велит, Мартик, я тебя не осуждаю. Я уже, Мартик, я набираю вторую цифру! — стоит на своем верная новая жена.

— Оборвите шнур, Мартен Мартынович, — советует с кухни Надя. С нее довольно. Кухонным полотенцем кое-как вытирает Данилкин свитер — надо же в чем-то его vestir, — липкие ладошки вытирает, липкие щечки. Дядя Мартенович прибирается: смахивает горстями со стола овсянку и фруктовый сахар себе на колени.

— Забирай свои деньги, — надумал Гена, — и ну вас к черту. Сами разбирайтесь, семейка.

— Нет уж, губошлеп, с мамашей можешь не встречаться, а рюкзак Васин доведи. Помоги вдове. — Слово произносится само собой, будто не первый год Надя вдовой. — И письмо Васиного загадил. Зачем же ты письмом бросил в кашу, последнее?

«Это, Надя, последнее мое письмо.

Хочу попросить на станции, чтобы кто-нибудь опустил в Благовещенске, тогда оно долетит быстрее меня.

Искусствоведческие дела здесь закончены, жду расчет. Готовь пока шумовку, чтобы надеть своему Васятке на голову, — ничего у нас не получится с квартирой. За штаны держат дедунины площади: с нашими двадцатью шестью метрами на человека вступить в ЖСК не позволят. Это есть в любом юридическом справочнике, это должен знать отец — то-то он без особых разговоров пообещал добавить денег. Только, прошу, не выясняй с ним отношения, все равно виноваты окажемся мы. Скажет, не спрашивали — я и не отвечал. В деньгах не отказываю, а насчет квартиры — извините, думал, у вас свои ходы. Вот так он ответит, и глаза будут косить, а на душе полдень.

Не знаю случаев, когда он отвечал, всегда находились другие. Мать водила меня в суд, и я помню, как их развели: минут в пятнадцать. «Меня, — сказал отец, — Данил Василич не спрашивал. Взял из района в Москву, за стол с собой посадил и познакомил с дочерью». А раз не спрашивал, можно не отвечать.

Надя, а ведь я не смогу оставить мать. Разменивать с ней квартиру через суд нечего и думать, ты сама этого не хотела — чтоб судиться с матерью. Не об этом речь. У нее ничего нет кроме дурацкого дедуниного музея. Она больна. И она мне мать. Если завтра свалится с неба квартира, мы ведь, Надя, не сможем все отринуть и жить сами по себе. Совесть замучает.

Я вот так подумал — было время подумать — и смирился. Одно обидно: зачем я с работы ушел, зачем здесь ломался?.. Глупейший анекдот — врач и внучек номенклатурного дедуни не знают, как достаются кооперативные квартиры. Одной было не по карману, другому было не нужно».

— Ты бы не вернулась, — говорит Хранительница. Красный Васин рюкзак у двери — мужик Гена донес, поставил и удрал. — Врачи нужны везде, ты бы поехала на похороны и не вернулась. Не простила бы, что я не дала вам денег на квартиру.

— Я вернулась. — Надя остервенело рвет молнию Данилкиного комбинезона — шарфик попал в замок, ни туда ни сюда.

— Вижу... А работу, знаешь что, бросай. Посидишь с мальчиком, а то не люблю я эти деткомбинаты. И квартира у нас. Очаг. За дачу-то я выручила, сколько она стоила старыми — тебе до пенсии хватит... Сколько тебе до пенсии?

— Восемнадцать лет, — отвечает Надя.

Почему это Хранительница перешла на «ты»?

Олег ЛЕЩУК

ПРИЧАСТИЕ

Они были красивые, с нежным белым пухом, совсем маленькие, на тонких оранжевых ножках, они кружили себе в каком-то замысловатом танце, а я взял и убил их из ружья, от них остались только два истерзанных тельца, и перышки вокруг покачивались на воде. Перышки покачи-

вались, я смотрел на убитых куликов удивленно: в них теперь было столько спокойствия, они теперь как-то больше соответствовали тому, что я шел среди высокой осоки, дернул ее и порезал руку, кровь запеклась, и отмыть ее не хотелось, потому что вокруг лес, недалеко шумела желтой водой Обь, а мы прилетели сюда на вертолете на сенокос — много мужчин, отец и я, подростком, и если меня кто-то вдруг спрашивал: а что у тебя с рукой, я говорил: порезал, мне это нравилось, и тот, кто спрашивал, понимал, что раз кругом лес, высокая трава, сенокос, то, конечно же, это легко, легко и просто вдруг порезаться — взять и дернуть высокую осоку... Но еще до того мы летели на вертолете, сильно трясло, между ног отец поставил сетку с бутылками водки, и они тихонько позвякивали, я смотрел в иллюминатор и не знал еще, что уже скоро убью куликов. Из-под вертолета темными тучами выходили утки и шарахались в сторону, они шарахались так, как если бы в них кто-то стрелял, но никто не стрелял, просто летел вертолет, позвякивали бутылки, утки же, наверное, полетели в другое укромное место или же на факела, где их уже ждут, факела газовые — в небо уходят, рассеянные по тайге огневыми столбами, вокруг них жарко, и на этот жар летят утки, но их уже ждут; снимают ружье с плеча, сплевывают папироску, лениво целятся, без азарта, уже азарт надоел, стреляют, а утки падают, иногда слишком близко к факелу, не подойти, и они остаются лежать обгоревшей кучкой перьев на жарком ветру, и все это, может быть, лишь для того, чтоб просто услышать выстрел среди усиленной тишины, энергичный ударный звук, но это безотчетно, утки — лишь повод, наверное; и вообще: много стреляли. Стояла оглушительная стрельба в поселке, где мы жили, в основном по праздникам из ружья в форточку в моменты большого воодушевления и особенно в день рождения отца, 33, очень много стреляли, он был нарисован на подаренной ему стенгазете с огромным цветастым галстуком и в галстук узором 33, 33, и бакены у отца были, как у Элвиса, с газеты он смотрел особенно уверенно, не зная, кто такой Элвис, подвыпившие женщины пели «Сняла решительно пиджак наброшенный...», в продолжение праздника отец больше стал походить на себя нарисованного, ему подарили ружье, и это, конечно же, был повод укрепиться во мнении, он вышел красный от водки на мороз и лихо, когда успел натренироваться, стал заряжать ружье и стрелять в низкое серое небо, с каждым выстрелом он веселел, и выбежавшие на мороз в туфлях бабы, и раздетые мужики кричали, визжали под гармонику, водка выплескивалась из стаканов, с улицы было слышно, как бьют каблуками и под перестуки — выстрел, а я тогда тоже не знал Элвиса, но у меня уже были предчувствия его существования, и мужики присоединились к отцу, чтоб и им было весело, сбегали за своими ружьями, палили наперебой. Прибежал участковый милиционер Вася и стал, уговаривая, хватать всех за руки, он хотел успокоить людей от воодушевления, нельзя было, казалось Васе, хотя вокруг и тайга, чтоб так много стреляли, и в другом, соседнем поселке тоже сплошь, но уже из балков могли подумать, а вдруг это не вверх, забеспокоятся, покой трудящихся, не в низкое серое небо, всегда без солнца, всю зиму, и, когда оно наконец появится, и так и случилось, но уже после, летом, когда Васю застрелили, а до этого он бегал от одного к другому, ему говорили: брось, налили полный стакан водки, он пил немело, дурашливо улыбаясь, не зная, что летом его убьют, один человек, с ним случится горячка, он зарядит ружье и станет сначала в форточку, по запомнившейся традиции, Вася будет проходить невдалеке и не зная, я выйду себе из дома, просто погулять, думая, что опять от праздника стреляют, а Вася пойдет все-таки полюбопытствовать и по возможности предостеречь полное ликование и, уже уверенно пройдя по крыльцу, возьмется за ручку двери, молодым, красивым, двое детей, это я увижу прямо напротив, и потом быстро: он упадет на крыльцо и будет перебирать ногами, словно бы еще продолжая идти, но уже вязко, его схватят за руки два пригнувшихся, выбежавших откуда-то мужика и поволокут обмякшее тело... Дальше выстрелы уже были слышны, и еще дальше юркие звзэшники с автоматами, разбитое окно, шашка, он выскочил, обливаясь слезами обильно, по-детски, он сегодня пошалил немножко, простите его, он так больше никогда не будет. Его били широко, момент воодушевления, справедливого негодования, наотмашь, опера в глаженных, редких здесь костюмчиках, с суетливыми лицами уголовной опытности, не вмещивались

до тех пор, пока не совсем — мешком бросили в автобус. Его жена — немного еще потом все стояли в кружок и смотрели, — ревела и мыла крыльцо, сильно наклонилась, груди чуть не вывалились, крупные, мясистые груди, опухшие, как будто избитые, наотмашь, я отвернулся, заметив — женщина ревела и мыла, и слезы ее падали в кровавую лужу, которую она перегоняла тряпкой от ступени к ступени, поближе к песку, песок, как известно, хорошо впитывает любую жидкость и даже засасывает, так что было не подойти к Оби, сапоги уходили по колено. Желтая вода неслась, ее бурный ток не вписывался в усиленную, беременную выстрелом тишину, и выстрел звучал, которым, например, я, я же убил двух куликов, напрочь забыв о падении Васи, что хватал как-то за руки, пытаюсь образумить, как законодатель тишины, ее молодой посланник, двое детей, но рядом был отец в пору веселого тридцатитрехлетия. Обь несла желтую воду, такую быструю, что, казалось, невозможно, невозможно поймать обыкновенную щуку, не то что убить двух нежных, на тонких ножках куликов, и все-таки поймали, огромную, с метр. Ее сунули в железный ящик, где она получилась игриво изогнутой, внесли недостающую деталь — воткнули в пасть сигарету, — долго смеялись, и кто-то рассказал, что недалеко отсюда, в глубоком, до черноты, озере, есть щука — трехметровая, не верите, сядем в катер, поедem посмотрим, поймана она была еще купцами и посажена на цепь, мхом вся обросла, кормят ее свежим мясом, нарубят кусков и бросают ей. Не верите? Верим! — и в сгущенной до черноты атмосфере народного мифотворчества я должен был застрелить невинных и все же мною убиенных куликов, а я, я и не хотел их убивать, что мне до них было, но упрямо наливались дрянью угри на лбу, они, конечно же, были красивыми, и я даже ими залюбовался, одно мгновение в них была какая-то пездешняя, не соответствующая окружающей суровости природы и народной мифологии нежность, нежность беленькая, пушистая, намекающая, что где-то, быть может, и другое, и кулики тоже посланники, как Вася. Я в них почувствовал недоступное, пугающе недоступное, в мягких неторопливых движениях, отдаленно напоминающих причудливый танец, и, видимо, стараясь себя не растревожить, отдался созерцанию спящих в озере мальков, мелких, серебристых, суетливых, как опера в костюмчиках. Папа же, еще зимой выстреливавший гордо в серое небо свою неуверенность, был рядом и вложил в мои хилые руки ружье — куликов надо было убить, стрелять уже просто, даже соскучившись по выстрелу, нельзя было, к тому же он давно обещал мне показать, как это делается, и причастить.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ

СТАРШИНА

Если пьяный — сидит на лавочке, откинув голову, раскрыв рот. Смотрит в небо. Если очень пьяный — голова на коленях. Плачет. По небритой щетине размазывает следы грязной, мазутной рукой. Жалеет ребятишек. Потом идет бить Надьку. Да только та уже ученая — первой вцепляется за волосы, а ногами прямо в глаза метит. Так и существуют — вечно он исполсованный, она с синяками.

Утром он уходит в мастерские яхт-клуба — возится с дизелями, варит, клекает до половины пятого. Потом часа два, если не успел принять, шабашит. Потом пропивает, что зашабашил. С мужиками. С Надькой. Запивает квасом, но сперва дает напиток любимице — Светланке. Трехлетняя Светлана умница: как отмочит матом — все ржут. Светлана пятая. Последняя. Надька побожилась больше не рожать. Но она всегда так божится, и он прощает. Ему лестно: Надька — ведь еще и живота нет — всем растрепет в наглую. А тут — после четырех парней — пятая девочка. Надька ею закрывается, когда папа идет ее бить. И он отступает. С дочкой

на руках — никогда. Ложится спать. А утром, не поев, уходит в цех. И парни все норовят к нему — прогулять школу. Он их не неволит. Трое старших по два года в одном классе сидят. И бабушка Катя, его мать, только головой качает: зачем детишек мучить, если они неспособные? Прожила же она, читать не научилась, а прожила и как поработала — дай Бог каждому другому. А от книжек — вред. Тут в семье пример — Оленька, сестрина дочка, все книги читала и ночью и днем читала, не оторвать было. А после все жалеть стала — сидит, плачет — жалеет. Теперь и не узнает никого, когда ее навещать мать приезжает. Нет уж, без книжек оно и лучше.

Бабушка Катя ходит в церковь. Службу знает наизусть лучше грамотных, но теперь уже не поет — зоб ее замучил. Уже она помирать этой зимой собралась — хорошо Валюша, старшая дочка, спасла. Унесла на руках из собственного дома. Отогрела. И сидит теперь бабушка Катя на лавочке, через дом от сына, а тот, голову закатив, смотрит в небо. Или плачет. Жалеет детей.

И бабушка Катя жалеет. Когда придут — всегда накормит. Но старшие уже стесняются — не ходят. Вывалият на пол сухие корки, выбирают, что еще съедобно, и отмачивают в чае. А Светлана ползает по ним, ползает, и так в них и заснет, и описается во сне. Или стоя спит — как лошадь, — голову на диван положит и спит.

Это значит — у Надьки зарплата. Она сто рублей получает в яхт-клубе — моет полы. Летом еще семьдесят — моет уборные на турбазе. Оттуда и волочет оставшийся суп или второе — летом дети едят хорошо. Да еще получает как мать-героиня в городе деньги — тогда купит бутылку, а остальное — детям. Поит Светланку квасом, а та выпевает: «Мама — пиво. Мама — пиво». Надька ржет: «Не пиво, доченька, квас». А Светлана улыбнется хитро и руки в нем моет. А потом и попьет — или ребятина выдует. Квас вкусный!

А он, как приходит домой, — к Светланке. А она: «Папа». И папа, если в силах, возьмет на руки, иногда и по голове погладит, и щетиной небритой ее щечку бархатную пощекочет. Когда у Надьки зарплата и он напьется, и давай ее колотить. Потому последнее время Надька зарплату получит — и за ворота, в город. Раньше и без зарплаты сбегала — поили ее, а теперь только с зарплатой — сама, что ли, поит? Два-три дня нет ее, потом вернется. Без гроша, конечно. Глаза выпученные. Лежит на диване, стонет, дети вокруг нее ходят — носят ей чай. Отпаивают мамку.

А он придет — зыркнет на нее и на лавочку. А Надька отлежится, приползет. Сядет рядом. Щелкает семечки и жалуется на селезенку. Или прощенья у него просит. Или не просит. Так сидят.

Кто пройдет — поздороваются. И с ними поздороваются. А после перемывают Надькины косточки. А что остается? Ребятишек жалко.

И ему жалко.

Он сидит допоздна. Надька смотрит телевизор — фильм. Она до фильмов охотница. Дети тоже смотрят. Пока не заснут тут же — где кто.

А он — сидит. И если плачет — значит, совсем уже пьяный.

Ему тридцать шесть. Но с виду не дашь. Он уже и забыл, когда вернулся с флота. С атомной. Потом взял Надьку — от кого-то отбил: та с семнадцати лет была выгнана из дому. А он красавец был знатный — я-те дам! Потом пошли дети. Не сразу — лет через пять.

Он ходил к доктору — проверяться. Доктор сказал, что своих у него никогда не получится. И утешил — хозяйство будет работать исправно.

Он пришел весь в лычках, в значках, даже с медалью. Старшиной первой статьи. Тому свидетельство — фотография. Висит на стенке у бабушки Кати над кроватью, среди всех ее детей и внуков.

«Что ни говори, пришел-то он гоголем — любая замуж соглашалась. А он шалаву выбрал, прости Господи», — бормочет старуха на лавочке.

Через дом сидит он — плачет, жалеет ребятишек, себя, Надьку — весь белый свет ему тогда жалко.

А у соседа и пожалеть некого — через месяц после свадьбы зарубил жену топором. Примерещилось что-то. До сих пор ему в Коми посылки посылают.

ИВАН АЛЕКСЕЕВ

МУЖЧИНА НА ОДНУ НОЧЬ

Ксюша уехала к родителям, и только закрылась дверь, пришел Чупа — повидаться с Оленькой. Встал, не раздеваясь, в прихожей, руки не подает и на меня смотрит зверем.

— Попил бы чайку, — учтиво предложил я ему.

Какая ненависть! Что ж, тем хуже для него.

На улице была слякоть; я велел Оленьке надеть резиновые сапоги. Чупа смотрел на сборы молча.

— Коля, мне до пяти можно? — спросила Оленька.

— Как папа скажет, — пожал я плечами.

Они ушли.

Я остался один, бесцельно бродил по квартире и все не решался. Выпил чаю, решил.

Я нашел Ксюшину тетрадку-ежедневник с календарем за семьдесят пятый год. Тетрадь предвещала список внешнеторговых организаций, акционерных обществ и фирм, осуществлявших продажу товаров номенклатуры В/О «Тракторозэкспорт», потом, со странички 4 января, начинались записи. Сверху было написано: «Художник Феотокопулос, прозванный Е! Ггесо». Чуть ниже какая-то химическая формула, а сбоку комментариев — «запах фиалки». Еще строкой ниже: «Чинь-Чинь — здравствуй».

Потом Ксюша, видимо, устроилась на курсы макраме, шли записи и рисунки:

«Паук. Число нитей и их длина

5 нитей по 2 м

4 нити по 1,5 м

1 нить по 0,2 м

Все эти нити из пеньковой веревки, кроме того, потребуется 8 суровых нитей по 2 м для лапок паука.

Последовательность работы: плетем паука из пеньковой веревки. Лапки обматываем суровой нитью. Укладываем нить 0,2 м на подушке горизонтально и крепим на ней пять нитей по 2 м. Получаем десять концов, которые в дальнейшем будем называть нитями...»

После макраме начались цитаты из Александра Грина:

«Мне было тяжело, холодно, неуютно. Был ветер. Вой! — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. Лей! — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно».

Цитатами из Грина и Рея Брэдбери был занят остаток января и февраль. Потом Ксюша начала вязать: «Пройма спускается частями, чтобы получить закругление: 4-3-2-1...»

Вязала недолго, три дня марта. Дальше начинался с ученической тщательностью переписанный гороскоп, он занял март и больше половины апреля. Ксюша родилась под знаком Весов вместе с Софи Лорен и Брижит Бардо. «Эти женщины обольстительно ленивы, капризны, они любят спать допоздна, обожают безделушки, украшения, лакомства. Их главное занятие — любовь».

С Ксюшей в мою жизнь пришло чувство новизны. Во-первых, она совсем по-другому готовит. Марина готовила неплохо, но очень однообразно — голубцы, тефтели в скороварке, солянка с маслинами, пироги с капустой, — сколько моя мама ни учила ее, все равно они получались суховатыми. Ксюше же не лень сегодня сделать пельмени, завтра соорудить курицу на гриле (дом, куда мы въехали, оборудован электроплитами), потом приготовить заливную рыбу, не как Марина — только к праздникам, а в самый что ни на есть будний день; все у Ксюши острое, она применяет кучу специй, о которых я прежде и не слышал, — за ними ездит на рынок, к Рустаму. А каков плов, коль припомнился узбек, какое мясо в собственном соку,

нафаршированное чесноком, какие немислимые салаты, — не разберешь, из каких ингредиентов они сотворены!

А как по-разному Марина и Ксюша ложатся спать! Конечно, у Марины не было такого пеньюара, но дело не в вещах, а в том, как ими пользуешься. Марина перед сном намажется каким-нибудь кремом, ходит по дому в старом халате и на меня ноль внимания; Ксюша тоже пользуется масками, и кремов у нее не меньше, если не больше, чем у Марины, но делает она это так, что я и не замечаю. А главное, конечно, в Ксюше — это бесконечное чувство такта, но уж если надо сказать правду — уж будьте покойны, она скажет, да так, что уши завянут.

«Благоприятен союз с Близнецами, Стрельцом. Союз с Козерогом, Раком, Овеном не очень благоприятен. Но здесь в отдельных случаях хороший характер Весов может победить судьбу...» Дальше, дальше... Я — Скорпион. Вот: «Несмотря на сильное физическое притяжение (ого!), существующее между Весами и Скорпионом, гармония постоянно нарушается раздражительным характером Скорпиона...» Особенно меня порадовало, что рожденные под этим знаком — великолепные врачи (а я хирург). «Это исследователи, адвокаты, юристы, талантливые государственные деятели, полководцы». Я и прежде читал гороскопы, но, переписанные десять лет назад чистым невинным почерком Ксюши, эти меня тронули своей наивностью, мне стало грустно, что не знал ее тогда, может быть, все бы сложилось иначе, иначе... У Марины тоже был старательный почерк, она тоже была доверчива... Ей не исполнилось восемнадцати, когда на даче у моего приятеля, на каких-то старых одеялах она отдалась мне. Потом она говорила, что уже накануне знала, что так будет. Я любил эти слова.

«Приехала в Братиславу в 9.50 23/VIII. Встречали и Кажарик, и Бадалик. Оказывается, у Бадалика сломался телефон, и Кажарик решил, что что-то случилось, и примчался на вокзал сам. По средневропейскому времени это 7.50. Бедный Бадалик! Он тащил мой чемодан, набитый бутылками! А ему, наверное, под шестьдесят.

Поместили меня в общежитие аспирантов. Номер даже с душем. Подушки у них длинные, а укрываются перинами. В 11.00 за мной заехал Бадалик (мне было дано три часа на очухивание), и мы поехали в Бискунице, в институт к Кажарику. Там обговорили программу. Сегодня город, завтра — какой-то курорт, четверг — магазины, пятница — половина магазинов и половина — посмотреть институт. Попутно везде осмотр местных ресторанов. Потом уик-энд с фамилией Кажариков, и в понедельник меня отвезут в Высокие Татры.

У Кажарика пили кофе по-венгерски (очень крепкий кофе, но маленькая чашечка) и безалкогольное вино. Потом меня познакомили с Эвой — ей лет тридцать, симпатичная, носит мини, хорошо говорит по-русски — она ассистентка Бадалика, будет водить меня по магазинам. Потом мы поехали пообедать, заехали за женой Бадалика и стали осматривать город. Жена Бадалика похожа на англичанку — сухая, высокомерная, непонятно, зачем она за нами увязалась?

Австрийская граница в двенадцати километрах от города. Вообще Братислава как бы в углу между Венгрией и Австрией, а граница проходит по Дунаю. На берегу развалины очень красивого замка — там раньше была резиденция королей Моравского государства. Старый город очень красив. Масса католических церквей и старинных домов. Дома, и старые, и современные, покрыты красной черепицей. Очень красив мост — наверху ресторан. Было много народа — не попали. Поехали на телебашню. Вид изумительный, как на карте. Везде зеленые холмы.

Кофе по-венски (некрепкий кофе со взбитыми сливками, подается в низеньких бокалах).

Все ходят в джинсах.

Потом поехали к Бадаликам домой — ужинать. Мебели минимум, везде ковры.

Влили в меня пятьдесят грамм сливовицы (аперитив), меня сразу повело. Еда: кусок поджаренного мяса, кусок курицы (большой), картошка (кусочки маленькие, целенькие, политы маслом), и помидор нарезан (одна тарелка), всегда подаются мелко настроганные огурцы, политые оливковым маслом, уксусом и посыпанные перцем. Обязательно сухое вино или пиво.

По-моему, я жене Бадалика не нравлюсь. Ну и что, она мне тоже. Посмотрели сексуальный итальянский фильм, и Бадалик меня отвез в общежитие. По дороге неприятный инцидент — он остановил машину и пытался меня поцеловать, но я сказала: давайте останемся друзьями. По-моему, он не обиделся. Зато теперь понятно, почему меня невзлюбила мадам Бадалик».

Эту поездку Ксюше устроил отец. Он профессор, и они с чехами (его кафедра) проводили тогда какую-то совместную работу, что-то по онкологии, толку, конечно, из этого не вышло, но десяток диссертаций сварганили. Теперь тесть пилит меня, чтобы я защищался, а я хирург, работага и писанину ненавижу. Вообще-то тесть мужик неплохой, выпить не дурак, компанейский, но иногда меня раздражает. Очень любит рассказывать, как открыл путь в науку Сереже — Чупе, — сделал его кандидатом, а сложилось все вон как: старался, старался, а муж у дочери снова незащищенный. Похоже, что этим я его слегка раздражаю. Ну и черт с ним. Главное, когда до зарплаты не дотягиваем, подбрасывает безвозмездно — с моими алиментами не разбежишься на шикарную жизнь, но дело не в деньгах, во всяком случае, не в них одних... Перебьемся. Как-то раз получил зарплату, подоходный, алименты, профсоюз — на руки меньше сотни, это при том, что работаю больше чем на полторы, звоню Ксюше и говорю: «Иду к пяти у «Арагви». Официант оттуда у меня оперировался, резекция желудка. Посидели вечерок, сотни как не бывало. Зато по высшему классу: все с поклоном, и не обсчитали. Иногда нужно устраивать жене праздники, например, купить цветы без повода, просто так, или еще что-нибудь в этом роде, духи или колготки, главная ошибка в жизни с Мариной в том, что я этого тогда не знал.

«24/VIII. Большинство домов — частные (частные) — двух-трехэтажные коттеджи с гаражом внизу. Говорят, у Кажарика такой. Видели Дубчека — открывал дверь собственного (частного) домика (три этажа). Скорость, особенно за городом, не ограничена — ах, какая прелесть! Миллионеров очень мало. Кошек нет.

За рулем Бадалик, я сижу впереди, его жена осталась дома. По-моему, он не обиделся. А то жалко его — ведь он уже старенький, а сам, наверное, думает, что способен покорять сердца молоденьких девушек. А я уже соскучилась по Чупе... Он мне сегодня приснился. Как будто он приходит к нам домой с какой-то женщиной, та надевает мои вещи, потом они ложатся в нашу кровать, а я хожу и делаю вид, будто так и надо, ничего не замечаю. Ужас! Надо позвонить в Москву!

Едем в Пиштяны. Это старый курорт. Река Вах раньше называлась Вагус, при римлянах, — они прошли километров на пятьдесят севернее Братиславы. Мы этот Вагус только и делали, что пересекали. Курорт действительно очень красивый. Там старая часть, ей лет сто, и новая, югославской постройки.

Парк английского типа с подстриженной травкой. В нем выставка скульпторов-модерн. Ха-ха! Три почти одинаковых скульптуры называются: «Весенний день», «Женщина», «Марс» (????).

Разбитый велосипед, прислоненный к дереву, — это тоже искусство.

Обедаем в ресторане «Чертова печь». Сначала хотели «У разбойников», но закрыто. (Там все сидят у огня. На нем жарится большой кусок мяса. Потом от него отрезают куски и раздают.) Но, жаль, закрыто.

Немного неловко себя чувствую — не умею обращаться с ножом. Бадалик — прелесть! Он очень деликатно показывает, как что полагается есть. Какие же мы все-таки дикари! И я самая главная.

Потом поехали в «Бетховену». Бетховен приезжал сюда за одной дамой и жил в доме, в котором сейчас ресторанчик. Ходили пешком по холмам. После того, как я в желтых босоножках залезла на гору после дождя, мне уже ничего не страшно. Бадалик ведет себя безусловно — наверное, он все-таки не обиделся.

По дороге назад заехали в дачный поселок. Недалеко от города несколько искусственных озер — бурят скважину, и получается водоем. Дачки — игрушка! Хрупкая мечта Бадалика. Два этажа: в первом гаражи для машины и лодки, во втором — живут. Ужинали у Бадалика: татарский бифштекс (сырое мясо). Пиво — балдеж! Бадалик был грустный — может, все-таки обиделся, а может, устал: ведь у него гипертония и еще какая-то бо-

лезнь, только я забыла. Мадам Бадалик держала себя сухо, но улыбалась. А я опять напилась».

Ксюша — прелесть. Всю эту катавасию с разводом, переездом, оформлением документов, дележом, слезами детей и наших родителей пережила, не уронив достоинства, так, будто все это было обыкновенным делом, которое необходимо выполнить хорошо и в срок. Когда она разговаривала по телефону с Чупой (он все не мог смириться и на что-то рассчитывал), я откровенно любовался ее выдержкой, тактом и логикой: «Сереза, ты путаешь главное и второстепенное. А главное в нашей ситуации...» — сейчас уже не помню, что было в той ситуации главным, но все это она втолковывала спокойным, без раздражения голосом, терпеливо и мягко. Раз в неделю я отправляюсь в дом своей бывшей жены Марины, чтобы встретиться с сыном и помочь с житейским обустройством; все-таки Марина осталась одна — на моем месте всякий культурный человек поступил бы так же: я повесил на кухне полки, врезал в дверь глазок, поменял замки, прикрепил карнизы типа «струна». Когда я возвращаюсь, Ксюша не пытается сделать вид, что этого не было или что это ее не касается, а деликатно спросит — как Марина, Сашенька? Я расскажу, и она спокойно кивнет, мол, рада, что у них все хорошо. Марина на такое поведение не способна. Если представить, что все наоборот, и я ушел от Ксюши к Марине, Марина демонстративно молчала бы, грохала посуду, а спать ложилась бы, напялив на себя трое трусов.

«25/VIII. Сегодня магазины. Сначала сделали все с билетами, с деньгами и позавтракали. Да, обслуживание здесь не московское!

Магазины — у-у-у! Я человек придирчивый, но хочется увезти весь магазин. За два часа спустила все 3000 крон. Осталось 20. Ловко? Нет денег даже Чупе на рубашку.

Мороженое красивое, но невкусное. Зато пирожные! Мы с Эвой вместо ресторана поели в столовой, а потом зашли в кондитерскую. Наконец-то я объелась пирожных!

Эва очень симпатичная, пригласила меня в компанию, но завтра вставать в 7.00 — за мной заедет Кажарик. Ужас! У него в семье, кажется, никто не говорит по-русски. Придется по-английски. Опозорюсь!

Пришла в общежитие и свалилась спать. Ох, оказывается, как трудно ходить по магазинам!

26/VIII. Ничего, встала. Поехали в Бискунице в клинику Кажарика. Там позавтракали у него в кабинете. Потом Невицкий (зам. Кажарика) показал мне клинику. В больнице есть даже сауна, остальное все как у нас, только получше. Аппаратура очень красивая. Запах — балдеж! Невицкий предложил денег взаймы, а я, дура, отказалась.

Обедали в ресторане при Дунае. Жареная форель.

Вечером ужинали в Колибе — разбойничья изба, которая заняла первое место на фестивале в Монреале и в которой ела английская королева. Натуральные цыгане пели специально для меня русские песни и «Очи черные». Подпевал весь ресторан. Все-таки у Кажарика очень большие связи!

Мясо, запеченное в очаге. Вино здесь пьют, как воду, за каждой едой. И изумительно вкусный апельсиновый сок.

27/VIII. Утром мы с Кажариком пошли по городу. Посмотрели несколько костелов, несколько музеев и несколько баров. Последнее мне понравилось больше всего. Кажарик, хотя и пожилой, но очаровательный тип. Несмотря на седину, он очень молодо выглядит, ходит в джинсах, галстука не носит, по утрам каждый день играет в теннис. Я с ним себя очень спокойно чувствую, несмотря на такое различие в возрасте и незнание языков. Мы с ним объясняемся на какой-то помеси русско-словацко-английского. Он обожает все старое.

Потом мы поехали к местному художнику Цикеру. У Кажарика квартира — выставка, а у Цикера — целый антикварный магазин! Пили восхитительный кофе — никогда такого не пробовала. В чашечках с наперсток величиной.

Они досконально знают свою историю, и не только свою, но и нашу. Лучше любого русского (Nota bene!). Очень любят Толстого и Достоевского. А я ни одного их классика не знаю. Вспомнила Гашека — но они как-то скривились. Промазала! Цикер подарил мне изумительные цикламены. Хоть лысый, а приятно».

Марина легла на аборт, я пришел в больницу, отделение было на первом этаже, и в окнах, на картонках, — номера палат. Я принес передачку — апельсины, пакет сливок, булочку с орехами, а у соседнего окна стоял мужик с огромным букетом цветов. Мне стало стыдно, что я так не могу, и Марина это заметила. Я только спросил:

— Она тоже аборт делала?

Марина в больничном халате была жалкая, ненакрашенная, и мне хотелось поскорее уйти, я как будто немного стыдился ее. На другой день ее выписали, и в такси она расплакалась. Может, она ждала, что я приду с цветами, и я в самом деле подумывал об этом, но потом представил, как стою с букетом и всем все про нас ясно, и не смог.

«27/VIII. Вечер. Познакомилась с сыном Кажарика Ярославом. Ему двадцать восемь лет, он врач-психиатр. Сначала хотел сводить меня в студенческий клуб, но они еще не открылись, и мы пошли в погребок. Выпили пять литров вина на четверых. Туалеты платные — я здорово попалась.

Друзья Ярослава — тоже врачи, все работают в хороших клиниках. Одного зовут Марекон, другого Карелом, третьего я не запомнила. Погребок закрыли в час ночи, и мы пошли к Ярославу допивать. По дороге мужики разошлись, жутко буйнили, переставили несколько машин, лезли к кому-то в окно, но все обошлось, слава богу. Когда мы пришли к Ярославу, там уже хозяйничали три девушки — Власта, Мария и Катя. Квартирка — чудо! Вся увешана абстрактной живописью, одна стена заделана мешковиной, на полу шкуры и свечи в чугунных подсвечниках. Катя очень хорошо пела под гитару. Иногда они о чем-то спорили по-словацки, но Ярослав их останавливал, и они переходили на русский. Ярослав — прелесть. Он сказал мне, что у меня бывают депрессии оттого, что я что-то не так сублимирую, что у меня масса всяких комплексов, и я опять села в лужу — кто такой Эрих Фромм? Обязательно в Москве выяснить! Еще он сказал, что нет ни одного человека без религиозной потребности, то есть без потребности иметь основу ориентации и объект поклонения. По-моему, очень верная мысль, она тоже принадлежит этому Фромму. Вообще все они считают себя верующими, но я почему-то ни разу не видела, чтобы Бадалик, Кажарик или тот же Ярослав как-то хоть проявили свою религиозность. Вот моя бабушка верила в бога и ничего про религиозную потребность не знала. Потом Катя разделась до пояса — у нее очень красивая грудь — и так ходила по темной квартире, натываясь на вещи. В руке она держала бокал. Потом она споткнулась об меня и облила. Тут они все на меня набросились и вроде в шутку стали раздевать. А я, как дура, вцепилась в одежду, потом Ярослав вмешался, видит, что мне не до шуток, что-то сказал по-словацки. Отстали. Мы с ним остались вдвоем. Он так посмотрел на меня и спросил: что, я и с ним буду так держаться за свою одежду? Я попросила отвезти меня домой, а он сказал, что мы, русские бабы, всегда не в себе. И, слава богу, не приставал.

У Ярослава «Симка» последней модели, ярко-красного цвета. Он сказал, что всегда покупает машины, которые занимают первое место в парижском салоне.

Мы с ним до утра катались по ночным автобанам, он даже давал мне руль! Машина — чудо!

Потом он разложил сиденья, и мы целовались. Целуется он здорово. Потом сказал, чтобы я ехала к нему домой, но я отказалась. Я вдруг вспомнила Чупу — сидит один в пустой квартире, и мне стало его жалко. Бедный Чупа! Знал бы ты, что я тут вытворяю!

В общежитие я попала в шесть утра и долго еще не спала — наверное, я дура, что бы с меня убыло, если бы я провела ночь с Ярославом? Он отличный парень, осталось бы приятное воспоминание. Дура! Я когда-то слышала пословицу, то ли французскую, то ли еще какую-то, что женщина, даже обнаженная, должна вести себя так, как будто на ней вечернее платье. Значит, я не настоящая женщина. Вон Катя, ходила голая — и хоть бы что. А я так не могу. Дура!

28.VIII. Утром Ярослав, как обещал, повел меня по городу, показал мессу, музей часов и несколько баров. Вечером у его друга были именины, поехали к нему на дачу жарить кур на костре и пить. Но нас зажрали комары и допивать поехали к Ярославу. Когда ехали, я решила, что

больше душой не буду и, если мне захочется, поступлю так, как решу. Позвонила в Москву, но Чупу не застала. Наверное, он там тоже не скучает.

Опять сидели на полу, горели свечи, только народу было побольше, чем вчера, потом все исчезли, а мы с Ярославом остались вдвоем. Он спросил, нравится ли он мне. Я сказала, что нравится. Мы снова целовались. Но, когда дело дошло до этого, что-то во мне заклинило. Ярослав сказал, что он мне может порекомендовать хорошего психиатра в Москве. Он меня считает идиоткой. Здесь к этому относятся, как к бокалу вина. В самом деле, почему я не стесняюсь есть? Ярослав говорит, что удовольствие от еды тоже имеет сексуальную основу — это по Фрейдю. Обязательно в Москве все это прочитать! Дура!

29/VIII. В понедельник отправились в Высокие Татры. Ярослав провожать не пришел. Еще он сказал: хорошо, что я не попала в руки к его отцу, — Кажарик в таком состоянии убить может.

Вот тебе и симпатичный дядя!

30/VIII. Целый день ходили по горам. У меня такое чувство, что завтра не смогу и шагу ступить. Посмотрим.

31/VIII. Сначала ездила в горы в какой-то приют. Потом на польскую границу. Хотели провести меня в Польшу, но не пустили. Вернее, чехи пустили, а поляки нет. Но зато я была нелегально в Польше полчасика! Завтра все пойдут в школу (институт), только скорей всего отправят на картошку.

1—5/IX. Опять все эти дни таскалась по горам, и они мне порядком надоели. Что-то соскучилась по Чупе, маме, папе. Через три дня домой. Пора.

5—8/IX. Выяснилось, что у меня нет транзитной визы, ездили в Прагу с Ярославом на машине. Его будто подменили. То есть он был как всегда любезен, но сразу видно, что я его как женщина больше не интересую. Глупости, но обидно. Прага мне понравилась, очень красив старый город, но почему-то все это уже на меня большого впечатления не производит. Я спросила Ярослава, какие книги почитать по психоанализу, а он сказал, что это не женское дело, что я все равно ни черта не пойму. Вот назло ему и все прочитаю!

9/IX. Еду в купе с симпатичным венгром. Объясняемся по-английски и с помощью жестов. Он едет в ГДР на какой-то симпозиум. Он биолог. Очень симпатичный дядечка — ему лет тридцать пять. Потом ночью легли спать — он ворочается, мне тоже не спится, все вспоминаю про Ярослава, как он целовался, — и по коже мурашки. Наверное, я в него все-таки влюбилась.

Ну, что бы случилось, если бы я провела с ним ночь? Просто ради удовольствия? Интересно, у Чупы есть такие проблемы? Вот лежит наверху мужчина, симпатичный, чистенький весь, как будто из прачечной, ему не спится, мне тоже — почему? Вдруг он свесился и спросил по-английски:

— Простите, вам не нужен мужчина на одну ночь?

Я орала, как резаная, что нет, не нужен, катитесь вы все к черту, по моему, даже матюкнулась. Кошмар. Как приеду, все записи сожгу. Чупа ничего знать не должен».

Я перевернул страницу. Там, на отдельном листе, 26 июня, было написано: «Дейли экспресс»: «Если бы Тунгусский метеорит приземлился на 4 часа 47 минут раньше, он смог бы изменить всемирную историю. Он бы тогда приземлился на революционный Петроград, уже бывший в то время центром мирового коммунистического движения».

Я положил тетрадь на место и выпил рюмку коньяку: как молоды мы были, увы!

В семь Чупа привел Оленьку. Она шмыгала носом.

— Замерзли? — спросил я.

— Да, нет, Коля, — весело ответила Оленька.

— Может, все-таки чаю? — предложил я Чупе, но он молча повернулся и ушел. Оленька вопросительно на меня взглянула — я развел руками.

Ксюша приехала веселая, привезла тещиных пирогов, красную рыбу в фольге и пару папиных анекдотов.

— Ну, как вы тут без меня?

Вечером, когда Оленька уже спала, я с шутливой страстью притянул Ксюшу и спросил:

— Вам не нужен мужчина на одну ночь?

— Нужен, — ответила Ксюша, и мы поцеловались.

Ксюша быстро уснула, а я все ворочался. Потом поднялся, набрал номер — я набирал его много лет, когда задерживался, — но вспомнил, что там давно живут чужие люди. Взял записную книжку, позвонил Марине. Трубку поднял мужчина. Я послушал раздраженное «алло! алло!», потом раздались короткие гудки; я представил, как Марина спросила, кто звонит, а он, забираясь под одеяло к моей жене, сказал: проверка слуха.

Я лег. Ксюша спала тихо. Она сумела перешагнуть. А я оказался тем самым мужчиной, что пришел на одну ночь, а остался навсегда.

Михаил БУТОВ

РЕЛИКТ

Если бы кто-то заинтересовался Максимом настолько, что спросил его о самом первом воспоминании, Максим бы вспомнил медведя, что забрел в их поселок на Турухане однажды весной, когда семьи возвращались с промысла и людей в поселке опять стало много. Первого в году, медведя убили по ритуалу: мужчины стали кольцом и выстрелили по разу — ранив, но оставляя живым. Тогда, под улыбки охотников, отец передал ружье и ему, но Максим не имел еще сил держать его твердо, и отец помог, взялся за ложе рукой. Последний выстрел принадлежал самому старому в поселке человеку, и Максим потом всю жизнь помнил древнюю, почерневшую старуху, совсем дряхлую с виду, которая послала пулю в глаз зверю почти не целясь.

С тех пор медведей было много — Максим не мог бы даже приблизительно сказать сколько, он не думал такими числами. Много лет спустя он с удивлением обнаружил, что не осталось ни тех, кто его учил, ни тех, кто учился вместе с ним, и, значит, теперь он убивает медведей лучше всех. А раньше лучше всех их убивал его отец, забиравший сына с собой в тайгу, едва тот стал достаточно крепок.

Тогда он еще не был Максимом. Так назвала его русская учительница, имевшая страсть переименовывать все вокруг — даже озера и лесные поляны. Сверстников его она крестила в Нинелей и Рэмов — должно быть, и в имени, выбранном для него, ей тоже чудилось что-то революционное. Как раз тогда и появились русские: в те годы, с которых он стал осознавать себя. Открыли школу и разделили всех жителей на две группы: взрослую и детскую, чтобы учить грамоте. С ними пришла водка: в краю, где пять-шесть собак за лето мошка заедает до смерти, они плохо справлялись с тоской и пили все, что горит. И если раньше по ближним городкам и поселкам продавать селькупам спирт было строжайше запрещено, теперь все доставлялось прямо на место.

В школу Максим ходил с удовольствием. Воздушные замки светлого будущего и лучшей жизни оставляли его равнодушным, ибо ему не по силам было понять, как можно ждать какой-то другой жизни, кроме той, которой живешь уже. Очаровывало скорее ожидание чуда, которое он угадывал во всем, что говорила учительница; чего-то сказочно-невероятного, что наступить должно было прямо здесь, на берегах реки, от которой народ его вел свою родословную.

С русскими уживались не все, и каждый год все меньше семей возвращалось на старое место. Максим остался, с родителями. Родителей уже водка привязала, а его в чужих, в общем-то, все устраивало. Он и держался ближе к русским детям, и с языком их справлялся лучше, чем они с его. Так, незаметно, этот язык стал ему родным, он начал и думать на нем, а

прежнее свое имя вспоминал теперь все реже, тем более что и родители быстро привыкли к новому.

Когда учительница стала рассказывать им о идущей где-то большой войне, Максиму часто казалось, что она выдумывает нарочно, — ему трудно было представить огромные толпы людей, убивающих друг друга. Но вскоре пропали и учительница и большинство привычных уже русских, а всех селькупов, от мала до велика, поставили на добычу рыбы. Каждые три дня по реке приходили летом — катер, зимой — странная машина с вращающимися в воздухе лопастями; человек в кожаном пальто с меховой оторочкой следил, как грузят бочки, и кричал, выставив перед собой два растопыренных пальца: «Больше, чурки краснорожие, вдвое больше надо, ясно?!» Только к третьей весне он понял, что сетями им все равно больше не достать, и стал привозить динамит. Теперь вокруг поселка рыбы не осталось совсем, и приходилось уходить на несколько дней, чтобы вернуться с уловом. Тех, кого считал лучшими, кожаный премировал спиртом, и Максим уже получал наравне с другими.

Так же глухо дошло до него известие, что непонятная эта война наконец закончилась. Селькупов в армию не брали, но население поселка уменьшилось почти вдвое — сказались зимы, без отдыха проведенные на льду. Выше по реке открыли метеостанцию, и мужчины стали ходить туда менять шкуры на водку и патроны. Теперь в поселке то и дело появлялись люди с рюкзаками, ружьями и предметами, назначения которых Максим разгадать не мог. Они что-то искали в тайге и часто оставались в ней навсегда — Максиму случилось набредать на то, чем побрезговали звери. Он уже тогда считался лучшим охотником, поэтому они сами стремились говорить с ним. Максим описывал им местность и повторял, качая головой: «Зачем идете? Зачем умирать?» Они снисходительно посмеивались. Он научился определять, кто вернется, кто — нет.

Изменилась тайга в один день. По Турухану поплыли баржи, а с них высаживались, подгоняемые другими, люди в негодной для здешних мест одежде. Они валили лес, строили длинные низкие дома и натягивали на столбы колючую проволоку. Когда прорубили просеку, Максим узнал, что здесь будет дорога, по которой повезут грузы, чтобы что-то строить в краях, о которых он никогда не слышал. Однажды несколько человек в форме пришли в поселок, расспросили женщин и постучались потом к нему. Максим к этому времени остался один: мать еще на рыбе утасла, а отец замерз, пьяным заблудившись в пургу. Он начинал томиться в поселке и работать у них согласился сразу. Обязанности его заключались в том, чтобы обходить раз в неделю тридцативерстную линию телеграфных столбов и сообщать, если заметит повреждения. Теперь его окружали изможденные, полуживые люди: они таскали бревна, вкатывали на насыпь тачки и забивали сваи в мерзлую землю. Многие умирали. Максим знал места, где другие такие же рыли большие ямы, в которые сносили мертвых. Не то чтобы он совсем не спрашивал себя, какая судьба бросила их сюда, на работу, которая превосходила их силы, и почему другие обладают над ними властью, какой человек, по его представлению, вместить не мог — ибо он видел, как они убивают, не прячась и не страшась возмездия. Но некая мудрость рода подсказывала ему: происходящее настолько вне существующей в нем картины мира, что даже попытка понять может стать для него губительной.

Он стал известен на дороге. Начальники приезжали за ним, когда требовалось устроить развлечение высокопоставленному гостю. Охотники из этих людей были никудышные, и в глубине души Максим их презирал, а после того, как одному пришла блажь уложить лося гранатами, соглашался уже через силу, но соглашался, чувствуя, что отказываться — опасно.

Тогда он и женился. Всего одна невеста была в поселке, но родители недолго выбирали, кому ее отдать, — близкий к начальству Максим женихом казался выгодным. Забирая ее к себе в дом, Максим купил в подарок в лагерной лавке синий ситцевый платок.

А потом и эти люди исчезли. Оставили бараки, километры ржавеющих рельсов и могильники, быстро затянувшиеся подлеском. Те, кто вырос в поселке вместе со стройкой, потянулись следом — прошел слух, что селькупов будут теперь селить в городе. Остался Максим и несколько стариков. Уехал бы и он, но незадолго до того, на обходе, встретился без ру-

жья с поднятым кем-то шатуном, и зверь успел, прежде чем Максим достал ножом до его сердца, опустить лапу ему на бедро. Кость торчала наружу, но от заражения жена все-таки смогла уберечь, подвязывая травы, и нога кое-как срослась, стала теперь дугой, выгнутой внутрь. Поразмыслив, Максим решил, что таким ему в городе не прижиться.

Жена Максима, родив ему двоих детей, стала расти в землю и, прежде статная по меркам своего народа, теперь уменьшалась, как ему иногда казалось, с каждым днем. Когда последняя, полурусская старуха Марья ушла умирать в тайгу, он перебрался с семьей в ближний к лесу дом — бывшую школу. Появившиеся над тайгой вертолеты к жизни его ничего не добавили. Те, кто прилетал на них, задержались всего на один сезон, остались потом только неразобранные буровые вышки, да на два года уходила из реки рыба.

Однажды весной дети, играя, забрались в одну из его лодок и не заметили, как отвязалась веревка. Лодку подхватила стремнина, и, испугавшись, они решили выпрыгнуть — берег казался близким. Тельца их, запутавшиеся в осоке, Максим выловил далеко от дома, но могилки выкопал прямо перед крыльцом и украшать никак не стал — так и остались два травяных холмика.

А по зиме в доме у него появились двое. Кто они были — он так никогда и не узнал. Сытые и сильные, они хлестко матерились и подливали ему спирт, так что потом он мог только жалко корчиться в углу, глядя, что они творят с его женой. Очухавшись, когда, собрав в доме все ружья и сети, они собрались уходить, он сумел выбраться незамеченным, достал двустволку, припрятанную в лодке, и разрядил два жакана им в головы. Потом поднял трупы на жерди сушилки для сетей, чтобы не добрались звери, и пешком — собаки передохли от болезни, еще псами нефтяников занесенной, и некого было ставить в упряжку — отправился в Красноселькуп. Добравшись туда через полторы недели, ночью, он постучался в первый же дом и спросил, где живет председатель. Три дня спустя, уже из Туруханска, его доставили вертолетом к дому, заставили показывать, кто где стоял, потом втокнули обратно и увезли, забрав промерзшие трупы и конфисковав в доме все оружие. Вернулся Максим через восемь лет и даже жене своей никогда не рассказывал о том, что было с ним в эти годы. А она стала уже совсем маленькой — не больше ребенка. Без него ела она только то, что попадалось в обрывок сети, который ставила прямо здесь, где тропка от крыльца спускалась к воде. От этого ноги ее заостенели и каждый шаг давался теперь с болью.

В окружающем мире Максим нашел только одну перемену — шкуры стало проще менять. Люди на станции будто перестали бояться чего-то, чего боялись всегда. Одно время даже лодки ходили, скупая мех за деньги, и Максим смог тогда заказать себе «Казанку» и мотор к ней.

Вместо геологов теперь приходили туристы — их все больше тянулось на Мертвую дорогу. Для Максима все они были на одно лицо: все они долго не могли поверить, что он живет здесь один, что зимой ездит на собаках и способен выйти на медведя с рогатиной. Максим показывал им обветшалые лагеря. Некоторые оставляли кое-что: чай, перец. И обязательно фотографировали их с женой, обещая выслать карточки на метеопункт. Никто не прислал ни разу.

Жена его жила еще долго, хотя почти уже не передвигалась на омертвевших ногах. Максим стал хуже спать ночами и часто рассматривал ее карликовую фигурку. Однажды утром он не нашел в ней дыхания и даже не сразу сообразил, что случилось, — так мало жизни оставалось в последние годы в ее теле. Нужно было сушить рыбу, и зарыть ее он решил позже, когда все закончит; но не хотел оставлять в доме и вынес на крыльцо. В тряпье, на котором она спала, Максим нашел купленный к свадьбе синий платок.

Когда он вернулся с берега, тела на крыльце уже не было. По вытоптанной траве и пролomu в кустарнике Максим определил, что медведь приходил большой — такой большой, каких до сих пор в этих краях он еще не встречал.

Не то чтобы он что-то понял, не то чтобы открылось ему нечто прежде тайное — но медведей он с того дня больше не убивал. Побывав в последний раз на станции, он оставил там лодку с мотором, и за нее патронов и

табака ему привезли столько, что было ясно — теперь хватит. Максим не знал, сколько ему лет, никогда не подсчитывал их, но чувствовал, что живет уже давно — дольше, чем все, кого он помнил. Он быстро дряхлел: все хуже видел и мучался болями в изувеченной ноге. Пищу его составляли теперь птицы, которых удавалось подстрелить прямо с крыльца. Но иногда глаза отказывали совершенно, и тогда ему казалось, что в белесой мути, застилающей мир, он различает большие темные пятна — расплывчатые медвежьи силуэты.

Завербовавшийся на год на Туруханский метеопункт радист Коля Бурканов первого своего медведя застрелил в полукилометре от развалин бывшего селькупского поселка. Коля знал толк в оружии и не был стеснен в средствах: на карабине у него стоял оптический прицел, а в обойме были разрывные пули, так что, выстрелив с пятидесяти метров, он убил зверя наповал, разворотив ему горло. В приятном возбуждении он дошел до построек, выискивая место, куда можно подогнать лодку, чтобы вывезти шкуру и мясо, и на крыльце единственного сохранившего крышу дома обнаружил мертвого человека, смотревшего в никуда белыми слепыми глазами. Коля что-то слышал уже об этом последнем туземце, доживавшем здесь век. Он покурил, философски почесал в бороде и поискал лопату, но не попалось ничего, что он мог бы использовать. Тогда оттащил тело в небольшую ложбинку и завалил ветками, решив похоронить по-человечески, когда вернется с лодкой.

Но тем же вечером напарника его забрал с приступом аппендицита вертолетный санрейс, а когда через неделю прислали замену, о шкуре нечего было и вспоминать. Но о мертвом старике Коля вспомнил и передернул плечами, представив, во что теперь превратилось тело. «Нечего там хоронить, — буркнул новый сменщик, когда он рассказал ему об этом. — Медведи о нем уже позаботились». Согласиться с ним Коля был только рад.

Владимир ЛАВРИШКО

В ОДНОМ ТУМАНЕ, НЕ СЧИТАЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО

Метров за сорок уже ничего не было видно. Там, где полчаса назад еще торчала из тумана макушка дерева, слышно было только, как возилось воронье. Одно темное пятно ворохнулось, ворона тяжело описала полукруг в сторону Бурова, пару раз взмахнула крыльями и снова канула в туман.

Буров, не вынимая рук из карманов, выплюнул изжеванную «беломирину», потом одернул куртку и вернулся в зал. Его заштопанная торба стерегла место рядом с мужиком в очках. Тот все читал газету. По сотому, наверное, разу. На подлокотнике кресла с буrowsкой стороны у мужика располагалась сумка. На коленях, видать, мешала листать газету. А на полу была слякоть.

Буров приподнял свою торбу, сел и поместил ее на колени.

— Гражданин...

Локоть у Бурова дернулся, и сумка с подлокотника завалилась к соседу прямо на газету.

— ...время не подскажешь?

Буров вдохнул и выдохнул. Потом еще раз вдохнул и выдохнул.

— Вот... — сказал он, когда выдохнул второй раз.

— Сколько? — переспросил мужик.

Он, наверное, подумал, что не расслышал.

— Ты, мужик, как в присутственном месте, — сказал Буров. — Официальный ты до страсти. Не иначе как с газет.

Буров вывернул запястье и посмотрел на часы. Он их надел циферблатом внутрь. Часы были Любанины.

Примерно часов десять он уже должен был быть трупом. Резали бы, конечно, сонного. На вскрытие сегодня бы не увезли — воскресенье. Валился бы на снежочке для лучшей сохранности.

— Пятнадцать минут первого, — сказал Буров.

— ...жулье кругом, а всем до лампочки, — сказал мужик.

Он в сто первый раз мусолил свою газету. На этот раз с конца.

— Во, глянь! Борис Николаевич с Михаилом Сергеевичем бодаются. Анатолий Иванович стихи сочиняет. — Мужик ударил тылом ладони по газетному листу. — Представляешь? Николай Иванович в больнице припучает, Силаев выступает...

— А Петр Иванович наступает, — сказал Буров.

Бурова проиграла. В зоне закон железный — каждый сам за себя. Но Буров просто смотреть не мог. И отвернуться там было некуда.

— Петр Иванович? — переспросил мужик. — Кто такой?

Буров бы, наверное, отвернулся. Ему всего полтора месяца до звонка осталось. А так он просто смотреть не мог. А рука у него тяжелая.

— Из Верховного Совета, что ли?

Самого Бурова воры не трогали. Уважали. Ну, уважали, не уважали — он с ними душевных разговоров не вел. Не трогали, одним словом. У мужиков своя компания, у блатарей своя. Если чего Бурову под сиденье подкладывали — он не замечал, провозил. Ни разу, правда, не попадался. Сам у блатных ничего не просил, в медсанчасти не отирался. Разговоры про уважение вести негде, не с кем да и незачем. Раз одному урке пришлось искусственное дыхание делать — народ рядом растерялся, а Бурова еще в армии учили. Потом до санчасти домчал. Живой остался. Другой раз при шмоне на какой-то пакетик наступил. Впереди сбросили из рукава, а Буров наступил. Раз рядом с тобой, тебя же затаскают... Вот и все душевные контакты.

После этого только как-то раз ихний пахан подошел. Серьезный мужчина. Поговорили ни о чем — как жена, мол, дети... Про погоду. Покурили, помолчали. И разошлись.

— Из Верховного Совета, что ли? Петр, говоришь? — спросил мужик. — Иванович? Вот, знаю...

Буров прислушался.

— Всё, мужик! — Буров поднял руку. — Замерли!

Ему почудился рокот моторов. Но по залу прошелестел шум, теперь ничего нельзя уже было разобрать.

Буров повернул голову к выходу на летное поле и застыл.

— А?

Рокот послышался снова. Теперь ошибиться было нельзя.

— Летит? Летит! — сказал мужик.

И живо подхватил сумку. Он, оказывается, был шустрый мужик.

— Айда, а то хрен протолкнешься, — бросил он Бурову.

Буров ввинтился за ним в загальдевший народ, но в дверях была уже пробка. Бурова развернуло боком и так вынесло к летному полю. В стихающем гуле из тумана выскользнул самолетик. Под самолетиком болтались лыжи на распорках. Самолетик проскользил над полосой, шлепнулся рядом с ней на лыжи и пропахал снег ближе к ограждению. Сзади еще напирали, но передние уже отхлынули и повернули обратно.

На самолетике был красный крест.

Отвернуться Буров не смог. А на другое утро в гараже ему сказали, чтобы рвал когти сегодня до съема. Парень этот стоял к Бурову спиной, вошел со своим, ни разу к Бурову не повернулся. Был он в таком же бушлате, как у Бурова, только в новеньком. И под бушлатом серый джемпер.

«Жить хочешь, — запомнил Буров, — рви до съема. Рви на машине — только не вилай».

Буров рванул прямо в ворота. Совет он помнил, там советов зря не дают, — и жал прямо. Пули расщепали кузов, но все с правой стороны. В кабине — это он потом узрел — три аккуратные дырки. Все справа.

Его уже, конечно, метут. Какой срок навесят, разницы нет. Второй раз такой фокус не удастся. Рвать надо быстрее и подальше...

На самолетике был красный крест.

На хвостовом оперении краска вздулась шершавым пузырем, а внизу пузыря облупилась. За самолетиком уже сгустился туман.

— Санавиация, — сказал мужик.

Это Буров видел и сам.

— Слышь, а кто такой Петр Иванович?

— Какой Петр Иванович? — не понял Буров.

Мотать отсюда надо было подальше, а вот не получалось. Туман как на зло.

Дверца пилотской кабины открылась, и на снег спрыгнул парень в коротенькой куртке с порыжевшим воротником.

— Ну, ты, ей-Богу, мужик! Заладил — Борис Николаевич, Николай Борисович... Они тебе родственники, что ли?

— Я политикою интересуюсь, — сказал мужик, — переживаю... От них же все зависит. Жизнь и прочее... А от нас что? Ты тоже вот — Петр Иванович, Петр Иванович... Как фамилия-то?

— Багратион, — сказал Буров.

— Новый, что ли? — сказал мужик. — Из Верховного Совета?

Парень в летной куртке прошел наискосок к зданию и свернул к тяжелой под серой краской двери. Там наверху была какая-то башня. Вся стеклянная почти. Диспетчерская, наверное.

— Ага. — Буров провожал глазами пилота, пока он не скрылся за дверью. — Из Совета. Из Филей... Генерал он.

— Ты за военных, что ли?

К самолетике подкатил зеленый «уазик», тоже с красным крестом. Шофер и еще один кент в белом халате стали вытаскивать сзади носилки. Изнутри машины им кто-то помогал.

— Он из восьмьсот двенадцатого года, мужик. — Буров смотрел, как этот кент в халате и кирзовых сапогах чуть не перевернул носилки. С похмела, наверное. — Он, мужик, даже еще раньше, — сказал Буров. — Он еще через Альпы переходил.

— Альпы! — Мужик переложил сумку из руки в руку. — Надсмехаться... Вот он тебе родственник?

— Он мой дядя, — сказал Буров. — Он самых честных правил. Когда не в шутку занемог, французу он пистон поставил...

Шофер с кентом в белом халате понесли носилки к самолету. На носилках кто-то был прикрыт застиранным байковым одеялом до подбородка. Этот кент, который чуть не опрокинул носилки, шел сзади. Халат у него был завязан тесемками на спине. Даже в зоне Буров не видел таких халатов.

— Пошли снова загорать, — сказал мужик. — Теперь вот и почитать нечего. Газету оставил, дурак...

Из «уазика» стала спускаться женщина в пуховом платке. Она держалась правой рукой за дверцу, а ногой нашаривала опору.

Буров порылся в торбе и вытащил журнал. Буров тогда еще накрепко запомнил в гараже адрес, хотя тот парень раз сказал и больше не повторял: Либкнехта, 12. Торба, шмотки на нем и часики были оттуда.

Женщина нащупала ногой землю и провалилась чуть не до половины войлочного сапога в снег.

— На, — сказал Буров.

Журнал Буров купил в киоске какой остался. С утра киоск еще работал.

— «Коневодство», — прочитал мужик. — Что здесь читать?

— Какая тебе разница? — Буров раскрыл журнал. — Смешались в кучу кони, люди... Картинки есть.

Он всю классику знал наизусть. Времени там было много. Он там сильно поумнел. Он не знал только — кто ему устроил условно-досрочное освобождение с тремя дырками в кабине?

— Годится? — спросил Буров.

— Годится. — Человек, который как-то раз перекурил вместе с Буровым, рассматривал набрякший фингал.

Буров крепко навесил накануне двоим «шестеркам». И теперь они потребовали схода.

— Ну, и что скажете?

— Ты знаешь закон. — Одного из «шестерок» звали Бубон, и он повернулся набрякшим фингалом к свету, чтобы все видели.

— Да он вроде не вредный фраер, — сказал Чиграш. Чиграшу Буров делал искусственное дыхание и вовремя довез его до санчасти. — Может, он псих просто?

— Психу на воле ксиву на тачку не дадут. И здесь психа водилой не поставят. Закон есть закон, — сказал «шестой».

— Много ты знаешь. Балабон ты, — сказал Чиграш.

— А чо ты мне рот затыкаешь? — «Шестой» притронулся к подбигтому глазу. — На воле и то вон гласность...

— Может, тебе телетрансляцию устроить? — Человек, который как-то перекурил с Буровым, сломал в кармане карандаш.

— Не надо. — «Шестерка» отодвинулся на всякий случай.

— Закону он меня будет учить... — Человек, который как-то перекурил с Буровым, проходил по делу как Краснов Петр Иванович, он же Костомаров, он же Нагорный, он же Санин, Иван Петрович.

— Ты сам знаешь закон. — Это сказал уже другой шестой номер.

— Я знаю закон.

Жалко было карандаша. Карандаш был почти огрызок. Карандаш не проблема, но к этому он привык. Он отпустил в кармане сломанные половинки карандаша и вынул руку.

— Сдавай, Чиграш.

Он даже не взглянул на Чиграша. Он встал, когда Чиграш достал коллду. И вынул пачку «Памира», хотя мог бы курить «Марлборо». Если бы захотел. Но он привык к «Памиру». «Памир» сейчас уже нигде не выпускали, но у него всегда был «Памир». Он размял в пальцах сигарету и вставил ее в мундштук. К нему протянулись сразу три зажигалки. Он прикурил у парня в новеньком бушлате, из-под которого выглядывал серый щегольской джемпер. Сам он был в стиральной клетчатой рубашке.

Он выпустил дым из ноздрей. Кивнул. И сказал, показав мундштуком на парня с зажигалкой:

— Шерстяной проследит, чтобы все было спокойно. Тут у нас не съезд. Без прессы обойдемся...

— Чем тебе не пресса? — сказал Буров. — Картинки есть. Вот кобыла — «Галантерея»...

Там была фотография кобылы.

— От жеребца «Галантного» и «Лотереи», — прочитал Буров.

Носилки подняли в самолет. И шофер с кентом в халате пошли назад. Женщина в пуховом платке осталась стоять у откинутой железной лесенки.

— Ладно, давай, — согласился мужик.

Те двое с носилками вернулись к машине, вытащили оттуда какой-то ящик и понесли к самолету. Кент в халате косолапил — видать, ящик тоже был нелегкий.

Пилот вышел из серой тяжелой двери, с натугой приоткрыв ее, прошел вдоль кирпичной стены и теперь нырнул в здание аэропорта с обычного хода. Должно быть, в туалет.

— Мужик, — Буров протянул мужику свою торбу, — не в службу, в дружбу — посмотри и на меня там насчет места. А? Я сейчас.

Парень в летной куртке уже выходил из дверей, толкнув одну стеклянную половинку.

— Я только отолью на просторе, — сказал Буров.

Мужик сунул журнал под мышку, перехватил сумку и пошел к зданию. Парень в летной куртке поравнялся с ним, обогнул и вышел прямо на Бурова.

Буров посторонился и уже сзади прикоснулся к рукаву.

— Земляк, будь другом, — сказал Буров. — Выручай. Вот так надо!

— Ты чего? — Пилот остановился. — Самолет перегружен. Нельзя.

А ты кто такой?

Буров стоял почти у самого «уазика».

Мужик в халате и шофер вернулись к машине.

— Всё! — сказал шофер и поднял правую руку. Мужик в халате уже взгромоздился в кабину.

— Будь здоров! — сказал пилот.

Шофер захлопнул дверцу, из-под колес в Бурова полетели комья снега.

— Ты доктор, что ли? — спросил пилот.

«Уазик» повернул у края ограждения летного поля и стал растворяться в тумане.

— Доктор, — сказал Буров. — Врач.

— Тогда другое дело. — Пилот покачался на месте с пяток на носки. — Доктора могу взять. Больной тяжелый, а врача нет. Я покойников возить не нанимался, — сказал пилот. — Поехали...

Газета лежала на месте. И место было не занято. А рядом, где раньше сидел Буров, расположился долговязый парень. Кепка у долговязого была сдвинута на глаза, глаза прикрыты. Ноги он вытянул далеко перед собой. Мужик с буровским «Конеководством» под мышкой помялся перед ним и кашлянул в кулак. Но долговязый так и не открыл глаза.

— Гражданин, здесь занято...

— Я сплю, — сказал долговязый парень, — не мешай. И отойди в сторону, — а то сны загораживаешь.

Глаза у него были по-прежнему прикрыты.

Мужик пристроил сумку на старое место и сел прямо на газету. Буровскую торбу он взял на колени.

— Придет, сам с ним разбирайся, — сказал мужик. — Вот его вещи. И место это его.

— Не мешай спать, последний раз предупреждаю, — сказал долговязый.

Он шевельнул ногой и приоткрыл ближний к мужику глаз. Потом он открыл оба глаза, посмотрел на мужика, на буровскую торбу у него на коленях. И приподнял указательным пальцем козырек кепки.

— Его вещи, говоришь? — сказал парень. — А сам-то он где шляется?

— В туалет пошел. — Мужик раскрыл «Конеководство» посредине и стал листать дальше.

— Тоже что-то в мочегон потянуло. — Долговязый парень встал. — Если твой кореш не придет, место никому не отдавай.

Мужик молча положил буровскую торбу на освободившееся место.

— Лады? — сказал долговязый парень в коротенькой курточке на молнии. Слева курточка у него оттопыривалась. Вещей с ним никаких не было.

— Разбирайтесь сами, — сказал мужик.

— Разберемся, — пообещал долговязый.

В туалете он открыл дверь свободной кабины, закрыл ее и подергал вторую ручку. В туалете было только две кабины. Вторая кабина была заперта. За дверцей сопели, и снизу было видно, как поддергивались брюки. Долговязый подошел к раковине, пустил воду и дождался, когда откроется дверь второй кабины. Оттуда вышел пузатый мужчина с портфелем и пошел мыть руки. Долговязый рук мыть не стал, направился к выходу.

— Ну, где ты потерял своего кореша? — спросил долговязый.

— Не кореш он, — сказал мужик.

И посмотрел на оттопырившуюся куртку.

— Разбирайтесь сами, — сказал мужик.

Мужик нашел в журнале интересную статью про то, как покрывают кобыл и улучшают породу.

— Сидел тут рядом, а потом санавиация прилетела...

— Санавиация? — переспросил долговязый.

— Ну, — сказал мужик.

— Ну, раз сидел — тогда другой разговор. — Долговязый оглянулся по сторонам.

— Тогда другой разговор, — сказал пилот.

Они шли к самолету прямо по снежной целине, стараясь ступать в оставленные шофером «уазика» и санитаром следы. Пилот в унтах и куртке с порыжевшем воротником шел впереди. Он приостановился и обернулся.

— Тебя я вместо жены большой возьму. Тебя, как доктора, я могу. А ей не положено. Пусть летит рейсовым...

Женщина в пуховом платке все стояла у коротенького металлического трапа. Лицо у нее было опухшее. Она или много плакала, или мало спала. Буров остановился.

— Нет, шеф, — сказал он. — Вместо нее я не полечу.

— Спасибо, шеф, — сказал он.

— Санавиация? — переспросил долговязый.

— Ну, — сказал мужик.

Он дочитал про то, как покрывают кобыл. Больше ничего интересного в журнале не было. Он приподнялся, вытащил из-под себя газету и разгладил ее на коленях.

— Ладненько, — сказал долговязый. — Место за мной.

— Слышь, парень. — Мужик остановил его. — Какого Багратиона в Верховный Совет выбрали?

— Какого Багратиона?.. — Парень переступал чью-то поклажу на полу.

— Петра Ивановича, — сказал мужик.

— И правильно сделали, — на ходу ответил долговязый. Разговаривать ему было некогда.

— Нет, шеф, — сказал Буров. — Вместо нее я не полечу. Спасибо. Давай крути пропеллер.

— Самолет перегружен... — Пилоту было теперь неловко перед Буровым.

Он потоптался на месте, потом попинал лыжу.

— Не взлетит, — сказал он.

— Все в порядке, шеф, — сказал Буров. — Помашешь там моим крыльями...

— К жене летишь? — спросил пилот.

— Ну, да. — Буров вынул пачку «Беломора» и закурил.

— Давно не видел?

— Порядочно, — сказал Буров.

Пилот еще раз попинал лыжу носком унта.

— Залезайте, — сказал пилот женщине.

Женщина поднялась по трапику в самолет. Пилот отцепил его и забросил в салон. Потом еще раз попинал лыжу.

— Не взлетит, — сказал он Бурову. — Донорской крови много загрузили...

— Ладно, — сказал Буров. — Что сделаешь?

Он повернулся и шагнул к зданию аэропорта. Отсюда было слышно, как за зданием орали вороны.

— Стой. — Пилот открыл дверцу кабины. — Садись. Может, взлетим?

— И правильно сделали. — Разговаривать долговязому было некогда.

Он торопливо пробирался уже между рядами кресел, один раз наступил на чьи-то ноги, другой раз запутался в узлах. Когда он открыл стеклянную дверь выхода на посадку, в зал ударил рокот мотора.

Долговязый выбежал к ограждению и застыл.

Самолетик уже развернулся, выбрался на взлетную полосу и заскользил, подрагивая крыльями, в белесый туман.

Долговязый открыл рот, потом махнул рукой — из тумана доносился только рокот мотора.

— Попробуем, — сказал пилот. — Может, и взлетим.

Он перегнулся через Бурова, открыл и как следует захлопнул дверцу с его стороны и жестом показал на петлю над дверцей, какие бывают на поручнях в трамваях, чтобы держаться.

— Захлопните дверцу как следует. — Пилот обернулся к женщине у носилок. — Ручку бечевой замотайте...

— Крепче, — сказал он.

— Открывается, зараза, — сказал пилот Бурову.

Пилот нахлобучил на голову наушники. Правый наушник он чуть сдвинул — в наушниках совсем ничего не было слышно.

— Ну, с Богом! — Пилот подмигнул Бурову. — От винта!

— Там же нет никого. — Буров вытянул шею и посмотрел налево и направо.

— Так полагается, — сказал пилот. — А перегрузка не полагается.

Пилот сунул руку вниз, мотор чихнул, взревел, пропеллер замелькал и превратился в прозрачный туманный круг. Потом круг исчез...

— Поехали. — Пилот взял за другую рукоятку.

Самолет дрогнул, потащился вперед, развернулся, выкатился на взлетную полосу, еще раз развернулся и стал набирать скорость.

Буров взглянул назад. Поле сзади было пустое, только у ограждения торчал какой-то долговязый парень. Парень махнул рукой и растворился в тумане.

Пилот, не отрываясь, смотрел на трясущуюся стрелку на черном круглом циферблате. Потом взял ручку на себя.

— Перегрузка, — сказал он и плавно отпустил ручку. — Не оторвемся.

Стрелка на черном циферблате плясала и все лезла вверх. Взлетная полоса кончилась. Самолетик пилил по снежной целине.

— Дальше овраг, — сказал пилот.

Буров ничего не видел впереди, кроме тумана.

— Попробуем, — сказал пилот и еще раз потянул ручку на себя.

Самолет оторвался от земли и повис в тумане. Потом под Буровым мелькнули макушки деревьев и склон оврага.

Буров посмотрел на выотомер. Стрелка перевалила за сто метров и стала, подергиваясь, ползти вверх.

Пилот заложил правый вираж. И тут сзади что-то хлопнуло. Потом за-верещала женщина и вцепилась в спинку буровского кресла.

— Открылась, зараза, — сказал пилот, не оборачиваясь.

— Слушай, доктор. — Пилот дотянул вираж и выровнял самолет. — Сходи закрой, пожалуйста. И ручку веревкой заматай как следует.

В самолете заметно посвежело.

Буров приподнялся, встал коленом на сиденье, потом перелез через спинку кресла и оказался рядом с носилками.

Женщина вцепилась обеими руками теперь в спинку пилотского кресла и уже не голосила. Носилки были укреплены на стойках. Свесившееся с большого одеяло трепыхалось. Но сам больной даже не пикнул. Наверное, это действительно был тяжелый больной. И ему было уже все до фени.

Дверь ходила то туда, то сюда, когда самолет проваливался в ямы, а потом его снова подбрасывало вверх.

В проеме двери стояло сплошное туманное молоко.

— Парашют дашь? — сказал Буров, перебираясь ближе к борту. Он старался крепче держаться там за какие-то металлические ребра. — Я лезть не умею.

— Серьезно? — Пилот оторвался на секунду от управления и взглянул назад. — Здесь невысоко. Ты ее за веревку лови. Только держись как следует, — сказал пилот.

Буров нахлобучил ушанку и подобрался к самому проему. В лицо ударил тугой воздух.левой рукой Буров покрепче вцепился в скобу над дверью и попытался достать болтающуюся веревку. У него ничего не получилось. Тогда он ухватился второй рукой за край носилок, отпустил скобу и шажками-шажками передвинулся к хвосту самолета. Теперь он был с другой стороны двери. Там тоже была скоба. Он ухватился правой рукой. Но и отсюда бечевку он не доставал.

Пилот оглянулся, посмотрел на Бурова.

— Держись, — сказал пилот.

И заложил теперь левый вираж. Дверца пошла на Бурова.

Буров вытянул руку, ухватил бечевку и потянул дверь к себе. Потом он как следует примотал ручку бечевкой. И проверил, не отпуская скобу, как держится.

— Всё. Поехали дальше. — Буров прошел, держась за край носилок, обратно.

Больной мужик, оказывается, действительно был весь белый и синий. И дышал он с трудом.

— Нормально, мать, — сказал Буров женщине в пуховом платке. — Продолжаем полет...

— А? — сказал он пилоту и перелез через спинку кресла на свое место.

— Постараемся, — сказал пилот.

Пилот все смотрел вперед, как будто что-то там видел. Буров даже пропеллера не видел. Гул стоял впереди и туман.

— Нормальная погода! — проорал Буров.

Пилот показал пальцем на радионаушники и помотал головой. Раньше

у него правое ухо было чуть открыто. А теперь он законопатил уши наушниками наглухо. Когда он их так нахлобучил, Буров не заметил.

— Связь с бортом есть? — спросил долговязый.

Перед этим он всех, кого надо, быстренько ознакомил в диспетчерской с красной книжечкой.

— Есть, — сказал парень у пульта. Он сидел перед микрофоном в расстегнутой рубашке. Здесь было тепло.

— Вызывайте, — сказал долговязый. — Потом дадите микрофон мне.

— Вам не положено, — сказал радист.

— Вызывайте, — сказал долговязый. — Передадите, что я скажу...

Радист щелкнул тумблером, покрутил ручкой настройки и забубнил в микрофон:

— Девяносто шестой, девяносто шестой, отвечайте, девяносто шес...

— Вас слышу, — сказал пилот.

Буров посмотрел на него. Пилот по-прежнему пилил себе в туман.

— На связи, — сказал радист долговязому.

— Передавай... — сказал долговязый.

Пилот по-прежнему смотрел вперед и пилил в туман. Буров оглянулся назад — женщина поправляла больному изголовье.

— Вас понял, — сказал пилот.

Радист щелкнул тумблером и взглянул на долговязого.

— Теперь Средневожск, — сказал долговязый.

— Сколько до Средневожска? — крикнул Буров.

Мотор гудел. И пилот был в наушниках.

— Сколько летим? — еще раз крикнул Буров.

Он задрал рукав и постучал по циферблату.

— Сорок минут, — сказал пилот.

Они летели уже минут двадцать. Буров засекал время, когда взлетали. Отлить он там так и не успел, и теперь поджимал мочевой пузырь. Но еще минут двадцать можно было потерпеть.

Сзади снова заскреблась тетка, чего-то заверещала. В шуме разобрать было невозможно. Буров обернулся.

— Ты чего, мать?

— Доктор, доктор! — Платок у женщины сбился назад, волосы были растрепаны. — Сделайте чего-нибудь! Укол... Плохо ему!

Пилот сидел в наушниках. И глядел себе в туман. Чего он там видел, в этом тумане?

— Сейчас, — сказал Буров.

Он перебрался через спинку кресла и присел возле носилок на корточках. Взял больного за руку. Рука была холодная и липкая. Буров взялся за запястье, там, где врачи нащупывают пульс. Буров только забыл: с какой стороны? Здесь вроде ничего не было. Буров перехватил руку, прижал пальцы, подвигал их туда-сюда. Под пальцами что-то слабенько ускользало и с перерывами.

— Умираю я... — сказал вдруг мужик на носилках.

Нос у него еще больше заострился.

— Еще чего! — сказал Буров. — Как миленький будешь жить! Все нормально, папаша. Сердце бьется, нос трясется. Ты мне не выдумывай!

— Укол ему какой-нибудь поставите! — сказала женщина.

— Шприцев с собой нет, — сказал Буров. — Но только без паники. Умирает он... Это только кажется, отец. Вроде вот оно — все! — а сам снова живешь. Надо жить, и будешь. Мы тут без шприцев обойдемся. Я у самого Кашпировского учился. Мы без шприцев...

Женщина открыла рот и смотрела на Бурова широко открытыми глазами. Она так и не поправила платок.

— Даю установку, — сказал Буров. — Сейчас дышать будет легче. Сердце бьется нормально, гонит кровь куда надо.

— Даю установку дышать, — сказал Буров.

— И воздействую биополем.

Он положил больному руку на лоб. Лоб у того тоже был влажный.

Пилот взглянул еще раз на Бурова и снова отвернулся.

— Категорически будешь жить, — сказал Буров. — Даю такую установку. Дышать, дышать... Сейчас все придет в норму.

Лоб под буровской ладонью вроде действительно стал просыхать. Дергаться мужик тоже перестал. И ровнее задышал.

Буров посидел около него еще минут пять.

— Вот видишь, — сказал он. — А то умирать собрался. Будем жить.

Буров перебрался на свое место. Мочевой пузырь прямо разрывался. Особенно когда Буров лез через спинку кресла. Буров взглянул на часы. Они летели уже сорок пять минут.

— Шеф! — заорал Буров.

Пилот сдвинул один наушник.

— Скоро, что ли? — спросил Буров.

Пилот пожал плечами.

— Слушай, я отолью в дверцу?

Буров уже взялся за ручку. Пилот показал ему кулак.

Потом он расстегнул планшет, достал оттуда карту. И стал рассматривать ее у себя на коленях. Потом посмотрел вниз.

— Токушкино, — сказал он.

И ткнул специально для Бурова пальцем вниз. Буров взгляделся туда — там смутно плыла в разрывах тумана действительно какая-то деревушка. Но Токушкино было совсем с другой стороны Средневожска. Значит, заблудился летун. От Токушкина пилить, наверное, еще минут двадцать.

Буров кивнул пилоту, чтобы показать, что понял.

— Что там с ним? — Пилот повел головой назад.

— Живой, — сказал Буров. — Будет жить. Это практически пропульсия поперецуса.

— Бывает, — сказал пилот.

— Ну, это долго объяснять, — сказал Буров.

Пилот кивнул, снова надвинул наушники. И стал пилить дальше, взглядывая иногда на карту.

— Ну, вот так, — сказал Буров. — Такие дела...

— Так вот, — сказал человек, которого в зоне одни звали паханом, а другие Красновым Петром Ивановичем. А фактически он был Король. Он катал в кармане бушлата сломанный огрызок карандаша, который умудрился снова остро заточить. — Дела, значит, такие...

В зоне после побега был большой кипеж. И еле удалось собраться. Он взглянул на «шестерку». фингал у которого уже расцветился и пожелтел. «Шестерка» отодвинулся в глубь нар, за столб.

— Ну, из-за кого у нас сегодня такой большой кипеж? — Человек, которого здесь звали паханом, ласково катал в кармане между пальцев остро отточенный огрызок карандаша.

— Бубон не сделал дела, — сказал Шерстяной.

Бушлат у Шерстяного был расстегнут на все пуговицы. Шерстяной все форсил в своем джемпере.

«Шестерка», кликуха которого была Бубон, вдвинулся еще глубже в тень.

Но Король даже не стал искать его взглядом. Он отпустил карандаш.

— Не вижу. Где его место? — сказал он.

— У параша его место, — отозвался Чиграш. Чиграш сидел, оперев руки в колени.

— Голосовать не будем? — Пахан приподнял и опустил уголок рта. Это означало у него улыбку. Он встал. И пошел по проходу. Потом обернулся.

— Шерстяной проследит, — сказал он. — Если... накажем его.

— Закон, — сказал он.

Он отворил дверь барака и вышел в туман. Но за двадцать лет в этих местах он мог ходить здесь хоть с завязанными глазами.

Буров ни черта не видел в этом тумане. Однако самолет начал снижаться. Через минуту лыжи уже скользили по снегу. Но построек здесь что-то не было видно. Справа тянулась лесопосадка. И только вдали маячило здание аэровокзала.

— Промахнулись... — сказал пилот. — Туман... Но, если на троллейбус, здесь ближе.

— Спасибо. — Буров взялся за ручку дверцы. — Как звать-то? Может, еще увидимся. Свинья со свиньей не встречаются, а человек с человеком всегда могут встретиться, — сказал Буров.

— Петр Иванович, — сказал пилот.

Он свертывал карту и убирал ее в планшет.

— Смотри! — сказал Буров. — Полные тезки...

У него в кармане лежал паспорт, который ему дали на Либкнехта, 12. Там он был Петром Ивановичем.

Буров обернулся к носилкам.

— Даю установку жить! — сказал Буров.

Он открыл дверцу, прыгнул на снег. И за первым же деревом в лесопосадке облегчил мочевой пузырь. И зашагал к троллейбусной остановке.

Самолетик развернулся, дымя снежной пылью. И покатил к аэропорту. Летное поле было сейчас пустынным. Уже на рулежной дорожке его оставил милицейский «уазик». Оттуда выскочил сначала милиционер в капитанской форме, потом двое в штатском. Штатские побежали к той стороне, где только что сидел Буров, а капитан подошел ближе к пилоту.

— Где? — спросил капитан.

Он уже заглянул в кабину.

— Выскочил, ушел... — сказал пилот.

Пилот оглянулся назад. Больной лежал тихо. Дверца была прикручена бельевой веревкой крепко. Наверное, долго еще придется распутывать.

— Я тебя сгною, — пообещал капитан. — Ты где сел?

Пилот пожал плечами.

— Туман... — сказал он.

На груди у капитана заверещала рация. Капитан взял ее и поднес к уху. Потом нажал кнопку.

— Нет, Петр Иванович, — сказал капитан, — ушел...

Потом снова нажал кнопку. И снова слушал. Слушал он долго. Видно, там его хорошо прикладывали. Двое в штатском подошли к капитану и встали рядом.

— Что, Иван Петрович? — спросил один.

Вместо ответа капитан опять нажал на кнопку.

— Туман... — сказал капитан в рацию.

Он уже знал эту историю. Ну, сбежал. Шофер. Отсидел почти. Он там навесил двум «шестеркам» и рванул на машине. Капитан сам бы так сделал. Пусть его ловят у кого других дел нет. Здесь кого надо брать не поспеваешь. Где его теперь искать? Собаки у них нет. Сам он тоже не собака. И снегу по колено. Тут в тумане черт ногу сломит.

— Будет сделано, — сказал капитан в свою рацию. — Понял.

— Туман, Петр Иванович, туман... — сказал капитан.

Он выключил рацию. Поправил ее у себя на груди.

— ...Не считая остального тут всего...

Это он буркнул уже себе под нос.

ВЕСЕЛАЯ ЗЛАЯ НАДЕЖДА

* * *

Вот уютное время — эзопов язык.
Намекнут, подмигнут — а ты понял и счастлив.
И как будто соавтором сделался вмиг,
плод сладчайший отведав запретного братства.
Эту сладость и автор давно раскусил.
(Что свобода и воля в сравнении с нею!)
Было б только зерно, и не трать лишних сил,
брось под ноги, само прорастет и созреет.

О цензура, живой чернозем для пера,
где былинка — и та обретала значенье,
и повсюду щадящий глаза полумрак,
и не дай Бог, чтоб ярче, светлей, горячее.

А свобода взойдет — и пошло полыхать.
Кто ее, золотую пустыню, придумал?
Ей же наши угожья спалить — только дунуть.
Надо вечно сеять. А где его взять?..

Нету. Не запаслись. И найти — не успеть,
только вот до заката не век остается;
а угаснет опять непосильное солнце,
и увидишь, как всходы начнут зеленеть.

* * *

Слово «отъезд», привычное, как «очередь»,
или вопрос «теперь это почему?»
уже без прежней трагедийной горечи,
обжитое, как заселенный дом;
то там, то здесь ломался лед давно,
и звук знакомый больше слух не режет.
Вот, наконец, и очередь за мной
остаться перед трещиною свежей.

И узкая чернеет полынья,
пока еще вполне преодолима.
Но с каждым днем расходятся края —
Ну вот, и мы уже на разных льдинах.
Кому я после буду лепетать,
что и она была когда-то общей? —
В остановившихся часах на ощупь
пытаюсь стрелки передвинуть вспять.

И все стараюсь не глядеть туда,
пока еще не обращать вниманья,
как заполняет мертвая вода
совсем еще живое расстояние,
так больно, что как будто все равно,
как пустота, которую не меряют —
ни временем, ни силой, ни длиной.
Уже ничто значенья не имеет.

Белое море-87

На старом таежном кладбище
весло лежит на могиле,
и — вместо двух — три даты:
Родился. Исчез. Похоронен.
Оставшееся доскажет
сумрачный плеск залива
да ропот прибрежных елей
с чахлым подлеском хвойным.

И темный их шум понемногу
деревню смывает заживо
в море, и с каждым годом
все меньше ее остается,
и мхом зарастают дороги,
и почему-то кажется,
что нет никакого закона,
по которому все сойдется.

Успеть бы подняться просто,
не жалуясь и не споря,
с достоинством обреченных
на голый открытый берег —
и жизнь до краев нальется
безвыходной силой моря,
и черные колокольни
лесов загудят над нею.

* * *

Здесь красот и красок так мало,
что они надоеть не могут.
Только лошади одичалые
почему-то морскую воду
пьют. На открытой глади
вдалеке их отчетливо видишь.
И тишины тут хватит
на десять миров таких же.
Озирается сиротливо
напряженный слух белой ночью,
и по той же полосе отлива
повзрослевшие уходят дочки.

* * *

За такими, как я, шагу сделать нельзя.
Как болото, за мною сомкнется стезя.
Сколько правды мои б ни вместили слова —
все равно никогда я не буду права.

Ну а если кто прав — знаешь, это не тот,
кто и в помыслах чист, как весенний газон,
и не тот, кто всю правду от лжи отдерет,
и не тот, кто полезет за ней на рожон,

а лишь тот, кто собою все соединит,
хоть последним, но недостающим звеном,

и осколки чужих попаданий прямых
восстановит, в себе собирая самом,
ну а я не смогла, не смогла, и цена
всем моим откровениям — ровно пятак.
Не жалейте меня! Я готова сама
от себя отвернуться, сломать, растоптать,
лишь веселую злую надежду на все
я, позадничив, спрячу, как вор, затая,
как спартанец лисенка в плаще донесет,
лишь его сохранив. Даже вместо себя.

Александр МАКАРОВ-КРОТКОВ

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ...

* * *

эта осень
поставила замечательный спектакль
даже известный критик
прослезился под шум электрички

эта осень
так замечательно раснорядилась
и ты
в роли листопада

купить счастливый входной билет
и запастись терпением

но я так замечательно опаздываю
даже ко второму действию

и ветер поет
под аккомпанемент электрички
скоро зима
скоро зима
скоро зима

* * *

светло и хорошо светло и пусто
пусть это все придумано искусно

прощай! я покидаю этот дом
а в доме новом мышка под столом

хлеб на ладони и вода из крана
водопровод работает исправно

светло и хорошо светло и пусто

* * *

всю жизнь
в погоне
за совершенным
вижу что все

относительно
но когда совершенно
невыносимо
закрываю глаза
в поисках школьных лет
помогите!

* * *

Музыка
билась о стены
стучала в окна
кричала Пустите
Музыка горько рыдала

Не слышал никто
Композитор
обедать ушел

* * *

нет ничего а есть один мороз
но он уже не выжигает слез
соленый пар не реет над страной
он над границей высится стеной
суха гортань и помыслы сухи
и пишутся прогорклые стихи

* * *

Е. Пашанову

в больнице лица
вытянуты
как на портретах Модильяни
не в пропорциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения

* * *

однажды ночью
я вышел
на большую дорогу

и столкнулся
с самим собой

с тех пор
по ночам
я дома сижу

* * *

каждое слово
с хрустом
с кровью

родная речь по зубам
разве что
иностранцам

* * *

с каждым днем
в думах о хлебе насущном
становлюсь
мудрым и трезвым
учусь содержать мозги
в чистоте и порядке
учусь видеть
и не понимать

* * *

я пишу стихи
ты пишешь стихи
он пишет стихи
мы делаем общее дело
в стране ощущается
нехватка бумаги

* * *

в этой стране
только и умеем что
говорить на своем языке

* * *

мои обиды
мелочь летящая
вдоль поручней эскалатора
мои несчастья
смешны
на фоне скачущего прогресса
мои поражения
то есть ваши победы
значит
кому-то уже хорошо
я безусловно верю в светлое далеко
поэтому не курю сигареты «САМЕЛ»

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

ЯБЛОКО

* * *

По клеверным лугам, ромашковым полям...
Бог яблоко небесное разрезал пополам.
Под пленкой золотой в нем косточка земли,
В глаза мне брызжет соком зеленый дождь вдали.

Бог держит на ладони ныряющий, как плот,
 И легкий, словно лодка, качающийся плод,
 Который мы вкусили хотя бы изнутри —
 Как некогда у Евы, у нас во рту горит.
 В нем улицы растут, как ветви и стволы.
 На них дома, как листья, постели и столы.
 Но только нам не видно! дома без крыш стоят,
 И в каждый, как монету, бросает ангел взгляд.
 А дунет — будет осень, и полетит листва,
 Под хруст костей и стен — засохшие слова.
 Скорее! — лишь объятье и может нам помочь —
 Когда ладонь сомкнется и воцарится ночь.

* * *

Храни, судьба, от красоты, от власти,
 От знания; да и талант — магнит,
 Притягивающий несчастья:
 Добра не помнит, а беду манит.

За ним как будто прячется уродец,
 Толкающий с утра, как на редут:
 То загремит ведро в колодец,
 То дверь защелкнется, то деньги украдут.

А дальше — больше, выпадают фанты —
 Наверно, дару Божьему назло:
 Долги, измены. Так вот Александру
 Сергеевичу в карты не везло.

Но, может быть, несчастья — только дрожжи
 Для тайной кухни, угли для печей, —
 И чем заплачено дороже
 За голос — тем он горячеей.

И даже стерегущий ангел тихий
 Не в силах изменить тариф —
 Лишь озарить, поймав последний выход
 И вместо смерти — гибель подарив.

* * *

*Я кончился, а ты жива...**Б. Пастернак*

Ты умерла, а я живу.
 Но этим сказано не больше,
 Чем то, что ветер смял траву
 И путник прошептал: «О Боже!»,
 Что облачная карусель
 Заведена, и в нашей мелкой
 Реке — осенний лист, и ель
 Дрожит, как часовая стрелка,
 Упертая в окружность без
 Обозначений — только шире
 Полеты стай за дальний лес —
 Подобно сдунутой цифири;
 Что в перезрелой ржи разлит
 Цвет тела твоего нагого,
 А контур сдвинут и размыт,
 Как контур дерева и слова.

* * *

Нет, нет, нет. Нет, не хочу!
 Нет, раз не орел, то и не решка.
 Нет, не хочу игры, подобной лучу,
 Спящему мартовским утром на льду прибрежном.
 Луч прорастает глубже, вода поет
 Где-то внизу, пробираясь ему навстречу,
 И умирает лед, умирает лед,
 Корчась и не зажимая течи.
 Нет уж, пусть будут руки мои пусты,
 Искорку обладанья в пожар потери
 Не превращая, ложась на буквы, листы,
 А не на плечи, губы, ступени, двери.
 Пусть уж душа одна ночь напролет
 В пляске хлыстовской кружится, постепенно
 Бег убыстряя, как в водовороте лед, —
 На берегах, на губах проступая пеной.

* * *

Деревни малахитовой шкатулка
 С испорченной музыкой внутри,
 Руками грубыми захлопнутая гулко,
 Зброшена в бурьян и пустыри.
 В ней что-то крутится еще: хрипят машины,
 Скребют колесики, скрежещет лес,
 Торчащий перекрученной пружиной,
 И стадо сыплется, но чистый звук исчез.
 Дрозда заклинило — весь день трещит из чащи,
 И, вспыхнув, точно гаснущий огонь, —
 С текучим облаком и кленом говорящим
 Перекликается охрипшая гармонь.

Десятая симфония

ПОВЕСТЬ

Более чем через шесть десятилетий после издания на Западе впервые на родине М. А. Алданова публикуется его повесть «Десятая симфония».

Ее творческая история необычна. 17 января 1930 г. писатель сообщил И. А. Бунину о новом творческом замысле. Он задумал несколько статей на тему: «низы и верхи». В качестве первого «низа» избрал Азефа как величайшего злодея, а первым «верхом» хотел бы взять Гете, но для этого необходима поездка в Веймар: «Все жгу денег... Проклятые издатели, проклятая жизнь!»—в сердцах восклицал Алданов.

Он к этому времени имел репутацию одного из крупнейших прозаиков русской эмиграции, его романы были переведены на многие языки, но сводить концы с концами на убогие гонорары было чрезвычайно трудно. Поехать в Веймар писателю так и не удалось, однако замысел, связанный с темой предельных высот человеческого духа, его по-прежнему волновал. Вместо статьи он написал повесть «Десятая симфония», местом действия стала Вена, одним из героев—Бетховен. В 1931 г. вышла в свет его книга «Десятая симфония—Азеф». Неорганичность соединения под одной крышей повести и очерка, по-видимому, Алданова тяготила; он оговаривал в предисловии, что не в силах был писать о таком человеке, как Азеф, в беллетристической форме. Что касается образа Бетховена, эта тема, возможно, обсуждалась Алдановым с С. В. Рахманиновым, которому посвящена повесть; к той же поре относится фотоснимок, запечатлевший вместе Рахманинова, Алданова и Бунина.

В прозе Алданова бросается в глаза резкий водораздел между повестью и романом. Романы—крупные исторические полотна с множеством персонажей, вымышленных и реально существовавших, разветвленными сюжетными линиями, политическими и философскими рассуждениями, вставными новеллами. Повести—небольшие философские притчи, жанр, редко встречающийся в русской литературе, но во французской литературе восходящий к Вольтеру. Автор называл их сказками, вкладывая в это слово особый смысл. Характерные признаки жанра сказки, по его определению, «отрывочность, сухость психологического рисунка и подчинение всего общей идее». Повесть—менее всего исторический портрет, и потому-то оказалось возможным заменить создателя Фауста творцом Девятой симфонии.

Символ повести, по Алданову,—слова Священного Писания: «И вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба». Бетховену «небо» дается ценой нечеловеческих мук и страданий, гений не поняли современниками, разительный контраст между убогим, глухим бедняком и великим композитором. В русской прозе подобная романтическая трактовка образа Бетховена восходит к В. Ф. Одоевскому, к появившейся в начале 1830-х годов его повести «Последний квартет Бетховена».

Скептику Алданову романтический тип художника чужд, и он главным героем избирает не Бетховена, а французского миниатюриста Изабе, деятеля искусств, бесспорно меньшего масштаба, но тоже оставившего в искусстве свой след. Обаятельный Изабе, баловень удачи, знавший радость творчества, сознательно изображавший жизнь более наряженной, чем она есть на самом деле, говорит, что будущее «принадлежит такому искусству, которое удачно загримировано под безделушку. Он создал для себя своеобразный гореупорный мир: на протяжении долгого своего жизненного пути с равным радушием и в то же время безразличием рисовал сменявших друг друга монархов и революционеров, гнал от себя мысли о смерти. Однако в финале повести неожиданно звучит: «В сущности, ведь мы все неудачники». Художнику свойственно мечтать, что лучшее его творение впереди, но мечта остается мечтой, и горький мудрый вывод ит-жит книгу: «Думал о том, как хороша жизнь, как люди ее не ценят, как не видят всей ее красоты и как всячески отравляют ее себе и в особенности другим».

В наш политизированный, полный бытовых и социальных тревог век прочесть «Десятую симфонию» Алданова—что глотнуть свежего воздуха. Задуматься о большом искусстве, мимо которого мы так часто равнодушно проходим, задуматься о связи времен, о скоротечности человеческой жизни.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
доктор филологических наук

Сергею Васильевичу Рахманинову

E l'onor di quell'arte
Ch'alluminare è chiamata in Parisi*.

Данте

Полицейский офицер поспешно вышел из караульни. У городской заставы остановились тяжелые раззолоченные кареты. По виду поезда офицер понял, что приехали важные люди, скорее всего одна из тех делегаций, которые теперь со всех концов Европы стекались в Вену на конгресс. «Верно, французы», — подумал он. Кареты были такие, в каких ездили во Франции: с низкими козлами, с небольшими передними колесами, с погребцом внизу. Лакей в сером балахоне соскочил с козел последнего экипажа, отбросил подножку и открыл дверцы. Появился молодой человек со скучающим выражением на усталом, запыленном лице, с плохо приглаженными, видимо, только что напудренными волосами. Он огляделся по сторонам, ткнул в землю длинной модной тростью, точно пробуя, тверда ли почва под ногами, и вышел из кареты, взявшись за ручку двери. «Верно, чиновник при делегации или секретарь», — решил, ускоряя шаги, полицейский офицер. Молодой человек зевнул, сбил тростью прилипший к подножке сухой комок грязи и, достав из кармана бумагу, несколько раздраженно уставился глазами на подходившего офицера.

— La délégation française**, — строго сказал секретарь. Полицейский офицер знал по-французски. Он отдал честь и, взяв протянутую ему подорожную, предложил секретарю не дожидаться записи.

— Через час бумаги вам будут доставлены на дом, — сказал он. — Ведь вы изволите жить во дворце князя Кауниц?

Секретарь, не отвечая, щурясь от яркого солнечного света, вглядывался в подъезжавший новый экипаж. Господин средних лет, с умным, очень приятным, оживленным лицом, перегнувшись через открытое окно кареты, еще издали что-то кричал, весело кивая головой.

— Ах, это вы, мосье Изабе? — снисходительно-любезно сказал секретарь. — Как спали?

— Великолепно. Еще бы после вчерашнего ужина!.. А вы?

— Не сомкнул глаз, — ответил молодой человек мрачно. — Да, мы будем жить в отеле Кауниц, — сказал он офицеру. — Не все, конечно, но бумаги, пожалуйста, отправьте туда для всех...

— Очень трудно теперь достать у нас помещение, — сказал с улыбкой офицер, которому приказано было проявлять особенное внимание к приезжающим делегатам. — Город совершенно переполнен... Ведь князь уже изволил прибыть, — добавил офицер, показывая, что ему известно, какой знаменитый человек стоит во главе французской делегации.

— Да, большая часть делегации во главе с князем Талейраном приехала раньше... Мы последние, — благосклонно ответил молодой человек. — Так через час вы мне доставите подорожную? — спросил он, протягивая руку офицеру.

— Вы можете быть совершенно спокойны. Имею честь кланяться...

— До свидания, мосье Изабе, — садясь в карету, сказал секретарь. — Ведь вы теперь к себе? Значит, за обедом увидимся... Князь всегда обедает в пять часов.

— Отлично! Я тоже, — весело ответил мосье Изабе.

Лакей махнул рукой кучеру первой кареты. Офицер отдал честь. Мосье Изабе поправил подушки на сиденье, подвинул подставку для ног и устроился поудобнее у окна. Несмотря на ранний час, предместье Вены было оживленно. Лавки открывались, из домов выходили люди и с любопытством смотрели на медленно катившиеся кареты. «Русские...» «Нет, англичане», — говорили в толпе. Мосье Изабе приветливо улыбался. Он был в Вене четыре года тому назад и сохранил о ней самые приятные воспоминания. Теперь, в свежее солнечное утро, она понравилась ему еще

* Честь того искусства <оформления книги>, которое называют «расцветиванием» в Париже (итал.)

** Французская делегация (франц.)

больше. «Прекрасный, прекрасный город, и народ очень хороший... Совсем не надо было императору с ними воевать... Бедный император!.. Впрочем, что ж? Он жил для славы, а славы у него и теперь достаточно,— думал мосье Изабе, ласково улыбаясь проходившей девушке в коротеньком белом платьице, в розовых башмачках, в золотом кружевном чепчике.— Это, кажется, их национальный убор... Очень мило... И нет ничего лучше на свете, чем этот милый, прелестный румянец на ее щечках... Как жаль, что вместо нее придется писать разных злых, хитрых, тщеславных старичков, у которых единственная радость на земле — отравлять жизнь друг другу. Что такое он говорит?.. Куда ехать?..»

Кучер, обернувшись с козел, о чем-то его спрашивал. Мосье Изабе был убежден, что немного — не очень хорошо, правда, — владеет немецким языком. Он еще до заставы объяснил кучеру, куда надо ехать: в предместье Леопольдстат, за каналом Доно: мосье Изабе знал, что на этом забавном языке Дануб называется Доно*. «Бестолковый человек», — подумал мосье Изабе и хотел было рассердиться, но красное морщинистое лицо старика-кучера было приятно и благодушно, он, видимо, старался угодить иностранному гостю, и, главное, солнечное утро было так хорошо, что мосье Изабе рассердиться не удалось. После новых объяснений кучер, наконец, понял.

У канала мосье Изабе приказал своему лакею слезть с козел и занять место на запятках кареты: так приличнее было явиться в новый дом. Квартира для мосье Изабе уже была приготовлена друзьями, но еще не снята твердо: он предварительно сам должен был взглянуть, подходят ли комнаты и хорошо ли падает свет. В этом положиться на других людей было невозможно.

Кучер, откинувшись назад, затягивал вожжи. Карета спускалась к мосту. «Razumovski Brücke»** — сказал кучер. Мосье Изабе разобрал имя и вспомнил, что русский граф, владелец самого великолепного дворца в Вене, выстроил на свой счет мост, — так ему удобнее было возвращаться домой с Прагера. «Любезный старик и очень умный, — подумал мосье Изабе, в прошлый свой приезд побывавший у графа Разумовского. — А дворец какой, какие произведения искусства!.. И, удивительнее всего, он очень недурно знает толк в картинах. Как это его называли здесь, в Вене?.. Ах, да...»

— Erzherzog Andreas*** — с улыбкой спросил он кучера, показывая рукой на мост. Кучер радостно засмеялся, кивая утвердительно головой: своим поступком граф Андрей Разумовский надолго поразил воображение венцев.

У ворот, где остановился экипаж, произошло радостное смятение. Девочка, сидевшая у ворот, побежала наверх, и еще прежде, чем мосье Изабе успел взойти на крыльцо, к нему вышла хозяйка дома, величественного вида пожилая дама в желтом шелковом, расшитом цветами платье. Она еще на лестнице стала приветливо улыбаться, а на крыльце сказала знаменитому гостю французское приветствие, видимо, старательно подготовленное и выученное наизусть. Мосье Изабе так почувствовался, что поцеловал хозяйке руку, с серьезным риском навсегда потерять ее уважение.

Они пошли наверх по широкой лестнице, не крутой и выстланной вполне приличным мягким ковром. Вопрос о входе имел немалое значение для мосье Изабе: к нему в мастерскую должны были приезжать очень высокопоставленные люди. Вполне прилична была и передняя. За ней оказалась громадная, залитая светом комната. Мосье Изабе чуть не ахнул от радости: о таком освещении он мечтал всю жизнь. Он тут же, не заглядывая в другие комнаты, объявил хозяйке, что берет квартиру, и даже не торговался, хотя цена была жестокая. Хозяйка, фрау Пульвермахер, все-таки добавила, что в другом месте с него взяли бы больше: в гостинице «Zum Römischen Kaiser»**** самая дешевая комната стоит двадцать гульденов в сутки, и то ни одной свободной уже нет.

— Да, я согласен, — повторил мосье Изабе.

* Название реки Дунай на франц. и нем. яз. (прим. ред.)

** Мост Разумовского (нем.)

*** Эрцгерцог Андреас? (нем.)

**** У римского цезаря (нем.)

Фрау Пульвермахер кивнула головой; ей, видимо, нравился новый жилец. Она объяснила, что ее покойный муж был архитектором, затем повела жильца по квартире, везде открывая настежь двери, очевидно, показывая, что все без обмана: мосье Иссапе останется доволен, — имя жильца она произносила с двумя ударениями, на первом и на последнем слоге. Обмана, действительно, не было ни в чем. В спальней все тоже было очень хорошо: и огромная с периной постель, и шкапы, и рукомойник, заставленный мисками, кувшинами, флаконами. Лакей мосье Изабе, тяжело ступая по лестнице, нес сундуки, чемоданы. Ему помогала горничная, могучая, краснолицая, с огромным бюстом женщина. «Sei gelobt Iesus Christus»* — хриплым голосом сказала она, войдя в комнату. «Господи, какой Рубенс!» — подумал почти умиленно мосье Изабе. Принесли цинковую ванну, напоминавшую по форме башмак; при некоторой ловкости в нее можно было сесть. Из ванны шел пар. Мосье Изабе с улыбкой смотрел на ванну, — этот предмет и в Париже встречался нечасто; однако сесть в башмак не решился.

Умывшись и выбрившись, мосье Изабе с помощью лакея начал устраиваться: вынул костюмы, все по последней моде, с узкой талией, с шелковыми пуговицами, вынул шляпы, белье, парики, кисеты, пистолеты, компас, карту и множество разных других вещей. Все у него было превосходное; у мосье Изабе была слабость к очень дорогим вещам. Затем он приказал лакею раскрыть большой, туго перевязанный веревками ящик: там у него хранились начатые или уже готовые картины, которые он привез с собою, чтобы украсить ими мастерскую.

В шелковом халате темно-красного цвета с кистями он вернулся в большую комнату. На столе, вокруг букета цветов, стояли кофейник, масло, крошечные круглые булочки, ветчина, мед, варенье, графин с жидкостью необыкновенно приятного вида, окруженный тяжелыми серебряными рюмками. «Нет, право, она славная женщина... Вот только то желтое платье с розами, ах, ты, Боже мой! — подумал мосье Изабе, по указаниям которого со слепой и восторженной покорностью одевались самые красивые женщины Парижа. — И вот этого фарфорового мопса надо сейчас же разбить, а кусочки выкинуть куда-нибудь подальше», — Он даже вздохнул при мысли, что могут существовать люди, которым нравятся такие вещи.

Мосье Изабе выпил чашку кофе, съел булочку с маслом и ветчиной, съел булочку с маслом и медом, попробовал, что было в графине, — оказалось, недурное токайское вино, — и, налив себе вторую чашку (кофе было очень крепкое и вкусное), в самом лучшем настроении духа подошел к среднему окну комнаты. Из мастерской открывался вид на реку. По мосту, разделенному на четыре прохода для экипажей и пешеходов, катились на Пратер кареты. Лодки плыли по реке. Дети играли на лестницах, криво спускавшихся к самой воде. Улица загибалась слева куда-то в сторону; над неровными домами виднелась вдали готическая стрелка. «Господи, как хорошо!» — подумал мосье Изабе. Из соседней комнаты доносились удары молотка, треск отдираемых досок: лакей открывал ящик с картинами. «Вот, вот главное, — радостно подумал мосье Изабе, вспомнив то, что было в ящике. — Надо работать и работать». От солнца, от свежего ветра, от крепкого кофе он почувствовал необыкновенный прилив энергии и, оторвавшись от окна, тотчас взялся за дело.

Через час все было готово, мопс и пестрые занавесочки удалены, стены задрапированы привезенными из Парижа тканями, картины повешены, мольберты поставлены. К стене мосье Изабе придвинул большой стол и на шелковом покрывале разложил миниатюры. Преобладали табакерки, квадратные, круглые, овальные. Посредине находилась шкатулка с главным сокровищем коллекции: на крышке маленькой круглой табакерки, на крошечной пластинке слоновой кости, обведенной двойным ободком из золота и небольших жемчужин, был написан портрет Римского короля: прелестный ребенок с блестящими глазами. «Да, этого никто другой сделать не мог бы», — с гордостью подумал мосье Изабе.

* Слава Иисусу Христу! (нем.)

— Schön!.. Aber herzig!.. Très choli!.. * — говорила в искреннем восторге фрау Пульвермахер, которую мосье Изабе позвал полюбоваться мастерской, приведенной в надлежащий вид. Она даже забыла обиду от того, что французский гость с худо скрытым отвращением вынес и отдал ей фарфорового мопса и занавесочки, нарочно для него повешенные накануне. Восхищение хозяйки было приятно мосье Изабе, хоть он и был убежден, что, кроме художников, почти никто ничего не понимает и не может понимать в искусстве. Особенно понравилась фрау Пульвермахер головка Римского короля. Ее умиляло и то, что ободок был из жемчужин, наверное, настоящих и дорогих, и то, что на такой крошечной пластинке можно было написать портрет, и то, что этот ребенок, хоть и сын злодея, был внуком ее императора, которого она часто видела на улице, и то, что мосье Изабе писал портрет с натуры во французском дворце, где все, должно быть, так парадно и роскошно. Неожиданно фрау Пульвермахер покраснела и, запинаясь, сказала жильцу, что цена на квартиру будет другая: не четыреста гульденов в месяц, а триста семьдесят пять. Мосье Изабе сначала показалось, будто хозяйка обмолвилась: верно, считает, что продешевила, и хочет взять еще дороже. Но фрау Пульвермахер не обмолвилась: она сделала жильцу скидку в двадцать пять гульденов. «Какая прелесть!.. Это угрызения совести — то самое, чего нет ни у Фуше, ни у Талейрана, — растроганно сказал себе мосье Изабе. — Лучше всех они, простые люди, я всегда так думал...»

Как сей случай верный и не по почте, то и рассудилось мне слово сказать тебе относительно письма твоего под № 2 о женитьбе и касательных до того обстоятельств... Не стоит труда отечество свое вовсе оставлять. Взгляни на твари бессловесные, которые всегда мест своих и лесов держатся, в которых они родились и выросли. Те кольми паче человек, тварь, одаренная разумом и рассудком, должен сего правила держаться. Когда прилежно и хорошенько рассудить, кажется, должно делать остуду всякому горящему любовному пламени, яко слепотою возжигаемому и горящему.

Из письма гетмана Кирилла Разумовского к сыну Андрею

Андрей Кириллович Разумовский, Erzherzog Andreas, как его любовно-иронически называли в Вене за величественную осанку, за строгое соблюдение этикета, за необыкновенно роскошный образ жизни, возвращался домой со своей ежедневной прогулки верхом. Всю главную аллею Пратера он проскакал галопом, и это его утомило. Андрею Кирилловичу было более шестидесяти лет. Он и верхом катался больше по привычке; врачи давно советовали ему бросить верховую езду или уж если ездить, то медленно, на смиренной лошади. Разумовский немного гордился тем, что не очень следует предписаниям врачей.

На нижнем Пратере, подъезжая к реке, он остановился, снял шляпу и поехал шагом. Ездил он по старой Зейдлицевской школе, на шенкелях и коротких поводьях, на длинных стременах, на небольшом седле с огромной раззолоченной попоной. Старый голштинский конь с перевязанным хвостом, закусывая удила и озираясь по сторонам, шел так. точно с минуты на минуту собирался встать на дыбы и сбросить всадника. Прохожие сторонились с восхищением.

Во время прогулки с графом Разумовским случилось небольшое происшествие. К нему подъехал господин на прекрасной английской лошади, любезно с ним побеседовал о погоде, затем протиснулся. Разумовский не мог вспомнить, кто это такой. Он помнил только, что господин этот был король; но, какой именно король, Разумовский решительно не помнил.

* Прекрасно!.. Очень мило!.. Замечательно!.. (нем., испорч. франц.)

Андрей Кириллович знал всех владетельных принцев Европы; теперь в Вену их съехалось много, среди них было немало королей, и все они ежедневно гуляли и катались верхом по Пратеру без свиты, без адъютантов и даже, как им казалось, без полицейской охраны (в действительности тайные агенты австрийской полиции повсюду их сопровождали, но это делалось совершенно незаметно).

Встреченный господин не был ни прусским, ни баварским, ни вюртембергским королем, — их Андрей Кириллович не мог бы не узнать. «Кто бы такой был?.. Может, не король, а великий герцог или принц какой? — спрашивал он себя. — Баденский? Веймарский? Шаумбург-Липпе? Гогенцоллерн-Зигмаринген?.. Да нет же... Слава Богу, и этих не первый год знаю... Может, Антон Саксонский?.. У него и вид был словно в загоне, — думал Андрей Кириллович (саксонцы как недавние союзники Наполеона были не в чести у руководителей конгресса). — Нет, я верно помню, что король...»

Разумовский с улыбкой вспоминал это странное происшествие: говорил он с господином так, как говорил бы с королем, но титулования тщательно избегал, скороговоркой вставляя в свои фразы что-то немного похуже на титул. Король прекрасно говорил по-французски, с легким иностранным акцентом, — это приметой служить не могло. «Так они все говорят... Презабавно, — думал Андрей Кириллович. — А лицо знакомое, точно... Совсем стал терять память!.. Батюшка до восьмидесяти был головою свеж... Не нам чета...»

По мосту, носившему его имя, Разумовский выехал на улицу, тоже носившую его имя, и за поворотом издалека увидел свой дворец. Вид величественного здания всегда доставлял Андрею Кирилловичу наслаждение. Теперь к этому примешивалась боль: Разумовский решил подарить свой дворец для посольства государю. Слухи об его намерении уже ходили по городу и вызывали много толков. Близким людям было известно, что дела графа далеко не блестящи и никак не позволяют ему делать подарки стоимостью в два миллиона. Одни — недоброжелатели — объясняли намерение Разумовского тонким дипломатическим расчетом: государь скорее всего откажется от подарка, а если примет, то, конечно, предложит Андрею Кирилловичу на вечные времена должность посла при императоре Франце: не выгонять же человека из им же подаренного дома. Все знали, что Разумовский обожает Вену, свyks с ней за двадцать пять лет, был женат на одной австрийской графине, теперь скоро женится на другой и больше всего на свете боится, как бы его не заставили куда-нибудь уехать. Другие говорили, что Разумовский никакого тонкого расчета не имеет, а просто он Erzherzog Andreas, которому от природы свойственно поражать людей необыкновенными поступками: так он в свое время скупил и снес двадцать семь домов для постройки дворца, хоть был в долгу, как в шелку; так он выстроил на свой счет каменный мост через реку в целях разумной экономии: чтобы не тратить на дальний объезд времени и, следовательно, денег. При этом старые друзья с улыбкой вспоминали, что говорил он на своем живописном народном языке покойный гетман Кирилл Григорьевич о разных экономических проектах любимого сына.

На площади перед дворцом (она тоже носила имя Разумовского) стояло несколько экипажей. Кучера и лакеи срывали с себя шапки. Андрей Кириллович, кивая благосклонно головой, вглядывался в гербы на крестах и соображал, кому они принадлежат. «Уже гости?.. Что-то нынче рано», — подумал он без оживления. Не остановившись у главного подъезда, Разумовский проехал к манежу, который теперь был переделан в залу для больших приемов; здесь должен был состояться обед на триста шестьдесят персон.

Управляющий, толстый осанистый человек, распорядившийся работой в манеже, увидев графа, взволнованно хлопнул два раза в ладоши и, сняв высокую шляпу, быстро, коротенькими шагами вышел навстречу. Подбегавшие слуги уже помогали Андрею Кирилловичу сойти с лошади. Он потрепал ее по шее, взошел на крыльцо, скрывая одышку, и заглянул в манеж. Там все было отлично.

— Наденьте шляпу, холодно, — сказал усталым голосом Андрей Кириллович.

Управляющий доложил о приготовлениях к обеду: курьер, посланный

во Францию за трюфелями, виноградом и устрицами, только что вернулся. Стерлядь с Волги, наверное, привезут завтра. Ананасы и вишни привезены, такие, что лучше нельзя желать. Разумовский не без удовольствия слушал управляющего: он очень любил венский диалект. Но устрицы, стерлядь и вишни мало его интересовали. Андрей Кириллович и в былые времена не был гастрономом. Неожиданно он поймал себя на мысли, что ему совершенно все равно, как сойдет обед. «Можно полагать, сойдет хорошо... В тысячу первый раз... Ну, и слава Богу,—равнодушно подумал он.—А сердце вправду пошаливает изрядно... Ведь уж минуты три, как сошел с лошади»...

— Только вишни обошлись в Петербурге дорого, Ваше Превосходительство, по рублю штука, значит, по нынешнему курсу немного больше флорина, — говорил озабоченно управляющий. — Такой сезон... Ничего не поделаешь...

— Da kann man nich machen *, — рассеянно повторил Разумовский.

— А вот масло, Ваше Превосходительство, придется взять местное: датского ни в одном магазине сейчас нет...

«Господи!.. Ну да, это был датский король! Естественно! — с облегчением вспомнил Андрей Кириллович. — Как же я его не узнал, се cher Frédéric **?. Правда, очень давно не видались, а все же...»

— Ничего не поделаешь, — опять сказал он шутливо. — Возьмем венское... Больше ничего?

— Ничего, Ваше Превосходительство... Еще разрешите доложить, приходил господин капельмейстер ван-Бетховен и велел сказать Вашему Превосходительству, что не может быть завтра во дворце.

— Как не может быть? Почему? — воскликнул Разумовский.

— Господин капельмейстер не сказал, по какой причине, — с почти улыбкой ответил управляющий. — Ваше Превосходительство изволите знать господина ван-Бетховена.

— Да это невозможно! Совершенно невозможно! — расстроено сказал Разумовский. — Может быть, он обиделся за что?

— Не могу знать, Ваше Превосходительство.

— Я сейчас напишу ему письмо, — сказал, подумав, Андрей Кириллович. — Не знаете ли вы, кто здесь?

Управляющий назвал имена гостей. Обязанность хозяйки дома у Андрея Кирилловича выполняла совместно со своей сестрой графиня Тюргейм, уже неофициально считавшаяся его невестой. Однако независимо от этого боготворившие Разумовского венские дамы постоянно посещали его гостеприимный дом и после смерти первой жены графа. Для него допускались отступления от правил: он сам создавал правила.

Услышав имена, Разумовский слегка поморщился: гости — и мужчины, и дамы — были приятные, но среди них находились две дамы одного ранга. Это значило, что придется все время стоять. По этикету, принятому в ту пору в Вене, всякая графиня должна была уступать место входящей в гостию княгине, которая вставала перед княгиней, старшей по времени пожалования титула. Княгини уступали место обер-гофмейстеринам. Если же высшие дамы в салоне были одинакового ранга, то ни одна не садилась и все общество простаивало на ногах целый вечер. Прежде самые неудобные формальности этикета представлялись Разумовскому вполне разумными и необходимыми. Теперь обычай этот показался ему крайне странным. «И многое у них такое же, ежели правду сказать...» — Андрей Кириллович с легким раздражением вспомнил, что австрийский император подавал руку лишь тем из своих подданных, которые были министрами, высшими чинами двора или имели титул не ниже графского. Разумовский не раз видел, как на приемах император Франц улыбкой и наклоном головы здоровался с заслуженными генералами и тут же при них протягивал руку молодым титулованным офицерам. «Из разных альтернатив надо брать лучший: у нас умнее и приятнее, а пышности, пожалуй, не столь уж и менее, — подумал Андрей Кириллович. — И недоразумения между рода и чина не могут быть... Что такое титул? Покойный дядя был во времени, вот у нас и титул»...

* Ничего не поделаешь (нем. диалект)

** этого милого Фредерика (франц.)

В сопровождении управляющего, который продолжал сообщать раз-ные подробности о предстоящем обеде, Разумовский через сад направил-ся к боковому внутреннему подъезду дворца. Уже темнело. Красные ли-стья падали с деревьев. У фонтана Андрей Кириллович остановился пере-дохнуть. Отсюда в полутьме дворец был еще прекраснее. «Да, жаль все это навсегда покинуть», — подумал он неопределенно, не то имея в виду свой подарок, не то другое навсегда.

— ...А по углам, Ваше Превосходительство, будут, как вы приказыва-ли, щиты с обозначением побед союзных войск...

Во дворце вспыхнул и побежал по фитильку огонек. Сразу осветились окна двух главных гостиных, картинной галереи. При всей своей любви к старинному укладу жизни Андрей Кириллович не отказывался от полез-ных новшеств: так, и отопление у него было новое, водяное, по трубам, проходившим под полом, — такое недавно устроили и в некоторых залах Бурга. «Значит, в зале Кановы никого нет, туда и пройду», — подумал Ра-зумовский, поднимаясь по засыпанным листьями ступеням. Он отпустил управляющего.

Француз-камердинер встретил графа на лестнице внутренних покоев. Андрей Кириллович приказал приготовить жабо с брабантскими кружева-ми, белый муслиновый галстук и сюртук *agaîgnée méditant un crime**. «Как это глупо: *agaîgnée méditant un crime!*» — подумал он, удивляясь тому, что он серьезно произнес, а лакей серьезно выслушал такое название.

В белой зале, сплошь заставленной статуями Кановы, зажглись але-бастровые лампы. Одна из них заливала белым светом Флору. Против этой статуи стояло небольшое бюро: Андрей Кириллович любил работать в га-лерее. «Еще не поздно», — подумал он, взглянув на часы, сел за стол и стал писать: «*Mein lieber Beethoven...*»**. Написав несколько строк, Разумовский задумался. Он чувствовал все большую усталость, сердцебиение не прекращалось. «Или вправду бросить верховую езду?.. Хорош жених!.. Покойный папа любил повторять из Сираха: «Юн бех и со-старехся, ин тя поешет и ведет тебя, амо же не хоцещи»... Да, именно, амо же не хоцещи. Касательно конгресса тоже нехорошо... Нессельрод все делает»... Разумовский был первым русским уполномоченным на конгрес-се, но почти не принимал участия в работах. «Может, потому и взяли, что надо было хоть одного русского: остальные — Нессельрод, Штакельберг, Поццо ди-Борго, Каподистрия и Аншетт... Вместе называются «русская де-легация на конгрессе», — с легкой иронией думал Андрей Кириллович, хоть он ровно ничего не имел против инородцев и иностранцев. — Да, хорошего не видно... Собственно, все миновало... Успехи, впрочем, веселости не до-ставляли и прежде... Сплетни, клевета, злоба, зависть, *voilà le revers d'une médiocre médaille...**** Дела тоже сумнительны... Вот и Хороше-во продано после стольких других маетностей... Теперь остался один Ба-турин, да и он заложен... У меня нет денег, и у Бетховена нет, — с пе-чальной усмешкой думал Разумовский. — Только он обеда на триста шесть-десят персон не дает, ему заплатить сапожнику не из чего. А за него по-настоящему можно отдать всю Вену»... Андрей Кириллович прочитал за-писку, добавил еще несколько любезных слов и запечатал.

*Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux****.*

Паскаль

— ...Господа, еще секунда, и вы будете свободны, сеанс кончается, уже недостаточно светло, — сладким голосом говорил мосье Изабе, стоя с кистью в руке вполборота у мольберта и беспрестанно переводя с залы на полотно зоркий, слегка прищуренный взгляд. — Милорд, немного понижe голову... Благодарю вас... Князь, ваша улыбка очаровательна, но, вы

* пауk, замышляющий преступление (франц.)

** Мой дорогой Бетховен... (нем.)

*** вот оборотная сторона медали ничтожества... (франц.)

**** Какая суетность, что живопись вызывает восхищение сходством с нату-рой, когда оригинал вовсе восхищения не вызывает (франц.)

знаете, я желал бы изобразить конгресс торжественным и серьезным, как подобает такому высокому собранию... Предположите на секунду, что император Наполеон вернулся с острова Эльбы... Вот так, теперь чудесно...

Делегаты смеялись, мосье Изабе и здесь был общим любимцем.

— Еще одна минута, господа, только одна минута, я знаю, как дорого ваше время... А сегодня вдобавок эти наши живые картины во дворце... Не беспокойтесь, господа, вы не опоздаете, ведь руководство постановкой лежит на мне. До начала спектакля еще не менее трех часов, времени у вас хватит даже для того, чтобы разрешить польский вопрос... Господин председатель конгресса, удостойте взглядом вашего покорного слугу... Благодарю... Так... Господа, поздравляю вас, вы свободны: сегодняшний сеанс окончен.

— Кончен? Ну, вот и отлично...

— Да, вы нас продержали...

— Зато очень подвинулось...

— Какой талант!.. Как он метко вас схватил!

— Разве? Вот вы, по-моему, вышли прекрасно!

— Когда же будет готово?

— Господа, поздно...

— Обедать... Едем...

Конгресс пришел в движение. Талейран встал и потянулся. Меттерних, улыбаясь, поднял с пола свой портфель. Гарденберг надел меховой плащ, небрежно повешенный на спинку стула. Каспри взял брошенную трость. Мосье Изабе, которому надоело местничество делегатов, придал своей композиции непринужденный характер. Председательское кресло оставалось незанятым: на картине не должно было быть центра. Настоящая работа шла в мастерской мосье Изабе на отдельных сеансах. Здесь он был занят общим планом картины.

Делегаты, оживленно переговариваясь, выходили из залы или, любясь полотном, говорили комплименты художнику. Мосье Изабе учтиво благодарил, с необыкновенным вниманием выслушивал замечания и неизменно со всеми соглашался. При этом вид у него был такой, точно указание казалось ему гениальным. Однако тех делегатов, которые, прощаясь, говорили ему «дорогой Изабе», он таким же покровительственным тоном называл просто по фамилии, не обращая никакого внимания на оскорбленно-изумленное выражение, выступавшее на лице делегата.

Задернув покрывало над полотном, мосье Изабе вышел в соседнюю комнату, где для него был приготовлен рукомойник. Лакей презрительно сливал воду на руки живописца. Мосье Изабе поговорил на ломаном немецком языке с лакеем и ему тоже сказал какую-то любезность. Он это делал по убеждению, признавая совершенную необходимость комплиментов в обращении с людьми. Мосье Изабе не в сознании, а где-то на дне души едва ли не считал всех людей душевнобольными.

Закончив разговор с соседями о вчерашнем спектакле в Бургтеатре, Разумовский вышел из залы конгресса. В вестибюле, у лестницы, он увидел мосье Изабе: с художником стоял один из второстепенных делегатов.

— Да, Ваше Превосходительство, к великому своему огорчению, я должен был отвести вам место не за столом, а позади стола, — нежным голосом говорил Изабе. — Но, во-первых, только чуть-чуть позади... Чуть-чуть!.. А во-вторых, я знаю, для вас — и, быть может, для вас одного — это никакого значения не имеет. Vous avez l'âme trop haute. Votre Excellence, pour attacher la moindre importance à ces mesquines questions de préséance*.

— Разумеется, для меня лично это никакого значения не имеет и иметь не может, — мрачно ответил делегат. — Но я здесь представляю свою державу, и, признаюсь, меня несколько удивило то место, которое вы, дорогой мосье Изабе, отвели мне на картине, имеющей официальный характер.

Изабе кротко вздохнул.

— Зато вы поставлены вровень с портретом императора Франца. Оценили ли вы это, Ваше Превосходительство?.. — сказал он с силой в го-

* Вы слишком великодушны, Ваше Превосходительство, чтобы придавать хоть самое малое значение этим незначительным вопросам субординации (Франц.)

лосе, видимо, обрадовавшись новому доводу. — Я хотел этим оттенить и значение вашей державы, и то особое место, которое лично вы заняли на конгрессе, благодаря вашему уму и дарованиям... Обратите внимание, Ваше Превосходительство, еще и на то, что вы представлены en face, а не в профиль. Это тоже очень существенно, — говорил мосье Изабе, улыбаясь подходившему к ним Разумовскому. — Знаете ли вы, что, если герцог Веллингтон придет на конгресс, я должен буду его изобразить сбоку, на самом краю картины, и в профиль. Да, самого герцога Веллингтона! Ибо другого места нет.

— О чем, смею ли узнать, спор? — спросил Разумовский.

— О, никакого спора, — поспешно ответил дипломат. — Я высказываю мосье Изабе свое восхищение: композиция его картины задумана так искусно.

Он кисло улыбнулся и отошел. Мосье Изабе сокрушенно посмотрел на Разумовского.

— Что? Недоволен местом? — спросил Андрей Кириллович.

— Сил моих больше нет! — ответил Изабе, поднимая руки. — Все заделы, все обижены, все недовольны... Кроме вас, граф, — любезно добавил он. — Что же будет, если в самом деле придет Веллингтон?

— Вы, вправду, его поместите с краю? — недоверчиво спросил Разумовский.

— Куда же мне его деть?.. Может, Бог даст, это только слухи и он не придет. Нельзя же в последнюю минуту все менять. Пусть стоит в профиль, с краю у двери, будто только что вошел... Но я знаю, что ему сказать. Я скажу ему, что в профиль он похож на короля Генриха IV...

— По-моему, никакого сходства.

— По-моему, тоже.

— Ни по лицу, ни по уму.

— Этого я не смею говорить о столь высокопоставленном человеке. Но спорить с вами я тоже не смею... Pour ne pas donner un démenti à Votre Excellence *, — почтительно сказал мосье Изабе.

Очень довольные друг другом, они направились к выходу. Швейцар без булавы подал шубы, швейцар с булавой открыл настежь дверь. По Ballplatz отъезжали последние кареты. Впереди бежали скороходы в странных костюмах, в шляпах с перьями; в руках у скороходов были факелы, хоть еще и не стемнело.

— Что же вы, граф, не скажете мне ничего о моей картине? — лукаво спросил на улице мосье Изабе. — Пойдем пешком, правда?.. Вам она не нравится?

— Очень нравится, напротив, — ответил Разумовский. — И я рад тому, что вы пишете картину. Вы знаете, как я люблю и ценю ваш огромный талант, но не лежит у меня душа к миниатюре. По-моему, у миниатюристов вырабатывается особое отношение к жизни: они все себе представляют в малом виде, а потому видят малое во всем. У миниатюры нет душистого.

— А по-моему, самое высшее искусство именно миниатюра. Потому что... Впрочем, не знаю, как объяснить... Искусство не должно быть слитным... Вот вы боготворите Канову! Что и говорить, талантливый человек, его искусство очень нарядно... По-вашему, у Кановы есть будущее? Я думаю, никакого. Голый огромный Наполеон со статуей свободы в руке у меня ничего, кроме смеха, не вызывает. Я раз двадцать писал Наполеона на табакерках. Очень может быть, это и не Бог знает что такое. Но, по совести, «Наполеон» Кановы ни одной моей табакерки не стоит...

— Да разве ваши миниатюры не нарядны? — разводя руками, возразил Разумовский; он обиделся за Канову.

— Нарядны, но в меру... Они, прежде всего, верны. Если аккуратность — вежливость королей, точность мельчайших деталей картины, — по-моему, вежливость художника. Меня бранят за внимание к мелочам, — разве в картине есть мелочи! Задача искусства выписывать и оживлять, а одно невозможно без другого. Из искусства надо выжать воду. Сухость — недостаток в чем угодно, но только, пожалуй, не в живописи. Будущее принадлежит тому искусству, которое удачно загримируется под безделушку.

* Чтобы не опровергать Ваше Превосходительство (франц.)

Нарядность? Да, конечно, без нее не обойтись. Искусство всегда немного наряднее, чем жизнь, иначе оно было бы невыносимо... Впрочем, Наполеон моих последних табакерок почти и не наряден: усталый, пожилой человек, все взывший от жизни.

— Это оттого, дорогой мосье Изабе, что вы предвидели падение империи, — сказал с усмешкой Разумовский. — Когда вы писали корсиканца, вы, наверное, уже предчувствовали, что через год будете писать нас... Я слышу, конечно, — поспешил добавить он.

— Заметьте еще, дорогой граф, — сказал мосье Изабе, — что до корсиканца, который, кстати сказать, был умнее всех жителей Бурга, вместе взятых, да еще с Ballplatz на придачу, до корсиканца я писал разных революционеров. Среди них тоже попадались хорошие люди. А до революционеров я писал несчастную королеву Марию-Антуанетту. Она была прелестная женщина. Политические деятели для того и живут, чтоб резать друг друга, я в этом не виноват. Мое дело — писать возможно лучше — и только. Едва ли потомство будет особенно интересоваться моими политическими взглядами, не правда ли?

— Надеюсь, вы на меня не обиделись? — спросил Разумовский. — Уж нам-то, профессиональным политикам, хвастать нечем... Кстати, слышали ли вы о последнем выступлении вашего друга князя Талейрана? Он предлагает конгрессу 21 января, в день казни короля Людовика XVI, отслужить торжественную панихиду в соборе святого Стефана... Даю вам слово!.. Должен сказать, мы все видали виды, но когда этот человек, бывший закоренелый революционер, друг и товарищ всех цареубийц Конвента, внес свое предложение, в зале наступило гробовое молчание, все мы опустили глаза, как институтки... Разумеется, предложение было принято.

— Как же, я знаю. Мне поручено выработать церемониал 21 января... Все это не мешает Талейрану быть самым очаровательным человеком на свете, — ответил мосье Изабе. — Он предаст лучшего друга, но предаст так, что прямо картину с него пиши... Вы тоже во дворец, граф? Я тороплюсь на репетицию. Так и проходит моя жизнь, — со вздохом сказал он, — с одной пантомимы на другую.

— Это старо, дорогой мосье Изабе... Что вы сегодня ставите?

— Мы ставим «Олимп». Богов я подобрал на славу, но Венеру не решилась играть ни одна из дам: то ли из скромности, то ли из боязни насмешек... Я придумал выход: Венера будет стоять спиной к публике. Мне удалось без труда найти даму, которая сзади очень похожа на Венеру. Это фрейлина, мадемуазель Виллем. После пантомимы будет романс в лицах, музыка королевы Гортензии... А вы зачем так рано во дворец?

— Я должен представить царю и царице одного очень несчастного человека, композитора Бетховена. На днях будет его концерт... Надо собрать для бедняги денег. К несчастью, император Франц очень его не жалуется... Прусский король пришлет за билет десять дукатов, я его знаю. Другие — дай Бог, чтобы хоть приняли билеты. Вся надежда на царя... Беда в том, что им будет трудно разговаривать, — сказал озабоченно Разумовский. — Император Александр, как вы знаете, довольно плохо слышит. А мой протеже просто глух.

— Композитор? — удивленно спросил мосье Изабе.

— Да. Послал же Господь такое несчастье! — со вздохом сказал Разумовский.

— Это ужасно! — ответил, закрыв глаза, мосье Изабе. — Бедный человек!.. Вот что, граф, я не император и не король, но я сделаю, что могу: скажите этому... Как вы его назвали?.. Скажите ему, чтобы он послал билет и мне, по-товарищески, просто, как артист артисту... Он хороший композитор?

— Спасибо, — ласково сказал Разумовский. Он был тронут. — Хороший ли композитор? Сказать «превосходный», «удивительный» — значит сказать глупость. Я вам отвечу так: он мой последний шанс на бессмертие. Если через сто лет люди будут иногда обо мне вспоминать, то разве только потому, что этот человек посвятил мне две свои симфонии.

Мосье Изабе посмотрел на Разумовского.

— Вот как? — сказал он с легкой грустью. — Очень интересно... *Sehr fidel, sehr fidel**, — добавил он, помолчав. Мосье Изабе знал,

* очень весело, очень весело (нем.)

что слово «*fidel*» * употребляется у немцев не в таком смысле, как по-французски, и пользовался им наудачу, с видимым удовольствием.

— Опять *fidel*! Вы злоупотребляете, дорогой мосье Изабе, — смеясь сказал Разумовский. — Вроде как лорд Каслри словом *features*... ** Вы заметили, он ни одной фразы не может сказать без *features*...

Я познакомился в Теплице с Бетховеном. Его талант поразил меня. К несчастью, это совершенно необузданный человек. Он не вполне неправ, считая мир отвратительным. Но он мира не сделает менее несносным ни для себя, ни для других.

Из письма Гете

Режиссера пантомимы «Олимп» звали Омер, — только очень мрачный человек не использовал бы этого для каламбура. Сияя от радости, мосье Изабе поговорил с Омером и поздравил его с блестящим успехом живых картин: пантомима сошла превосходно. Артисты-любители обожали художника: он всегда всех оживлял своим весельем, всем говорил только приятное, и даже его критические замечания никогда не задевали, — так он их подавал. Мосье Изабе горячо поблагодарил участников пантомимы, а одну молоденькую барышню, которая особенно ему нравилась (ему нравились почти все), тут же расцеловал, сославшись на свой возраст, что вызвало общие протесты.

Из зала доносились звуки марша. Антракт перед романсами в лицах был короткий. Быстро переменили декорацию. При спущенном занавесе влюбленная пара, осторожно ступая на цыпочках, вышла на сцену и в последний раз под руководством мосье Изабе прорепетировала действие. Он сам вполголоса напевал мелодию романса: и мелодия эта, и вид влюбленных доставляли искреннее удовольствие мосье Изабе.

Послышался звонок. «Только не волнуйтесь... Ради Бога, не волнуйтесь!» — страшным шепотом сказал режиссер. Лица влюбленных побледнели. Мосье Изабе укоризненно посмотрел на Омера, подивившись в опытного человеке такому непониманию человеческой природы. Он засмеялся, потрепал по плечу влюбленного и сказал влюбленной, что она никогда не была так хороша.

— Как я ему завидую!.. Нет, как я ему завидую, этому юному князьку! — сказал он весело и удалился за кулисы на свой наблюдательный пост сбоку.

Занавес поднялся. Музыка заиграла романс. Влюбленные взяли за руки. Мосье Изабе почувствовал, что все опять пойдет прекрасно.

Его роль кончилась. «Надо бы посмотреть, как выходить из зала, — подумал он и ушел с наблюдательного поста. — Кажется, сюда, а оттуда выйду коридором...» Мосье Изабе еще плохо разбирался в бесчисленных залах Бурга. Он спустился по лесенке, прошел по одному коридору, куда-то свернул по другому и очутился в красном раззолоченном салоне, где, к его огорчению, играли в карты люди, очевидно, не интересовавшиеся ни живыми картинами, ни романсами в лицах. На вечерах императрицы во дворце была полная свобода. У одного из столиков спиной к мосье Изабе стояли, следя за партией, несколько человек зрителей: за этим столом играл князь Талейран, лучший игрок в вист Европы. Мосье Изабе, приятно улыбаясь, обогнул стол. Перед ним мелькнуло мертвенно-бледное, бесстрастное, безжизненное лицо. Он вздрогнул: за столиком Максимилиан Робеспьер играл в карты с немецкими принцами. Жуткое сходство это всегда поражало художника: в далекие дни революции молодым человеком мосье Изабе не раз видал вблизи Робеспьера.

Звуки музыки приближались. Мосье Изабе вышел, наконец, в тот ряд зала, по которому после романсов должен был пройти полонез, с русским царем и австрийской императрицей в первой паре. Программа бала разрабатывалась также при участии мосье Изабе. Романс подходил к кон-

* по-французски «*fidel*» значит «верный» (прим. ред.)

** характерные черты (англ.)

цу. «Уж не поспею... Да, может, лучше и не входить, еще будут, пожалуй, мне аплодировать», — скромно подумал мосье Изабе.

В малом зале дама в голубом платье (модный зеленый цвет только что уступил место пришедшему из Парижа голубому) продавала билеты с благотворительной целью: в пользу невольников, угнетаемых мусульманами. Мосье Изабе знал эту даму, дочь английского адмирала. Он подошел к столу, взял билет и положил в шкатулку столько, сколько полагалось по его достатку, или разве несколько больше: мосье Изабе был очень добр и щедр; и невольников ему было жаль, и англичанка была славенькая. В шкатулке лежали груды золота и ассигнаций. Мосье Изабе еще за кулисами слышал, что оба императора дали по тысяче дукатов. Любезно улыбаясь, он поболтал с дамой, которая беспокойно следила за его взглядом: мосье Изабе, гордившийся своей репутацией законодателя моды, понимал, что англичанку очень интересуется его мнение об ее туалете. Он немного помучил ее ожиданием, а затем сказал, что она одета, как богиня. Англичанка зарделась от радости.

Раздались аплодисменты. Лакей, стоявший у входа в зал, открыл дверь, и тотчас из нее выскочил человек в темном платье, резко выделявшийся среди гостей своим видом. Он растерянно остановился; со злобой взглянул на стол с золотом, на англичанку, на лакея и быстро пошел дальше. В дверях зала показался граф Разумовский. «Да куда же вы? Что же это, наконец, такое?» — по-немецки укоризненным тоном сказал он, нагоняя вышедшего первым гостя. Мосье Изабе догадался, что это и есть тот немецкий музыкант, о котором говорил ему Разумовский.

Это был человек невысокого роста, с рябым мрачным лицом. Одет он был очень бедно и небрежно, в старомодный потертый сюртук, с криво повязанным красным галстуком. «Какой некрасивый человек», — с сожалением подумал мосье Изабе, сразу охвативший своим безошибочным взглядом все, вплоть до плохо подстриженных à la Titus черных густых волос, вплоть до коротких пальцев рук. «Надо бы написать его портрет, — решил он неожиданно. — Кажется, ему не очень нравится музыка королевы Гортензии». В зале гремели рукоплескания. «Большой успех, все отлично!..» Мосье Изабе направился в зал. У двери он снова оглянулся и встретился взглядом с немецким музыкантом. Глаза музыканта, черные, необыкновенно блестящие, лежали в глубоких впадинах под резко сдвинутыми бровями. Лицо его было искажено злобой и страданием. Разумовский с умоляющим выражением что-то ему говорил. «Да, конечно, изумительное лицо!» — подумал мосье Изабе.

Пожар заметили только ночью. Разумовского не было дома: с Рождеством оживление на конгрессе достигло предела; никто не ложился спать до утра, люди с одного праздника отправлялись на другой. Ошалевшие верховые, посланные ошалевшим управляющим, нелегко разыскали Андрея Кирилловича. Когда его коляска во всю прыть лошадей поднеслась ко дворцу, главный корпус уже был весь в огне. Именно в этом корпусе находилась картинная галерея, зала Кановы, знаменитая на весь мир библиотека. Зарево было видно с другого конца города.

На площади перед горевшим дворцом было смятение. С боковой улицы быстрым шагом подходил отряд пехоты. Верховые куда-то скакали с факелами, громко трубя. Огромная бочка, запряженная парой лошадей, пронеслась по площади и карьером влетела в раскрытые ворота сада. В общем гуле выделился звон разбитого стекла. На мгновение дворец исчез в густых облаках черного дыма, затем пламя снова прорвалось, осветив всю площадь страшным темно-красным светом.

Кучер Андрея Кирилловича, вскрикивая и ахая, едва сдерживал ржавших лошадей. Разумовский привстал в коляске, хотел что-то сказать, сел и встал снова. Стоявший посредине площади управляющий отчаянно замахал руками и бросился к коляске графа. Огненная головня взлетела над крышей, упала около экипажа и зашипела в растоптанном снегу. Лошади шархнулись в сторону. Разумовский, сходящий с подножки, едва не упал. Управляющий поддержал графа и бессмысленно закричал на кучера. От трубных звуков, от ржанья лошадей, от несшегося из дворца гу-

ла и треска разговаривать было невозможно. Андрей Кириллович растерянно смотрел то на управляющего, то поверх его меховой шапки на пылавший дворец.

— Ваше Превосходительство!.. Какое несчастье!.. — говорил с рыданьем в голосе управляющий. — Ваше Превосходительство!.. Господи!.. Когда Иоганн прибежал, я выскочил, как сумасшедший... Жена тоже... Я кричу: пошлите сию минуту за Его Превосходительством. Смотрю... Господи!..

Распорядившийся работами обер-брандмейстер, узнав хозяина дворца, тоже подошел, отдал честь и в ответ на немой вопрос графа развел руками, как врач у постели умирающего.

— Тот корпус, может быть, и отстоим, — сказал он, неопределенно показывая вдаль рукою. Вид обер-брандмейстера означал: «Я, разумеется, не скажу вам сразу всей правды, но вы можете постепенно догадываться».

— Главное это!.. Вот это!.. — с отчаянием произнес Разумовский. — Если нельзя спасти здание, спасите...

Голос его оборвался.

— Мы сделаем все, что только будет возможно, — ответил привычным ему сочувственным тоном обер-брандмейстер. — Главные работы ведутся из сада... Там сделан немецкий узел, через него выбрасывают все из окон... Картины...

Андрей Кириллович не сразу отдал себе отчет, что такое немецкий узел и как это в ы б р а с ы в а ю т из окна его картины. Верховой подсказал к обер-брандмейстеру и, низко наклонившись с седла, что-то ему сказал. На лице обер-брандмейстера изобразилась досада. Он быстро отошел, затем побежал к воротам. Андрей Кириллович растерянно посмотрел на управляющего, как бы желая знать, что ему теперь надо делать и о чем спрашивать.

— Где началось?.. Отчего?..

— Отопление, Ваше Превосходительство, это несчастное грубое отопление! — с отчаянием сказал управляющий. — Ведь я вам говорил, Ваше Превосходительство!

Андрей Кириллович не помнил, чтобы управляющий говорил ему об отоплении. Но он понял: пожар произошел от тех проведенных под полами труб, которые он устроил у себя во дворце и которыми щеголял перед венцами как новым словом техники.

— Да... Что же делать? Что же делать? — сказал Разумовский. Увидев опять бочку, въезжавшую в ворота, он решил, что нужно идти в сад. Управляющий побежал рядом с ним. Горящие головни падали, шипя, почти непрерывно.

За воротами, в саду, дорожки были засыпаны осколками стекла, не то от окон, не то от оранжерей, разбитых пожарной командой. «Ну, это ничего, оранжерей, — бодро подумал Андрей Кириллович. — Оранжерей можно будет возобновить». В саду было тише, чем на площади, и, несмотря на безлунную ночь, светло, как днем, от пламени — дым валил в другую сторону, — от багрового зарева на небе, от факелов пожарных. Вблизи главной двери дворца, на клумбах, стояли насосы; возле них работали люди в странных костюмах, в блузах с капюшонами, в шлемах. Три тонкие, узкие струи с силой, почти вертикально, били вверх, заливая верхний этаж и главную лестницу; резная дверь валялась в снегу, расколота на куски. Андрей Кириллович внимательно, со страстной надеждой следил за струями. Он хотел было сказать, чтобы хоть одну струю пустили на бельэтаж, но раздумал, не чувствуя в себе силы отдавать распоряжения. «Им виднее... Это опытные, прекрасные работники»...

Слева, где пожар свирепствовал с меньшей силой, Разумовский увидел то, что обер-брандмейстер называл немецким узлом: через парусиновую трубу, спущенную из окна и привязанную другим концом к оглобле тележки, пожарные, работавшие во дворце, выбрасывали вещи. Тени людей со шлемами то и дело появлялись у этого окна. «Какие люди! Молодцы какие!» — с восторженной благодарностью подумал Андрей Кириллович. Парусиновая труба погнулась в середине и выпрямилась, что-то тяжелое скользнуло, упало и треснуло. Разумовский ахнул и бросился к тележке. В грязном, тающем от жара снегу лежали в расколотых рамах картины,

продранные, обуглившиеся, наполовину сгоревшие. «Господи! И Тицианы!»—тихо сказал Андрей Кириллович. Он опять схватился за голову, отошел к скамейке и бессильно на нее опустился. «Точно издевка!—подумал он.— Вся жизнь пошла прахом...»

Через раскрябтые ворота в сад внеслась пара лошадей, запряженная в повозку странной формы. Пожарные соскочили, что-то потянули, что-то подняли, и повозка превратилась в огромную лестницу, заканчивающуюся двумя красиво изогнутыми крючками. Ее мгновенно прислонили к балкону, зацепив крючками за перила. Один из пожарных подпрыгнул, уцепился за ступеньку и повис, пробуя крепость перил. Лестница устояла. По ней вверх быстро и ловко поползли, низко наклонившись, один за другим люди в шлемах. «Как это все ладно, молодцы! Надо будет их наградить»,—сказал себе Андрей Кириллович и подумал, что он теперь едва ли не окончательно разорен: не было цены дворцу и сокровищам искусства, которые он собирал всю жизнь. Разумовский и забыл, что хотел подарить свой дворец государю. «Что ж делать? Что ж делать? Я не виноват,—бессмысленно твердил он.— Как-нибудь буду жить дале... Люди не оставят... Государь поможет... В гостиницу, что ли, переехать?.. Но в «Zum Römischen Kaiser» теперь и конуры не найти»... Он знал, что об уходе отсюда сейчас не могло быть речи, хоть помощи от него не было никакой. Но ему захотелось в постель. Он чувствовал большую усталость и весь трясся мелкой дрожью. «Диво будет, если не простужусь... А это что же такое?» От большой бочки у бокового корпуса шли две цепи людей: одни передавали из рук в руки полные ведра, другие возвращали пустые. «Откуда эти?.. Кто они?..»—Андрей Кириллович вспомнил, что все венские артели каменщиков и плотников обязаны по закону являться на пожар. «Да, хорошо у них налажено... Славные, добрые люди!..» Вдруг он в ужасе замер: сзади донеслось дикое лошадиное ржание. Из конюшни, тоже ярко освещенной, конюхи с большим трудом выводили лошадей с завязанными глазами. «Да, и это славно придумано, что лошадям завязывают глаза... Как догадались!.. Господи, но за что же ветер?.. Значит, зал Кановы тоже погиб!.. И «Флора»!..»

Но дворцу тем временем непрерывно подъезжали экипажи. Известие о пожаре в лучшем венском дворце мгновенно разнеслось по всем балам и праздникам. На подступах к площади стояли патрули и не пропускали экипажи. Разодетые люди с радостно-возбужденными лицами выходили из колясок, с жадным любопытством и ужасом глядели на объятый пламенем дворец, обменивались между собой впечатлениями:

«Какое несчастье для графа!..» «Да, это ужасно...» «Таких сокровищ искусства нет ни в Бурге, ни в Шенбрунне...» «Неужели ничего нельзя спасти?» «Все-таки, как хотите, пожарное дело у нас не на должной высоте...» «Ах, в Париже то же самое, вспомните пожар у Шварценбергов!..» «У нас лестницы с крючками, это наша новинка...» «Да ведь все и случилось из-за французского отопления...» «Мы были на балу у Эстергази, вдруг узнаем...» «А у нас как раз начался ужин...» «Страшное зрелище, но как красиво, правда?» «Ничего красивого, я наглотался дыму...» «Бедный граф! Надо бы ему пожать руку...» «Ах, да, но где же он?..»

Узнав, что граф в саду, многие из приехавших направлялись туда через боковые ворота. Разумовский сидел на скамье и с тупым, как бы безучастным, вниманием следил за огнем, разгоравшимся от ветра все сильнее, несмотря на отчаянные усилия пожарных. Входившие в сад люди колебались, не зная, как надо себя вести в таких случаях,—светское воспитание предвидело все, кроме пожара. Одни издали с почтительной грустью кланялись графу и поспешно ретировались. Другие подходили и молча поздравляли его руку гораздо крепче обычного. Третьи старались его ободрить и говорили—об отоплении, о красоте дворца, о том, что все можно будет со временем отстроить заново. Несмотря на нелепость этих утешений, общее сочувствие немного укрепило Андрея Кирилловича. Соображение к нему вернулось. Кашляя от едкого дыма, он отвечал на слова соболезнования. Он даже подумал, что надо казаться спокойным.

Среди приехавших на пожар был и жосье Изабе. Вид пылавшего дворца поразил его,—он был совершенно потрясен. Лучше, чем кто бы

то ни было другой, он знал, какие сокровища были в этом дворце. Мосье Изабе подошел к Разумовскому и крепко стиснул ему руку.

— *Cher ami!*..* — сказал он, но от волнения не мог докончить фразы: слезы выступили у него на глазах. Андрей Кириллович привстал и обнял художника, — он понял, что у Изабе не простое сочувствие, а истинное горе: для него дело было не в переживаниях Разумовского, а в гибели великих творений искусства.

В ворота влетел на вороном коне флигель-адъютант. Мгновенно по саду разнеслось известие, что приехал император. «Какой император? Император Александр?» — быстро спрашивали одни у других. «Нет, наш император... Верно, император Александр приедет позже... «Я вам говорил, что Его Величество непременно приедет...» «Да, я все-таки не думал... Какая честь для графа!..» «Он ведь всегда был в большой милости...»

Андрей Кириллович поспешной походкой направился к воротам в сопровождении флигель-адъютанта. Разумовский не мог не оценить оказанного ему внимания. Пожарные на мгновение бросили работы и вытянулись. В ворота в сопровождении небольшой свиты уже входил император Франц. Он был в штатском платье, без шубы, — в теплом ватном сюртуке, в цилиндре и в ботфортах. Все почтительно кланялись. Император быстро подошел к еще ускорившему шагу Разумовскому и протянул ему обе руки, — Андрею Кирилловичу показалось даже, что в первую секунду император хотел его обнять, но раздумал: пожар дворца был все-таки недостаточным для этого несчастьем. Разумовский растроганно благодарил. Несмотря на свое волнение, он и благодарность облек в надлежащую французскую фразу. Император отвечал по-немецки.

— *Sehen's das kann mit meinem Rittersaal, der auch mit Röhren g'heizt wird, g'rad so passieren...*

— *Gott behüte, Majestät!* — ответил Разумовский, тотчас переходя на немецкий язык.

— *Das kommt davon, weil wir alles d'n Franzosen nachmachen müssen...***

Андрей Кириллович вздохнул. Император повернулся к дворцу. Пожарные после мгновенного перерыва теперь работали с удвоенной силой. Обер-брандмейстер поднялся по лестнице, приставленной к балкону. О спасении главного корпуса уже не могло быть и речи. С минуты на минуту надо было ждать обвала. Обер-брандмейстер приказал пожарным отступить в боковой корпус.

Мосье Изабе, вытирая слезы, вышел из сада снова на площадь. Прилегающие к площади улицы были запружены народом. Полицейские офицеры не пропускали толпу, делая молчаливую поблажку тем, кто по своему внешнему облику принадлежал к высшим классам. За патрулем, в первом ряду не пропущенных, мосье Изабе узнал немецкого музыканта, которого ему показал граф Разумовский на спектакле у императрицы. Лицо музыканта опять поразило мосье Изабе, еще гораздо больше, чем при первой встрече. «Странная, удивительная голова! — подумал мосье Изабе. Он отошел от полицейской заставы и, встретив знакомого, заговорил с ним о пожаре. Но, разговаривая, мосье Изабе не раз оборачивался и искал глазами немецкого музыканта. Ему пришло в голову, что необыкновенное лицо это надо навсегда сохранить в памяти на случай, если когда-либо понадобится изобразить на полотне мрачное торжествующее вдохновение. — *Ou quelque chose de cette nature*»***, — думал мосье Изабе.

Часть фасадной стены обрушилась со страшным грохотом. Черное, прорезанное красными искрами облако рванулось в сторону, и на мгновение за обрушившейся стеной показалась объятая пламенем огромная галерея. Толпа протяжно ахнула. «*La salle Canova! Bon Dieu de bon*

* Дорогой друг!.. (франц.)

** — Видите ли, это может произойти и с моим рыцарским залом, который тоже обогрывается с помощью труб... (нем.)

— Упаси Господи, Ваше Величество! (нем.)

— Это потому, что мы во всем не можем не подражать французам... (нем.)

*** Или что-нибудь в этом роде (франц.)

Dieu!»* — сказал мосье Изабе. Через минуту дым снова закрыл здание. Затем раздался новый продолжительный чудовищный грохот. Все рухнуло, дворца больше не было.

Perfectio igitur et imperfectio revera modi solummodo cogitandi sunt, nempe notiones, quae fingere solemus ex eo quod ejusdem speciei aut generis individua ad invicem comparamus**.

Спиноза

На это утро была назначена кормежка змей. Владелец странствующего зверинца, кенигсбергский немец, долго скитавшийся по свету, называвший себя траппером (слово это, еще тогда мало известное, придавало ему веса), встал рано, позавтракал и в странном охотничьем костюме вошел в комнату удава. В комнате было душно и жарко: удав любил жару.

Траппер подошел к камере. Она была сделана из очень толстого стекла, с окошком наверху, и окружена железной решеткой, на которой был повешен картон с надписью: «Просят не раздражать удава». Но и надпись эта, и решетка предназначались больше для того, чтобы щекотать нервы публики: траппер знал, что удав смиренный, стекла не разобьет и на людей не бросится. Увидев хозяина, смутно чувствуя день кормежки, удав выполз из-под одеяла. Над толстыми серо-фиолетовыми кольцами в черных квадратных пятнах изогнулась и вытянулась тонкая шея. Разделенная черным ободком голова с маленькими щелками глаз уставилась в сторону окошка.

— Подождешь, — сказал траппер, любуясь змеей.

За калиткой дернули звонок. Торговка принесла кроликов. Она не вошла в садик и, с опаской поглядывая на зверинец, у калитки пожелала трапперу доброго утра. Затем сообщила, что ночью случился страшный пожар, совсем недалеко отсюда: сгорел дворец богатейшего русского эрцгерцога.

— Еще и сейчас догорает... Народу сколько там! — сказала торговка. — Сам император приезжал!.. На площадь и не пропускают. Вот это все с пожара идут люди.

Траппер зевнул, — он всякие видал пожары, — выбрал кролика пожирней, поторговался и заплатил.

— Неужели живьем бросите его змею? — с жалостью глядя кролика, спросила торговка. Она вздохнула. — Каких только зверей нет на свете!

— Кто как любит, — проворчал траппер. — Мы едим мертвечину, они живых. Зато он и ест раз в две недели.

— Господи!

— Может и два месяца не есть, только худеет тогда и огорчается, — сказал траппер, очень любивший своего удава. Держа в левой руке кролика, он вышел за калитку и оглянул проходивших людей, соображая, стоит ли их звать. Преобладало простонародье, но были и приличные люди. Траппер решил, что попробовать можно, и очень громко, нараспев стал звать посетителей. Прохожие останавливались, с любопытством глядя на афишу и на странного человека, насмешливо прислушиваясь к его прусскому акценту. Одни, постояв, проходили дальше, другие старались заглянуть за калитку. Два человека заплатили за вход: первый — солдат, второй — сортом повыше. «Чиновник или учитель», — подумал траппер, любивший определять людей по внешним признакам.

— Очень интересно!.. Страшное зрелище!.. Огромный мексиканский удав, длиной в четыре человеческих роста!.. Ударом хвоста может убить человека!.. Легко душит тигров и буйволов!.. — врал траппер. — Есть змеи,

* Зал Кановы! Черт возьми! (франц.)

** Совершенство и несовершенство на самом деле суть лишь модусы нашей мысли, то есть движения, которые мы измышляем и как единичные факты одного вида или рода сопоставляем с эталоном (лат.)

крокодилы, ягуары... Сейчас кормежка удава!.. Глодает живых кроликов... Страшное зрелище!.. При этом кричит от радости и поет...

Остановившийся у афиши невысокий рябой человек, приложив к уху руку, слушал траппера.

— Поет? — отрывисто спросил он.

— Свистит и кричит, совсем как бы поет, — ответил траппер. Он осмотрел с головы до ног рябого господина, но профессии не определил. решил только, что неважная птица.

— Совсем как бы поет, — еще громче повторил он, заметив, что господин туг на ухо. — В древней Мексике к голосу удава прислушивались... Он считался священным животным... Пожалуйте, господин... Будете довольны...

Рябой человек что-то пробормотал, порывшись в кошельке и, вынув монету, вошел в сад, где с любопытством и робостью осматривались солдат и чиновник. Траппер пренебрежительно оглядел оставшуюся публику, кивнул торговке и закрыл калитку.

— Поет?.. Удав?.. — беспокожно спросил опять невысокий господин.

— Змеи очень музыкальны, — сказал траппер, глядя кролика. — Вот увидите потом индийских змей, они, может быть, музыкальнее нас с вами. Их заклинают игрой на флейте. Они изгибаются, танцуют, дуреют, тогда с ними можно делать что угодно (у господина дернулось лицо)... Только индийские без голоса... Один удав из всех змей кричит. Обыкновенно когда кормят... Ведь для него еда — главное дело... Только все он недоволен, все не то... И хорошо, а все не то... Вот об этом, верно, и поет... Поет, — повторил он и, открыв дверь домика, предложил посетителям войти.

— Нет, уж лучше вы раньше, — сказал, смеясь, чиновник.

Траппер тоже засмеялся. Он спрятал кролика под полу и вошел первый; за ним последовали другие. Они подошли к клетке. Голова удава слегка покачивалась над составленным из колец конусом. «S-sacra-ment!»*, — говорил, ежась, чиновник. «Jesus Maria! Jesus Maria!» — повторял солдат. Невысокий господин с ужасом смотрел на чудовище. Траппер одной рукой подтащил к клетке лесенку и вынул из-под полы дрожавшего кролика.

— Послушайте, — отрывисто сказал господин, схватив траппера за руку: он, видимо, только теперь понял, в чем дело. — Не надо бросать... Я вам заплачу...

Траппер с недоумением посмотрел на рябого человека. Он, впрочем, привык к тому, что люди, особенно дамы, проявляют жалость к кролику в последнюю минуту перед кормежкой змеи.

— Нам с вами надо есть, господин, — ответил он, — и удаву тоже надо есть. Ведь вы, верно, устриц едите: они тоже живые. (Это был его обычный довод, всегда действовавший на жалостливых посетителей.) Как его не кормить? И господам будет обидно, они деньги заплатили...

Из камеры раздался странный протяжный звук — не то крик, не то свист. Удав заметил кролика. Он преобразился. Глаза его заблестели, шея изогнулась, как у лебедя, маленькая голова задрожала. Зрители ахали.

— В самом деле, в этом звуке есть что-то музыкальное... И насмешливое... — сказал с улыбкой чиновник, обращаясь к невысокому господину; он, видимо, знал его в лицо. — По-своему он тоже музыкант.

Высокий господин сердито взглянул на чиновника, что-то невнятно буркнул в ответ и снова перевел глаза на клетку. Траппер взобрался по лесенке, поднял решетку, приоткрыл окошко (запахло мускусом), бросил в камеру кролика и тотчас окошко захлопнул. Невысокий господин вскрикнул. Кролик мягко упал на песок и застыл, встретившись глазами с удавом. Крик змеи повторился. Маленькие глаза блестели все сильнее. Удав медленно откинул назад верхнюю часть корпуса, медленно раскрыл пасть — и вдруг рванулся вперед всем телом, мгновенно развернув огромные страшные кольца. Невысокий господин вскрикнул, закрыл руками дернувшееся лицо и выбежал из домика.

* Черт знает что!.. (франц.)

Müde war ich geworden nur immer
Gemälde zu sehen*.

Гете

Андрей Кириллович Разумовский с женой и невесткой прожил два года в Италии.

На семейном совете, созванном в Вене осенью 1822 года, Разумовский изложил состояние своих дел. Он смущенно прочел что-то вроде небольшого доклада, путаясь и разыскивая на листке цифры доходов, долгов, процентов по долгам. Цифры эти подготовил для князя управляющий. Сам Андрей Кириллович свои дела знал довольно плохо. В былые времена он едва ли мог перечислить по памяти оставшиеся от гетмана многочисленные имения. Теперь почти все было продано, деньги прожиты и от огромного состояния оставались крохи—или то, что казалось крохами Андрею Кирилловичу.

Свой доклад Разумовский читал на французском языке, что тоже было неудобно: слова все были трудно переводимые, как волость, уезд, десятина,— или же глупо звучали по-французски, как «ревизская душа». Андрею Кирилловичу гораздо легче было читать перед императорами и министрами доклады об устройстве Европы,—европейские государственные дела он устраивал гораздо легче и увереннее, чем свои собственные денежные. Вдобавок Разумовский все время испытывал тяжелое чувство: и жена его, и невестка, и все австрийские родные до того считали князя богачом из богачей.

Семья проявила чрезвычайную деликатность, о расстройстве дел говорили в тоне беззаботном, с оттенком веселого удивления, означавшим: вот, мол, какая вышла забавная история, мы стали бедны! — но за этим тоном Андрей Кириллович чувствовал разочарование. Никто и в мыслях не имел упрекать Разумовского; его мучила, однако, совесть: женившись шестидесяти трех лет отроду на молодой австрийской графине, он не имел права быть бедным.

После доклада венские родственники дали Андрею Кирилловичу несколько практических указаний. Один сразу придумал выгоднейшую финансовую операцию и довольно бойко перевел рубли на дукаты, но, как оказалось при проверке, смешал серебряные рубли с ассигнациями. Другой предложил заложить Батурин,—имение было заложено и перезаложено, и о сумме долга по закладной Андрей Кириллович раза четыре говорил в докладе. Третий решительно советовал гнать кредиторов в шею,—это князь делал и без того, правда, лишь фигурально.

Впрочем, прения, расчеты, неуспех предложенных комбинаций очень скоро утомили родственников, и все сошлись на том, что и предлагал с душевной болью Андрей Кириллович: он хотел закрыть свой венский дворец, вновь остроенный после пожара без прежнего великолепия, отпустить прислугу, кроме какого-нибудь десятка самых нужных и преданных слуг, и переехать на жительство в Италию.

Один из молодых Тюргеймов, недавно побывавший в Риме, особенно горячо поддержал этот план и в доказательство итальянской дешевизны привел несколько ресторанных цен. Князь Разумовский слушал с печальной улыбкой: ему впервые в жизни приходилось слышать такие речи, да и дело было, конечно, не в ценах устриц и вин, а в том, что в Италии можно было обойтись без ста человек прислуги, без пятидесяти лошадей на конюшне, без огромных приемов, без всего того, что в Вене по образу жизни, кругу и связям Разумовских представлялось совершенно необходимым.

Когда решение было принято, Андрею Кирилловичу стало легче. Он с нежностью поцеловал руку жене и невестке, как бы благодаря их за то, что они на него не сердятся. Разумовский действительно чувствовал себя виноватым, однако выражение лиц родных чуть-чуть его раздражило именно подчеркнутой деликатностью. У него мелькнула мысль, чт в конце концов уж перед невесткой он едва ли виноват, как и перед другими Тюргеймами, вместе с ним расточавшими несметное богатство гетмана Кирил-

* Я устал все время рассматривать картины (нем.)

ла Григорьевича. Но эта мысль только проскользнула у Разумовского: он очень любил и свою жену и ее родных.

Семья занялась приготовлениями к отъезду. Решено было пожить немного в Вероне, потому что там как раз происходил международный конгресс; в Риме, потому что это был Рим; и в Неаполе, потому что там жил старый приятель, король Фердинанд, при котором Андрей Кириллович состоял посланником больше сорока лет тому назад.

Уезжая из Вены, и Андрей Кириллович, и его жена, и невестка в один голос говорили, что хотя пожить тихо, уединенно, в тесном семейном кругу, никаких гостей не звать и ни к кому в гости не ездить. Однако уже по дороге оказалось, что в тесном семейном кругу скучновато. Они любили друг друга, но разговаривать им было не о чем. В Италии дамам стало веселее. Веронский конгресс гремел, отдаленно напоминая по блеску Венский. Разумовские тотчас вошли в круг международных знакомств и больше из него не выходили во все время своего пребывания в Италии. Настроение Андрея Кирилловича, однако, становилось все печальнее, — зрелищ на его веку было больше, чем достаточно.

На одном из веронских приемов Шатобриан, узнав, что Разумовские собираются в Рим, мрачно сказал Андрею Кирилловичу: «*Comme est une belle chose pour tout oublier, mépriser tout et mourir*»*. Разумовский прекрасно знал, что Шатобриан имеет особые основания быть мрачным: у него не было ни гроша в кармане, его мучила подагра, последние его произведения не имели успеха, в своих интимных делах он очень запутался и сам больше не знал, кого, собственно, любить: госпожу Рекамье, или госпожу де Дюрас, или госпожу Арбутнот (иные даже робко высказывали предположение, уж не любит ли Шатобриан свою жену, — но над ними все смеялись). Тем не менее фраза знаменитого писателя запала в душу Андрею Кирилловичу.

В Риме Разумовский был на *Office des Ténèbres* в Сикстинской капелле и, слушая музыку, все думал о том, что карьера его кончена, что кончается и жизнь, что ждать ему больше нечего. Княжеский титул, полученный им в пору Венского конгресса, был его последним успехом. А пожар дворца отнял у его жизни прежний смысл.

После службы жена и невестка долго и настойчиво говорили о превосходстве католической веры над всеми другими. Андрей Кириллович делал вид, что не слышит: он знал, как страстно желают Тюргеймы обратить его в католичество.

В этот день вечером они были у Ливенов, с которыми в Риме очень подружились. Графиня Ливен после долгих просьб прочла одно из своих писем на синей бумаге, — о них уже тогда много говорили в Европе. В письме шла речь о революции, и графиня уронила афоризм, впрочем, заимствованный у Веллингтона: «*Là où les rois savent monter à cheval et punir, il n'y a pas de révolution possible*»**. Афоризм показался Андрею Кирилловичу глупым (он чувствовал, что и все это письмо написано едва ли не для этого афоризма). «В таком случае берейторы королевские могут отдалить от бедствий мир, — подумал он мрачно. — И ни к чему занимается она без просьбу политикой, все вздор, и синяя бумага — тоже вздор; верно, и глаза у нее не болят, а пишет так, чтоб лучше в разговорах примечалось: письма графини Ливен на синей бумаге». Он хотел было поспорить и припугнуть графиню новой революцией, но не поспорил, чувствуя большую усталость. К тому же графиня Ливен нравилась ему и своим умом, и знаниями, и благородством тона, которое он особенно ценил. Напротив, король Фердинанд, встретивший его тем же радостным смехом, что и сорок лет тому назад, показался ему образцом вульгарности. Андрей Кириллович с любопытством вглядывался в старого знакомого, и ему самому странно было, что он, внук малороссийского пастуха, не выносит дурного тона в потомке Людовика XIV.

В Риме, на одном из аукционов, за три тысячи дукатов продавался Рафаэль. Свободных трех тысяч у Разумовского не было, и Рафаэля увез

* Рим — прекрасное место, чтобы все забыть, всем пренебречь и умереть (франц.)

** Там, где короли умеют сесть на коня и покарать, там революции невозможны (франц.)

англичанин, явно ничего в картинах не понимавший. Бедность угнетала Андрея Кирилловича. Очень расстроено было и здоровье, — сердце лучше работать не стало. Врачи предписали ему строгий режим. За выполнением этого режима следили жена и невестка, которых все больше беспокоил вид князя. Все это раздражало Разумовского. Его душевное состояние передавалось и дамам. Стало скучно. От скуки они взяли на воспитание девочку.

Единственным утешением Андрея Кирилловича была музыка. Он часто посещал оперу, восхищался голосами итальянских певцов и нехотя отдавал должное Россини, который уже царил в мире, затмевая славою всех других композиторов. На старости лет Андрей Кириллович снова стал играть на скрипке; играл он преимущественно по вечерам, когда оставался один: дамы каждый вечер уезжали в театр или в гости, ему же доктор предписал выходить возможно меньше и рано ложиться спать. Разумовский отдавал должное Россини, но предпочитал другую музыку — давно выпедшего из моды Бетховена. Андрей Кириллович играл не очень хорошо; он пробовал темы и из симфоний, и из квартетов. Больше всего он любил русские квартеты, посвященные ему его старым другом, а в них *adagio* седьмого квартета. С русской песней этого квартета он когда-то сам познакомил Бетховена. Во время игры Андрею Кирилловичу казалось, что музыка и была его настоящим призванием. А иногда он думал, что никакого призвания у него вообще не было и что в этом, собственно, главное несчастье его жизни. Он любил искусство, понимал его гораздо тоньше, чем большинство других людей, а создать ничего не мог: слишком много вкуса, недостаточно творческого дара — худшее, что может быть.

В Неаполе Разумовский неожиданно получил из Петербурга письмо, сообщавшее о кончине его брата Петра. Это известие потрясло Андрея Кирилловича, несмотря на то, что он с годами очерствел и успел привыкнуть к уходу близких людей. Брат был только годом его старше и всегда отличался крепким здоровьем. Они с юношеских лет встречались редко — Петр Кириллович жил в Петербурге, — но любили друг друга. Жена и невестка приняли очень близкое участие в горе Разумовского, перестали ездить в театр и отказались от приглашений. Однако в глазах своих дам князь читал тщательно скрываемую радость. У Петра Кирилловича законных детей не было, и большая часть его богатства теперь должна была достаться Андрею Кирилловичу. Разумовский по совести не мог осуждать жену и невестку: они совершенно не знали его брата. Тем не менее разговоры с ними о брате возбуждали в нем тяжелое чувство. Из случайных вопросов выяснилось, что они знали, какие имения остались после умершего и какую приблизительно ценность представляет каждое. В этом тоже ничего худого не было, — Андрей Кириллович и сам при всей любви к брату не мог не думать с облегчением о том, что перед ним и его семьей вновь открывается возможность прежней богатой жизни. Но все же, когда Лулу Тюргейм с радостью, скрытой под видом полного безразличия, говорила, смешно коверкая русские названия, о Гостилицах, об Аркадаке, о псковских, тульских, московских имениях, Разумовский делал над собой усилие, чтобы в раздражении не сказать лишнего.

Точные сведения о наследстве пришли весной 1824 года. Петр Кириллович умер почти скоропостижно и о завещании подумал чуть только не в последнюю минуту. Текст завещания по просьбе графа написал сам Сперанский как лучший в России знаток законов, но наспех написал очень неудачно, и завещание, наверное, было бы признано недействительным, если бы чиновник Крюковский не обратил внимания на грубую ошибку, допущенную знаменитым государственным деятелем. Наследство Петра Кирилловича было очень велико: в отличие от брата он и доходов своих никогда не проживал.

Жена и невестка Андрея Кирилловича заговорили о переезде из Италии в Париж. Только в Париже были и удобства жизни, и настоящее общество, и хорошие врачи. Разумовский не спорил: ему теперь было почти все равно, где доживать свой век.

По наследственным и другим делам князю нужно было побывать в Вене. Не без споров и возражений дамы согласились на то, чтобы он съездил туда один, а затем прямо приехал в Париж. Однако решено было ждать наступления теплого сезона: слишком резкий переход от южноитальянского климата к средневропейскому казался опасным в преклонном воз-

расте Разумовского. В ожидании переезда Андрей Кириллович стал снова покупать разные произведения искусства. Рафаэль ускользнул безвозвратно, но были другие находки. Сначала он покупал с увлечением, представляя себе, как все будет расставлено и повешено в его доме; потом ему надоело и стало совестно: «Совсем пора устроиваться в семьдесят два года, и только Томировой бронзы не хватает для полноты счастья»...

Во второй половине апреля Андрей Кириллович покинул Неаполь. Ехал он по настоянию жены неторопливо, часто останавливаясь по дороге, и 7 мая 1824 года прибыл в Вену.

Дворец Разумовских, остававшийся заколоченным два года, требовал уборки и ремонта. Но в Вене было человек двадцать близких, родных и друзей, у которых мог остановиться Андрей Кириллович. Почти бессознательно в связи с раздражением против своих дам Разумовский остановился не у Тюргеймов, а у Тунов, родных своей первой жены, — он и после второго брака поддерживал с ними самые добрые родственные отношения. Об его приезде хозяева были предуведомлены: Андрея Кирилловича встретили с распростертыми объятиями Туны, Тюргеймы, Лихновские, Гессы, Пергены, Клам-Мартинецы.

Очувтившись в старой привычной венской обстановке, с которой связаны были лучшие годы его жизни, Андрей Кириллович немного оживился. Пока он купался и приводил себя в порядок, родные с огорчением говорили вполголоса, что он очень постарел. Один даже озабоченно спросил, сколько лет князю. После недолгих споров и справок по годам свадеб и похорон выяснилось, что Разумовскому никак не меньше семидесяти лет, скорее даже несколько больше. Дамы изумлялись и вздыхали: еще так недавно Erzherzog Andreas был признанным покорителем сердец. С улыбками вспоминали его победы. «Неужели за семьдесят лет?..»

Дурное впечатление рассеялось, когда Разумовский вышел освеженный ванной, как всегда безукоризненно одетый, с тщательно напудренной головой, — больше уже почти никто не пудрился. Андрей Кириллович был весел, упорно говорил не по-французски, а по-венски и, раздавая подарки, забавно шутил. Подарки он, впрочем, купил неудачно и тотчас это почувствовал, хотя все восторгался привезенными им картинами, медалями, бронзой. «Лучше было остановиться у модной лавки и закупить каких-нибудь галстуков и вееров», — подумал он.

Туны в самый день приезда гостя давали в его честь большой обед, — «только для своих», — сказала хозяйка; однако своих было человек тридцать. Все уже собрались и с восторгом слушали рассказы и анекдоты Разумовского; он был прекрасный рассказчик и знал анекдоты о всех знаменитых людях мира.

— Надеюсь, вы не сожалеете, что не пошли на концерт? — спросила одного из гостей хозяйка дома.

— О, нет!

— Какой концерт? — осведомился Разумовский.

Ему сказали, что сегодня состоится большой концерт Бетховена.

— Нам тоже навязал ложу Шиндлер, но, разумеется, мы теперь не пойдем...

— В котором часу начало?

Разумовский поспешно взглянул на часы. То, что он хотел сделать, было неприлично и неучтиво, но Андрей Кириллович предпочитал совершить десять невежливых поступков, чем пропустить концерт Бетховена. Он рассыпался в извинениях, которых в первую минуту хозяева и гости даже не поняли.

— *Chère amie, ce que je fais est vraiment d'une goujaterie!*.. — говорил он, целуя руки хозяйке. — *Comment faire pour obtenir votre pardon?* *

Хозяйка натянуто улыбалась и говорила, что она прекрасно понимает. Но по ее лицу Андрей Кириллович видел, как она задета его странным поступком. Гости озадаченно переглядывались: их пригласили на Разумовского.

— Однако как же вы будете слушать музыку голодный?

* Моя дорогая, то, что я делаю, — это действительно неловко. Как мне заслужить ваше прощение? (франц.)

— Может быть, вы хоть наскоро закусите перед концертом?

Хозяин дома отыскал приглашение. На нем значилось: «Grosse Musikalische Academie des Herrn Ludwig van Beethoven, den 7 May in K. K. Hoftheater nächst dem Kaertnerthore*». Дальше следовала программа концерта.

— Знаете что? Я нашел компромисс, — сказал хозяин. — Вас, конечно, интересует новая симфония Бетховена. Она идет в конце, так что вы можете съесть хоть часть обеда с нами и все-таки попадете вовремя. Мы сейчас же сядем за стол... По-моему, я внес ценное предложение.

— От этого вы не можете отказаться!

Разумовский в самом деле отказаться не мог. Дворецкий побежал отдавать распоряжения поварам. Велено было закладывать карету для гостя. Все перешли в столовую.

— Меня все же удивляет ваша музыкальная ненасытность, — сказала за столом хозяйка, когда прошла натянутость, вызванная решением гостя. — Ведь вы пробыли два года в Италии и слушали там божественную музыку.

Тотчас заговорили о Россини. Он недавно гастролировал в Вене и всех очаровал: гениальный композитор, дирижер, пианист, певец — у него чудесный голос! — и вдобавок такой милый, любезный человек.

— На вечере у Меттерниха он экспромтом написал в альбомы гостям шестьдесят музыкальных вариаций на одну тему.

— В Лондоне его осыпали золотом.

— У нас тоже.

— Знаете ли вы, что он «Отелло» написал в двадцать дней?

— So sieht es aus **, — улыбаясь, сказал Разумовский.

Дамы засыпали его упреками.

— Беру назад, я сам очень его люблю. А вы знаете, в Риме «Отелло» кончается примирением мавра с Дездемоной. Они поют любовный дуэт... Впрочем, Россини не виноват: так требует публика... Зато поют итальянцы восхитительно.

— Сегодня в симфонии вы тоже услышите замечательную певицу, Генриетту Зонтаг, — сказала хозяйка. — Пожалуйста, не влюбитесь... Двадцать лет, огромный талант и красавица, — с легким вздохом добавила она.

— Как? В симфонии певицу?

— Разве вы не знаете? Девятая симфония объявлена с хором и солистами. Это, очевидно, его нововведение.

Разговор перешел на Бетховена. Андрей Кириллович с тревожным любопытством расспрашивал венцев о своем старом друге, которого давно потерял из виду. Сведения были неутешительные. По общему отзыву, Бетховен опустился, окончательно оглох, стал совершенно невозможным человеком и вдобавок много пил. Некоторые говорили даже, что он спился. Очень плохи были и его денежные дела. Оживление сразу соскочило с Разумовского. Резануло князя и то, что Бетховена, который был гораздо его моложе, все называли стариком.

— Вы знаете, он чуть было нас не покинул, — сказал хозяин. — Недавно вдруг заявил, что уезжает совсем из Вены. Тогда друзья расчувствовались и подали ему письменную просьбу, чтобы он не уезжал...

— В самом деле, было бы стыдно и досадно, если б Вена потеряла такого человека.

— Будем говорить правду: он весь в прошлом и совершенно выжил из ума.

— Все-таки надо было оказать поддержку старику.

— Я не нахожу, — решительно сказала полная круглолицая дама. — Я проезжала недавно мимо кафе Мариагюльф, вижу, он сидит на террасе и пьет!.. Если у него есть деньги на вино, то пусть не устраивает в свою пользу концертов и не просит подачек!

— Сурово, но верно...

— Среди них бедняков очень много. Было бы прекрасно, если б мы

* Большая Музыкальная Академия Людвиг ван Бетховена, 7 мая в Придворном театре рядом с Кертнерторе (нем.)

** Это можно заметить (нем.)

могли помогать всем, но это немислимо. Надо оказывать денежную помощь только в случае крайней нужды.

— Да, но что считать крайней нуждой, Мицци? Бетховен, бесспорно, нуждается.

— Нуждается в вине.

— Может быть, вино полезно ему для вдохновения, — весело сказал один из молодых гостей.

— Ах, оставьте, это говорят все пьяницы... Я уверена, Россини пишет без всякого вина.

— Не знаю, как Россини, но я по себе знаю: как только я выпью, я сочиняю восхитительные стихи. Не верите? Как вам угодно.

Гости смеялись. Разумовский становился все мрачнее. Он знал, что в обществе ценили Бетховена, но не могли настоящим образом уважать музыканта, который по бедности устраивал концерты в свою пользу. Андрей Кириллович и за собой знал эту психологию богатого человека, но в других она чрезвычайно его раздражала.

Хозяин дома мягко защищал Бетховена от нападок круглолицей дамы. Он напомнил, что сам Россини чрезвычайно высоко ставит старика и плакал, как ребенок, слушая его музыку. В бытность свою в Вене он первый сделал Бетховену визит.

— И, говорят, ваш Бетховен принял его Бог знает как! Посоветовал ему написать еще несколько «Севильских цирюльников».

— Это было бы не так плохо.

— Да, но какой грубый человек!

— Да кто вам сказал, что он был груб с Россини? Это неверно.

— Мне говорили... Он и визита ему не отдал.

— Если не отдал, то потому, что нелюдим.

— Очень хорошо! Что должны о нас подумать иностранцы! А между тем я сама слышала, как Россини просил князя Меттерниха: нельзя ли сделать что-либо для Бетховена?

— Подумайте, о ком вы говорите, Мицци, — строго сказала мать хозяйки дома. — Вспомните, что Бетховен глух! Во сне такое увидеть страшно.

Полнолицая дама замолчала. Разумовский смотрел на нее с ненавистью.

— Это как если бы вы стали немой, Мицци, — весело сказала хозяйка. — Представьте себе: при вас мы рассказывали бы все венские сплетни, а вы от себя ничего не могли бы добавить.

Дама засмеялась, за ней и другие гости.

— Это было бы гораздо хуже, чем глухота Бетховена!

— Это было бы из Дантова ада!

— Или из области инквизиционных пыток!

— Кто по-настоящему трогателен, это Шиндлер. Что он терпит от старика, а предан ему, как собака!

— Говорят, он на своих визитных карточках пишет: «Друг Бетховена».

Смех усилился.

Tanzen war ein Gottesdienst,
War ein Beten mit den Beinen... *

Гейне

Капельдинер почтительно проводил Разумовского к ложе Тунов и сообщил, что антракт подходит к концу: сейчас начнется симфония. Почти у дверей ложи Андрею Кирилловичу бросилось в глаза знакомое лицо. По коридору не шел, а скользил невысокий человек с веселым, добродушным лицом. «Кто такой? Француз? Русский?..» Этот человек несколько не походил на русского, но что-то его связывало в памяти князя с Россией, — Разумовский не сразу узнал танцовщика Дюпора, когда-то сводившего с ума публику Петербурга и Москвы. На лице у танцовщика рас-

* Танец был как молитва, исполненная ногами... (нем.)

плылась необыкновенно радостная улыбка, хоть и он тоже не сразу узнал Разумовского, — помнил только, что это кто-то важный и приятный. Дюпор давно больше не танцевал, не соблюдал режима и очень растолстел. Однако балет сказывался и в его походке, и в выражении лица, и в манерах; он даже и говорил как-то так, что казалось, будто и слова, и мысли у него грациозно танцуют. О Дюпоре уже несколько лет дамы отзывались: «Ах, его надо было видеть лет десять тому назад!..» Он радостно поздоровался с Разумовским. Неожиданно они заключили друг друга в объятия (капельдинер посмотрел на них с изумлением); в России Андрею Кирилловичу никак не пришло бы в голову обниматься с танцовщиком, хотя бы известным на весь мир. Но здесь, в Вене, Дюпор был ему особенно приятен.

— Вы что тут делаете?—спросил Разумовский. По недоумевающему лицу француза он понял, что задал неудачный вопрос.

— Разве вы не знаете, князь, что я управляю этим театром?

— Да, конечно, я знаю... Я хотел сказать: отчего вы не за кулисами?

— Сегодня мне там нечего делать: ведь театр сдан под концерт. Давно ли вы в Вене, князь?.. Вы в этой ложе? Один?

— Один...

Разумовский рассказал, как это вышло. Из Тунов никто не пожелал ехать с ним на концерт (он чувствовал, что это было легкой демонстрацией по его адресу).

— Видите, как я стремился в ваш театр... Отчего бы вам не посидеть со мною? Мне в самом деле неловко одному в ложе...

— С большим удовольствием посижу.

Дюпор балетным жестом открыл дверь и, пропустив вперед князя, не вошел, а впорхнул в ложу. Зал горел дрожащими огнями. Часть музыкантов уже сидела на сцене, настраивая инструменты, стирая пыль с барабанов и контрабасов. Разумовский с первого взгляда увидел, что публика не слишком парадная. Императорская ложа была пуста. Появление князя кое-где заметили в зале, с разных сторон ему радостно кланялись, однако своих людей оказалось гораздо меньше, чем было бы на парадном спектакле. Андрей Кириллович устроился в кресле поудобнее и начал разговор с Дюпором. Они вспоминали общих знакомых. Многие давно умерли, Дюпор этого и не знал. При всяком таком сообщении на его благодушном лице автоматически выступало выражение крайнего горя. Разумовскому казалось, что это выражение лица из какого-то балета. «Султан узнаёт о смерти одалиски», — подумал Андрей Кириллович.

— А как поживает мадмуазель Жорж?—улыбаясь, спросил он.

У Дюпора был когда-то со знаменитой артисткой роман, очень занимавший московских дам. Теперь это было далекое прошлое и о нем, собственно, можно было говорить свободно. Однако танцовщик не сразу принял тему. На его лице появилось выражение крайней скромности: «Акид не выдаст тайны Галатеи».

— Я помню, ведь она вас похитила и переодетым привезла из Парижа в Петербург... И очень хорошо сделала, — смеясь, сказал Разумовский.

— *Quelle femme! Quelle femme!* *—расширив глаза, произнес Дюпор. Скромность его растаяла перед настойчивой нескромностью Разумовского («Акид выдаст тайну Галатеи»).— *L'Empereur Napoléon Disait qu'elle avait des abatis, canailles. Mais ce n'est pas vrai, je vous le jure! Les pieds un peu grands, peut-être, mais d'une beauté!..* **

— Верю, верю, — говорил весело Андрей Кириллович, знавший, что в этом была главная гордость жизни Дюпора: он и Наполеон были близки с одной женщиной.

— Да, хорошее было время, — с автоматическим вздохом сказал автоматическую фразу Дюпор, вывезший из России состояние. — Хорошее было время!

— Вам, слава Богу, недурно и в Вене... Что вы теперь пишете?

— Пишу балет «*Le volage fixé* ***», — ответил польщенный Дюпор и принялся рассказывать о своих работах. Андрею Кирилловичу

* Какая женщина! Какая женщина! (франц.)

** Император Наполеон говорил, что ее черты вульгарноваты. Но это неправда, я вас уверяю! Ноги несколько великоваты, быть может, но какая красота! (франц.)

*** Прерванный полет (франц.)

стало завидно: он теперь завидовал всем людям, имеющим какое бы то ни было призвание, а Дюпор был по-настоящему влюблен в свое искусство. Говорил он так, точно творчество не оставляло ему ни одной минуты свободного времени: он, может быть, и рад был бы все бросить и начать жизнь самого обыкновенного человека, но что поделаешь с публикой? Знать ничего не хочет и не прекращает оваций. Этот тон остался у Дюпора от лучших времен и еще усилился с тех пор, как дамы стали говорить: «Ах, его надо было видеть лет десять тому назад!..» Разумовский рассеянно слушал, оглядывая зал, поддакивая и переспрашивая, иногда невпопад.

Зал быстро наполнился. В коридоре прозвонил колокольчик. Публика занимала места. Несколько кресел в первых рядах оставались незаняты, вызывая неприятное чувство у Андрея Кирилловича. Эти оскорбительные для Бетховена пустые места портили вид и настроение зала.

— Да, очень интересно, — рассеянно сказал Разумовский, заметив, что долго не подавал реплики.

— Что интересно, князь?

— То, о чем вы говорите... Но я из ваших балетов предпочитаю эту... Как ее?.. «Галатею»... Скажите, отчего никого нет в императорской ложе?

— Его Величество сейчас пребывает вне Вены, — почтительно наклонив голову, сказал Дюпор. — Кроме того, вы знаете, при дворе не очень любят Бетховена.

— Как он поживает, старый якобинец?.. Говорят, плох?

Дюпор постучал по лбу пальцем и заговорил уже без балетных жестов: о деньгах он говорил просто.

— Послушайте, князь, — сказал он. — Полный сбор в моем театре при обыкновенных ценах составляет две тысячи четыреста флоринов. Я сделал старику величайшую скидку, какую только мог, потому что я его люблю... *Oui, j'ai un faible pour lui... On dit qu'il décompose la musique, mais je suis d'avis que c'est un bon musicien, tout toqué qu'il soit!** — с силой сказал Дюпор, точно Разумовский с этим спорил. — Я посчитал за все тысячу. За все! Это чуть только себе не в убыток. Но ему одна переписка нот обошлась в восемьсот флоринов! На что же можно тут рассчитывать при обыкновенных ценах?

— При повышенных ценах, вероятно, публики было бы меньше.

— Послушайте дальше. Мало ему для его симфонии оркестра, подавай еще хор. Мало хора, подавай солистов. И не одного, а четырех! И не каких-нибудь горлодеров, а Генриетту Зонтаг! Хорошо, что она милая девочка... *Une perle*** — вставил Дюпор, подмигнув Разумовскому, — она ничего со старика не возьмет... А эти скандалы! Если бы я знал, ни за что не сдал бы ему своего театра. Для баритонной партии ему предлагают Форти: прекрасный певец. «*Nein!**** — передразнил Дюпор, сделав свирепое лицо. — Не хочу Форти: *Italienische Gurgel!***** — сказал он, с трудом произнося немецкие слова, но в совершенстве воспроизводя голос, манеру, выражение лица Бетховена. Разумовский невольно засмеялся.

— Да, крутой человек.

— Слушайте дальше. Эта маленькая Зонтаг, она ангел, князь, советую обратить на нее внимание. — Он опять подмигнул. — Зонтаг умоляет хоть немножко понизить ее партию: ведь он черт знает чего требует от певцов. Казалось бы, чего проще: прелестная девочка просит понизить, понизь. «*Nein!*» — еще свирепее прорычал Дюпор. — Все «*Nein!*»!.. Капель-мейстера изругал так, что тот чуть-чуть не отказался сегодня дирижировать.

— Как? Разве не сам Бетховен дирижирует?

Дюпор изумленно посмотрел на Разумовского.

* Да, я питаю к нему слабость... Говорят, он разрушает музыку, но я считаю, что он хороший музыкант, каким бы ни был чокнутым человеком! (франц.)

** Жемчужина (франц.)

*** Нет! (нем.)

**** Итальянская глотка! (нем.)

— Помилуйте, князь, ведь он совершенно глух. Он будет стоять у попитра, только и всего. Вы, верно, не видели афиши? Вот...

Он вынул из кармана смятый листок. Разумовский надел очки и с любопытством прочел афишу.

— Так это на слова оды Шиллера «Радость»? Давнишняя его мысль, — протянул Андрей Кириллович; он ждал сегодня другого от Бетховена. «Какую это он выдумал радость?» — с легким беспокойством подумал Разумовский.

— Да, стихи... Умнее было бы написать музыку к хорошему балету... Ведь все-таки балет — высшее искусство, потому что в нем сочетаются все виды искусства. Я ему предлагал, но он только ругается. — Дюпор опять энергично постучал по лбу.

В коридоре колокольчик зазвенел сильнее.

— Наконец-то начинают... Ну, до свидания, князь, я должен вас оставить... Надеюсь часто вас видеть в театре... Я, впрочем, еще к вам зайду...

Он упорхнул, перескочив через порог ложи. На сцену торопливо выходили запоздавшие музыканты. Сторожа принесли и поставили около дирижерского места четыре бархатных стула, очевидно, для солистов, — другим предназначались простые стулья. Из-за кулис выглянул и тотчас скрылся Шупанциг, старый знакомый Разумовского. Капельдинеры закрывали двери. Звуки настраиваемых инструментов волновали Андрея Кирилловича, вызывая в его памяти что-то очень далекое и радостное. Ламповщики убавили света в зале. Отблески свечей над попитрами музыкантов задрожали на стенках боковых лож. Запоздавший брендмейстер проверил уровень воды в стоявшем на сцене медном резервуаре. Благоразумные люди заранее откашливались. Гул голосов понемногу затихал.

...Wien, Wien, die Stadt der Lieder,
Die schöne Stadt auf Donau Strand... *

Девятнадцатилетняя Генриетта Зонтаг в день концерта была на банкете, который в ее честь устроил днем в своем загородном охотничьем доме молодой венгерский магнат. Все на банкете было из сказки: и таинственный замок в лесу, и большой низкий зал, украшенный чучелами зверей, рогами оленей; и стол, сверкавший хрусталем и золотом, и бесчисленные слуги в странных костюмах, и красавец хозяин, и его кривая, усыпанная алмазами сабля, и блестящие молодые люди, которых он ей представлял, и их ласкавшие слух имена, и необыкновенные титулы, — только в сказках бывали принцы, маркграфы, палатины. Люди эти говорили восторженные, чудные слова об ее таланте, об ее голосе, об ее красоте.

Лакеи подали шампанское. Она говорила, что нельзя пить перед концертом, что она лишится голоса, что ее освищут, и, слабо смеясь счастливым смехом, пила. Затем она пела арию Розины, и трель звучала так, как никогда до того не звучала. Ослепительные молодые люди падали перед ней на колени, осыпали поцелуями ее руки. Хозяин умолял осчастливить его и принять скромный дар, недостойный ее божественного гения. Взяв из шкатулки чудесное ожерелье, он надел ей на шею четыре нитки жемчуга и, оправляя, коснулся ее голых плеч своей горячей рукою. Она пила, ела конфеты, после конфет бутерброды, бессмысленно-счастливо смеялась, бессмысленно-счастливо благодарила, с детской нежностью глядя на всех этих изумительных, дивных людей.

Много позже — а может быть, и сейчас же после того — вспомнили о концерте. Надо было ехать в город. Сказочное продолжалось, — она еще тогда не знала, что все это почти ритуал. Молодые люди разостлали ковер у крыльца перед коляской, чтобы пыль земли не коснулась ножек богини. Толстый тугой ковер покрыл низ лестницы, стать на ступеньки было невозможно, — она засмеялась и скользнула вниз. Ее поддержали, подняли и

* ...Вена, Вена, город песен, дивный город на берегу Дуная... (нем.)

посадили в экипаж. Молодые люди восторженно говорили, что выпрягут лошадей и сами впрягутся в коляску, она озабоченно отвечала, что это невозможно, так она опоздает к концерту, — и все хохотали и опять целовали ей руки. Хозяин непременно желал сесть с ней, но не сел: в театр подъехать вдвоем было бы неудобно и неприятно Каролине.

Затем лошади понеслись по лесу, и она испугалась: вдруг нападут разбойники, — в волшебном лесу все было возможно. Потом ей стало холодно, несмотря на весеннюю погоду, она закутала горло в шаль и при этом попыталась на шею пересчитать жемчужины в одной только первой нитке, но на левом плече под шалью блаженно запуталась в счете. Потом ей вспомнилась дивная фраза, которую она должна будет петь на концерте. Она попробовала голосом: «Freude, schöner Götter Funken, Tochter aus Elysium»...* Лакей и кучер оглянулись с козел: петь громко было невозможно; фраза беззвучно пела в ее душе. Она не знала, что такое Elysium и почему здесь говорится об искре, да и слова не доходили до ее сознания; но мелодия фразы выражала то, что она чувствовала в самый счастливый день своей жизни. Она подумала, что сумасшедший старик, создавший гениальную, ни с чем не сравнимую симфонию, которую сегодня должны были играть в первый раз, именно о ней, о сегодняшнем банкете, о жемчужном ожерелье говорил в этой своей фразе.

Потом она задремала.

На площади у бастиона, перед трехэтажным зданием театра, кучер сдержал лошадей. Она очнулась и вздрогнула: вот уже театр, сейчас петь! Вдруг провалится? «Нет, не может быть, ничто дурное случиться не может... Все будет чудесно!» Она легко выскочила из коляски, подумала с сожалением, что здесь никто не расстилает перед ней ковров, и взбежала по лестнице подъезда артистов. Ей была отведена небольшая комната в конце коридора. Вдруг через выходящую в коридор дверь она увидела Бетховена. Она остановилась у порога, пораженная.

В комнате больше никого не было. Он сидел в кресле, опустив голову на грудь. Лицо его было мрачно, в глазах было отчаяние. Ей стало мучительно жаль старика. «Боже, какой несчастный!» — подумала она, и вдруг, неслышно войдя в комнату, она опустилась на колени перед креслом и поцеловала руку Бетховену.

La symphonie avec chœurs de Beethoven n'est pas absolument dépourvue d'idées, mais elles sont mal disposées et ne forment qu'un ensemble incohérent et dénué de charme **.

Из рецензии 1831 года

Спектакль не был парадным, но все венцы, знавшие толк в музыке, были в этот день в театре у Каринтийских ворот. О новой симфонии Бетховена после первой же репетиции пошли по городу странные слухи. У старика были фанатические поклонники, как Разумовский, не считавшиеся с модой. Однако и Шиндлер, и Шупанциг растерянно себя спрашивали, что же такое хотел на этот раз сказать старик. Музыканты оркестра, знавшие свое дело, только переглядывались на репетициях; некоторые вполголоса вспоминали: Вебер уже после седьмой симфонии говорил, что Бетховен вполне созрел для дома умалишенных. Вид старика подтверждал такие предположения. На репетициях он стоял подле дирижера, безумными глазами глядел на исполнителей и, вскрикивая, повторял непонятные слова. Все смотрели на него с ужасом.

В конце антракта Шиндлеру подали окончательный расчет кассы. Он пробежал цифры и побледнел: сбор составлял всего 2220 гульденов, на

* Радость, искры божественного, дочь из Элизима... (из стих. Шиллера «Радость»; ср. в пер. с нем. И. Миримского: «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам...» — Прим. ред.)

** Симфония с хором Бетховена не совсем лишена идеи, но плохо построена, и ее ансамбль несвязан и необаятелен (франц.)

долю старика должна была отчислиться совершенно ничтожная сумма. Между тем с этим концертом связывались главные его надежды. Шиндлер знал, что виноватым все равно окажется он; это его не беспокоило, он ко всему привык. Но как сказать старику? как его подготовить? Старик и без того был последнее время в ужасном настроении.

Шиндлер был литературной абстракцией; он ворвался в жизнь из сентиментальной повести — верный друг, состоящий при великом человеке. Он не играл этой роли, да и повесть такая ему, вероятно, никогда не попадалась. Шиндлер знал толк в музыке и искренне боготворил Бетховена. Но если бы судьба не свела его с Бетховеном, он был бы преданным слугой при другом великом человеке. Обязанности его были тяжелы и неблагодарны; именно поэтому они как нельзя более подходили Шиндлеру. У него на всю жизнь повисло на лице грустное выражение. Все неизменно о нем говорили, что он предан Бетховену, как собака, и все были правы.

День концерта Шиндлер провел с Бетховеном. Велел кухарке подать то, что любил старик: селедку с печеным картофелем, яичницу с луком и колбасой, макароны с пармезаном, бутылку красного баденского вина; сам приготовил кофе, отсчитав ровно шестьдесят зерен на чашку, как требовал Бетховен. Обед сошел благополучно: старик не ругался ни с Шиндлером, ни с кухаркой, не швырялся тарелками; он даже пробормотал что-то, похожее на благодарность Шиндлеру за его заботливость. Шиндлер был счастлив. За два часа до начала концерта он вынул из шкафа зеленый фрак (черного у старика не было), почистил щеткой и с душевной болью говорил, что при вечернем освещении этот зеленый, в сущности, темно-зеленый, костюм, наверное, сойдет за черный. Незадолго до начала концерта Бетховен сел за пианoforte. Шиндлер встревожился, — ехать надо было далеко, перед концертом следовало бы отдохнуть. Но он не чувствовал себя способным отрывать старика от игры. Шиндлер сел на диван и заслушался. Бетховен фантазировал: его фантазия не имела на этот раз ничего общего с темами той симфонии, которую сегодня играли в театре. Шиндлер знал, что она больше не интересует старика, и догадывался, что играет он что-то из задуманной им новой, десятой симфонии. Следить было трудно. Бетховен все время перескакивал с одной темы на другую. «Слышит ли он то, что играет?» — спрашивал себя в сотый раз Шиндлер и, как всегда, приходил к мысли, что слышать старик не может (он оркестра не слышал в нескольких шагах расстояния) и все же каким-то непонятным образом слышит. «Вот когда бы художникам его писать», — думал Шиндлер, глядя на Бетховена и чувствуя перед собой непонятное, недостижимо высокое явление. «И как он прав, когда говорит, что в искусстве он ближе к Богу, чем все другие люди!..»

Посоветовавшись с Шупанцигом, Шиндлер решил до окончания концерта ничего не сообщать старику о денежных результатах концерта: пусть хоть симфония с хорами доставит ему утешение. По началу концерта, по настроению в зале оба они видели, что прием будет горячий и что овации Бетховену обеспечены: публика его жалеет и знает, что ему жить уже недолго.

Шиндлер и Шупанциг робко вошли в комнату, предназначенную для артистов. Старик сидел в той же позе, в какой его застала Зонтаг.

— Meister, rüestet Euch! * — закричал Шиндлер, нагнувшись к самому уху Бетховена. Контраст между его успокоительными словами и диким криком был так силен, что Шупанциг вздрогнул.

Бетховен тяжело поднялся с кресла и уставился бешеными глазами на вошедших.

— Ich bin gekocht, gesotten und gebraten **, — сказал он и быстро направился к эстраде. Шупанциг маленькими шажками побежал за ним.

* Маэстро, ваш выход! (нем.)

** Я совершенно готов. (Дословно: сварен и зажарен, нем.)

Особенно мое любопытство возбуждала девятая симфония, так как по общему мнению музыкантов * Бетховен написал ее в состоянии, близком к умопомешательству. Она считалась пределом непонятного и фантастического искусства. Достав с большим трудом партитуру, я с первого взгляда на нее почувствовал себя зачарованным роковой силой. В этой симфонии, конечно, была тайна всех тайн... Помню, бледный луч зари застал меня за работой. В моем состоянии крайнего возбуждения я испугался зари, как призрака. Я вскрикнул от ужаса и закрыл лицо одеялом.

*Из юношеских воспоминаний
Рихарда Вагнера*

На оборотной стороне афиши была мелкими буквами целиком напечатана ода Шиллера. Андрей Кириллович медленно ее прочел. «А не то чтобы отменнейшие были стихи, хоть они и Шиллеровы», — подумал он. Его неодобрение, впрочем, отнеслось к мыслям стихов, а не к их форме: форма была бойкая и в самом деле веселила душу. Но Разумовскому было не до веселья. Разговор с Дюпором пробудил в нем тоску и горько-насмешливое настроение. В стихах говорилось о любимой женщине, — Андрею Кирилловичу шел восьмой десяток. Говорилось о друзьях и дружбе, — у него близких друзей не было. «Ишь какие весельчаки. — бормотал он. — Все радость да радость...» «Auf des Glaubens Sonnenberge, sieht man Ihre Fahnen weh'n...» — C'est curieux, je ne vois pas les drapeaux, — подумал Разумовский, перейдя в мыслях на французский язык, для иронии более пригодный. — «Durch den Riss gesprengter Saerge sie im Chor der Engel steht...» — Ça, c'est fort par exemple, la joie à travers la fente des cercueils... — «Götter kann man nicht vergelten, Schön ist Ihnen gleich zu sein...» — Андрей Кириллович не чувствовал себя равным богам. — Je n'y puis rien... — «Unser Schuldbuch sei vernichtet...» — Ça, oui, les dettes j'en ai pour plusieurs millions... — «Richtet Gott wie wir gerichtet...» — Si la justice divine ne vaut pas mieux que la nôtre!.. — «Freude sprudelt in Pokalen in der Traube goldnen Blut, Trinken Sanftmut Kannibalen...» — Tiens, les cannibales sont de la fête!.. Non, décidément, la poésie allemande et moi...** Взрыв аплодисментов прервал размышления Андрея Кирилловича. Бетховен выходил на эстраду. «Господи, как он изменился!»

Дирижер, низко поклонившись публике, поднялся на свое место. Бетховен кивнул головой, сердито отвернулся и стал рядом с дирижером. Гул в зале затих совершенно.

При первых звуках музыки насмешливое настроение оставило Андрея Кирилловича. «Что же это такое? — думал он. — Так вот она, радость!.. Mais ce n'est pas la musique qu'il décompose, c'est la vie... Oui, c'est le chaos... Ténèbres et désolation... Le triomphe de la mort...» ***.

* С известным правом можно утверждать, что и девятая симфония, и смычковые квартеты, и все последние создания Бетховена едва ли не раньше, чем в Западной Европе, были поняты в России или по крайней мере оценены отдельными русскими знатоками. Достаточно назвать Ленца, Глинку, Голицына, Одоевского, Бакунина. **Автор.**

** «На крутых высотах веры страстотерпца ждет она, там парят ее знамена...» — Это любопытно, я не вижу знамен. — «Здесь стоит она склоненной у разверзшихся могил...» — Это довольно сильно, вообще говоря, радость пробилась сквозь щели гробов... — «Не нужны богам рыдания! Будем равны им...» — Я тут ничего не поделаю... — «В пламя, книга долгая...» — Долги, они у меня есть на многие миллионы... — «Как судили мы, судит Бог...» — Если Божий суд не стоит больше, чем наш!.. — «Радость льется по бокалам, золотая кровь лозы, дарит радость каннибалам...» — Надо же, каннибалы пришли на праздник!.. Нет, решительно, немецкая поэзия и я несовместны... (нем., франц. **Фрагменты из «Радости» Шиллера в пер. с нем. И. Миримского. — Прим. ред.**)

*** Это не музыка, которую он разрушил, это жизнь... Да, это хаос... Сумрак и скорбь... Триумф смерти... (**франц.**)

— Понравилось вам, князь? — спросил Дюпор, вприхнувший снова в ложу, как только оркестр перестал играть. — Правда, хорошо?

Он с удивлением смотрел на измученное лицо Разумовского.

— По-моему, тема финала могла бы послужить для балета. Очень похожая фраза есть в прелестном старинном гротеске. — Дюпор вполголоса пропел тему радости, и пропел так, что в самом деле вышло похоже на гротеск. — Чудесная фраза!

— За радостью я обращаюсь к «Севильскому цирюльнику», — сказал не сразу Разумовский. Он встал и снова сел. — Подождем, пока схлынет толпа в коридоре, — рассеянно сказал он, видимо, погруженный в свои мысли.

— Знатоки говорят, что в симфонии нарушены все законы музыки... Вы этого не думаете, князь?

— Нет, я этого не думаю... А если и нарушены, то беспокоиться нам нечего: значит, он создал новые, — ответил Андрей Кириллович. Он чувствовал потребность высказать свои мысли о симфонии, но Дюпор был явно неподходящим слушателем.

— Так вы говорите, это радость? — сказал Разумовский. — Не знаю. Ничего мрачнее и страшнее, чем первые две части этой симфонии, я отроду не слышал... Вторая часть вдобавок издевательская... Это — торжество зла, преступление, злодеяние, что хотите, только не радости! Нет, это дьявольская музыка!

— Почему дьявольская? — недоверчиво спросил Дюпор. — Ведь, кажется, по замыслу, радость приходит потом, так по крайней мере...

— Уж я не знаю, когда она приходит, — перебил его Разумовский. — Ведь не в третьей части, правда? Тогда финал? Та фраза, которая вам напоминает гротеск, от нее при ее появлении рвется сердце... Вы говорите, финал, — продолжал он, все более увлекаясь. — Зачем Бетховен ввел хор? Человек и здесь все портит... Но, допустим, радость. Разве он в финале ответил на первые две части? На все то, что в них сказано? Очень может быть, что Бетховен хотел оправдать жизнь, — ничего он не оправдал, ничего!..

— Не понимаю, — так же недоверчиво заметил Дюпор. — Если автор объявляет, что он пишет о радости, значит, он пишет о радости. Как вы можете знать лучше автора, что он хотел сказать? *Et puis, il n'est pas philosophe à ce point, allez! Je le sconnais**, — пожимая плечами, добавил он.

— Зачем ему быть философом? Бетховен загадка. Разве в этом изумительном творении не детские приемы? Эта переключка тем! Одна тема божественней другой, но в том, что их поочередно предлагают и отвергают, в этой словесной ссылке на Шиллера, есть что-то наивное и беспомощное. Если хотите, только волосок отделяет это от безвкусы. И все-таки он величайший художник всех времен — царь того искусства, которое умнее всех мудрецов и философов в мире... И пессимизм его не от сознания, не от житейских бед, даже не от глухоты. Бетховен одержимый. Он сам создает вокруг себя атмосферу муки и потом сам себя утешает, как может... На предельных высотах искусства нужны добровольные мученики: разве в нормальном состоянии можно создать такое произведение?.. Что он стал бы делать, если б оправдал?..

Разумовский посмотрел на Дюпора, и ему стало совестно. Собственные его слова показались Андрею Кирилловичу и напыщенными, и неуместными, и неверно передающими верную мысль.

— Может быть, я и ошибаюсь, — поспешно сказал он, вставая. — Музыку всякий понимает, как хочет...

— Разумеется, — ответил, подавляя зевок, Дюпор. — Вы еще к нему зайдете, князь? Я не советую... Он, верно, очень расстроен... Бедный старик! Но художественный успех большой. Публика была довольна.

Публика в самом деле была довольна. Лишь только капельмейстер опустил палочку, загремели аплодисменты. Бетховен их не слышал. Он стоял неподвижно, спиной к залу, подняв вверх руки. Солистка Каролина

* И потом он не философ в этом смысле! Я его знаю (франц.)

Унгер осторожно тронула его за плечо и с улыбкой показала на аплодировавшую публику. Он дернулся лицом, как-то жалко поклонился и пошел к выходу.

Зрители не знали, что старик так глух. Аплодисменты вдруг оборвались. Затем вздох пробежал по залу. Началась бурная овация.

Monsieur Beethoven est un petit trapu d'un abord très malhonnête *.

Плейель

Вышло еще хуже, чем предполагал Шиндлер. Старик разразился бранью. Он кричал, что сделанный кассою расчет неверен, что его обокрали, и ясно давал понять: и Шиндлер, в сущности, такой же мошенник, хоть прикидывается верным другом.

Шиндлер покорно выслушивал ругательства. Ему и в голову не приходило обижаться: Бетховену все позволено, на то он и Бетховен. Кроме того, Шиндлер прекрасно все понимал: старику хорошо известно, что Шиндлер не вор, что он не обокрал, что он предан ему, как собака, — Бетховен, конечно, не верил своим словам, да, собственно, и о деньгах почти не думал; и деньги ему были нужны уж никак не для себя, а для мальчишки-племянника: он просто изливал измученную душу. Шиндлер все понимал: старик не зол, он по природе очень добр, несчастнее ведь не было человека на свете, — нищий, глухой, больной, фанатик искусства, которое его самого никогда не удовлетворяло и было слишком высоко, слишком непонятно для публики, аплодировавшей ему из сострадания!..

Умоляя старика успокоиться, всячески расписывая и раздувая художественный успех симфонии, Шиндлер с другим приятелем, Хюттенбреннером, отвез Бетховена домой и убедил его прилечь отдохнуть. Старик повалился на диван и скоро заснул. Шиндлер вышел из комнаты, задув свечи и прикрыв за собой дверь.

На следующий день утром, забежав на минуту проведать Бетховена, Шиндлер застал его там же, на диване. Он еще спал, и на лице старика было то же выражение бесконечной усталости и муки.

Les reines n'ont qu'un seul devoir: c'est d'être jolies **.

Галейран

Кондуктор omnibusа «Белой дамы» дернул звонок и радостно, диким голосом, с непонятым напевом прокричал слово, немного похожее на «Сонсорде». В вагоне не встал никто, но господин в очках, занимавший первое у лестницы место на вышке omnibusа, вздрогнул, тяжело поднялся, опираясь на трость, и, схватившись за перила рукой в палевой перчатке, осторожно поставил ногу на ступеньку. Кондуктор хотел было спеть: «Allons, messieurs, dames, dépêchons»***, но не спел: господин был, видимо, очень стар. Ступая с той же ноги, он торопливо спустился по лестнице. Кондуктор подумал, что такому старику никак не следовало бы подниматься на вышку: и дует там, да и упасть с лестницы нетрудно. Две стоявшие на площадке дамы подвинулись, уступая дорогу. Господин с приветливой улыбкой скользнул по ним взглядом и довольно ловко прошел по узкой площадке, не задев кринолинов дам. Кондуктор скруглил было руку, чтобы помочь ему сойти, и вдруг замер. Вытянувшийся в струнку городской на мгновение впился в кондуктора грозным взглядом, затем тотчас уставился на замедлившую ход легкую коляску, запряженную парой прекрасных рыжих лошадей. Коляске загораживал до-

* Мосье Бетховен маленький, приземистый и, кажется, очень несчастный (франц.)

** У королей только один долг — быть очаровательными (франц.).

*** Поторопимся, дамы и господа (франц.).

рогу омнибус. Дама на площадке ахнула: «Смотрите, это императрица!..» «Императрица Евгения!» — взволнованно прошептала другая дама. В вагоне у окон все с любопытством повставали с мест. Кондуктор сорвал с себя фуражку.

Старый господин поднял цилиндр и почтительно поклонился императрице. Она кивнула головой и вдруг, узнав старика, улыбкой подозвала его к себе, приказав кучеру остановиться.

— Bonjour, cher monsieur Isabeу,— сказала она.

Лошади тронулись, омнибус затрясся по мостовой. И девочка, сидевшая рядом с императрицей Евгенией, и лакей в темно-синей ливрее, державший в руке корзинку, и кучер, и городской с изумлением смотрели на вылезшего из омнибуса сгорбленного изжелта-седого старика, ради которого императрица велела остановить свою коляску.

— Очень рада, что вас встретила... Как ваше здоровье?

— Почтительно благодарю, Ваше Величество... Мое здоровье так хорошо, что, право, перед людьми совестно. Ведь мне, Ваше Величество, без малого девяносто лет.

— На вид вам нельзя дать больше шестидесяти.

Мосье Изабе улыбнулся, подумав, что для этой молоденькой, начинающей жизнь женщины и шестьдесят, и девяносто лет, в сущности, одно и то же.

— Это моя племянница, — сказала императрица, — дочь моей сестры герцогини Альба... Дитя мое, это наш знаменитый художник мосье Изабе... Девочка смущенно что-то пролепетала по-испански.

— Надо говорить по-французски, — строго сказала императрица. — Я хочу, чтоб она всю жизнь могла рассказывать, что видела собственными глазами Изабе, — улыбаясь, добавила она.

Хоть эти слова косвенно напоминали, что жить ему уже осталось недолго, мосье Изабе оценил любезность и был ею тронут. Вблизи, при ярком солнце, императрица нравилась ему еще больше, чем во дворце, где он ее видал на вечерах. В выражении лица, в голубых глазах императрицы было то, что в молоденьких женщинах особенно трогало мосье Изабе: свет от счастья, от доверчивости, от радости жизни. «Да, красавица, — подумал он. — Таких волос я никогда не видал, не светлые, не пепельные, нет такого цвета... А глаза!.. Вот только чуть-чуть удлинить снизу овал лица, и красивее женщину представить себе было бы невозможно...» Как знаток, он оценил и пальмировский туалет императрицы, и шляпу, тонко подобранную к необыкновенному цвету ее волос. «Кажется, и шпильона не носит... Сама ввела в моду, а ей-то он и не нужен...»

— Отчего вы давно у нас не были? — спросила императрица. Она, видимо, не знала, о чем разговаривать, но, зачем-то остановив старика, считала нужным поговорить с ним еще минуту-другую. — Император всегда так вам рад... А я хотела с вами посоветоваться насчет своего портрета. Так все-таки кто же лучше: Винтергальтер или Дюбюф?

— Оба прекрасные художники, Ваше Величество, — поспешно сказал мосье Изабе.

— Ах, как жаль, что вы не хотите меня написать! Я так желала бы...

— Ради Бога, не смейтесь над стариком, Ваше Величество, — со вздохом ответил мосье Изабе. — Я давно больше не пишу, чтобы себя не позорить: кисть дрожит в моей руке.

— Я уверена, у вас и теперь вышло бы лучше, чем у всех молодых. Так непременно заходите к нам запросто. Император собирается еще вас расспрашивать о старом придворном церемониале. Мы хотим, чтобы у нас все было, как было при покойном дяде, а ведь никто, кроме вас, не видел... — сказала она и вдруг покраснела. Мосье Изабе ласково улыбнулся. Ему и забавно было, что эта молоденькая испанская графиня, чудом ставшая французской императрицей, еще вчера никому в мире не известная, называет дядей Наполеона I; но его и трогало, что она сама при этом смущается и краснеет, как девочка.

— Я весь к услугам Вашего Величества.

— Какой вы счастливец, мосье Изабе! Вы знали дядю, вы писали его портреты.

— Ваше Величество, разрешите вам напомнить, — с усмешкой ска-

зал мосье Изабе, — я писал не только вашего дядю. Задолго до того я писал и вашу августейшую бабушку.

— Бабушку? — с недоумением переспросила императрица.

— Покойную королеву Марию-Антуанетту, — пояснил мосье Изабе. — Ведь супруга вашего дяди, императрица Мария-Луиза, приходилась родственницей королеве Марии-Антуанетте.

Императрица озадаченно на него смотрела. Улыбка мосье Изабе была так ласкова и почтительна, что ни о какой иронии не могло быть и речи. Но при мысли о том, что этот человек писал королеву, казненную на этой самой площади больше шестидесяти лет тому назад, императрице вдруг стало страшно. Она подумала, что нельзя и не надо жить так долго.

Поспешно простившись с мосье Изабе, императрица приказала кучеру ехать дальше.

L'abondance des grâces où il plaisoit à Dieu de me combler et la paix dont il me remplissoit étoient si grandes que je ne pouvois presque m'empêcher de rire en toute rencontre*.

Клод Лансело

«Только бы не пришла и для нее беда», — подумал мосье Изабе, вспоминая то, что ему пришлось видеть на своем веку. Но он тотчас отогнал от себя грустные предположения и перевел мысль на дело: мосье Изабе шел есть устрицы. Обедал он по-старинному, в пятом часу, а в полдень закусывал — чаще дома, но, случалось, и в ресторанах, когда можно было уйти от жены. Мосье Изабе, прекрасный семьянин, очень любил свою вторую жену, как очень любил и первую, однако он не прочь был погулять и без нее. Он остановился у гастрономического магазина. Мосье Изабе очень любил рассматривать витрины. В большой с низкими бортами коробке лежал ананас, симметрично окруженный грушами, как кегельный король кеглями. Рядом на блюде в заливном чернел пятнышками трюфель огромный паштет. Сзади, возвышаясь над банками солений, корнишонов, сардин, торчали разные бутылки с серебряными, синими, красными головками, одна красивее другой. Мосье Изабе тотчас тронулся дальше, аппетит у него усилился.

При виде паштета и фруктов он вспомнил, что лакей императрицы держал в руке корзинку. «Верно, она опять ездила инкогнито к беднякам», — с благодушной улыбкой подумал мосье Изабе.

От своего приятеля Фульда, занимавшего должность министра двора, он знал, как устраиваются полицией благотворительные поездки императрицы. Фульд, веселый человек, очень забавно о них рассказывал в тесном дружеском кругу. Кучер привозил молодую императрицу к бедному дому в бедном квартале. Лакей оставался внизу, а императрица с корзиной в руке по узкой, но чистенькой лестнице поднималась в мансарду бедняков, — префект полиции, впрочем, устранивался так, чтобы дом был не очень высокий, и лестница не слишком крутая. На стук открывал дверь маленький, чистенько одетый мальчик и уставялся на вошедших милыми заплаканными глазенками. Из глубины мансарды слышался кашель; большая женщина с добрым грустным, изможденным лицом, тяжело поднявшись на постели, спрашивала слабым голосом: «Кто тут?» Императрица подходила к постели и объясняла женщине, что братство св. Викентия поручило ей навестить больную вдову. Вдова растроганно благодарила и тихим прерывистым голосом рассказывала: да, ей живется плохо, очень плохо... Никто, конечно, не виноват. Всем теперь так хорошо при добром императоре Наполеоне, который так любит народ... А у нее горе за горем: умер любимый муж, сама она больна, но что же делать? О себе она не думает, а вот как накормить сегодня бедного голодного мальчика?.. У вдовы слезы

* Изобилие милостей, которое было угодно Богу мне ниспослать, и покой, которым Он меня наполняет, были столь велики, что я не мог удержаться от смеха при встрече (франц.)

лились из глаз. Императрица, тоже прослезившись, вынимала из корзины страбургский пирог, пулярку, огромные груши, портвейн. «Это посылает вам братство», — говорила императрица. Мальчик, плача от восторга, набрасывался на еду. Вдова рыдала слезами умиления. «Но вы! Кто же вы, наш ангел, наше Провиденье?» — восклицала вдова, покрывая поцелуями руки императрицы. «Мама, мама, посмотри! — вскрикивал в восторге мальчик. — Ведь эта прекрасная дама так похожа на нашу добрую императрицу!..» Вдова смотрела на императрицу расширенными от ужаса и счастья глазами. Императрица, вытирая слезы, быстро ускользала из мансарды, оставив на столе вязаный кошелек с золотыми монетами — министр двора и префект полиции знали много вариантов благотворительной поездки. Мосье Изабе слушал Фульда не без удовольствия, — ничего дурного в этом, в сущности, не было, вреда никому никакого. «А ей, бедняжке, приятно, что их так любит народ. Для этого и «надо говорить по-французски», — ласково улыбаясь, думал мосье Изабе.

У кофейни, по обе стороны двери, в плетеных корзинах, стоявших ярусами на подставках, лежали устрицы и улитки. Мосье Изабе прошел вдоль выставки, сквозь очки внимательно вглядываясь в корзины. Все устрицы были очень хороши на вид; мосье Изабе колебался между двумя сортами. «Разве по дюжине заказать каждого сорта? — задумавшись, спросил себя он. — Ох, не следовало бы». Он, однако, тут же ответил, что, быть может, и жить-то ему осталось всего лишь несколько дней, тогда будет очень обидно не отведать в последний раз устриц. На всякий случай, хоть он и не был суеверен, мосье Изабе постучал о деревянную трость высушим средним пальцем левой руки. Это повредить никак не могло. Женщина за прилавком неодобрительно на него глядела, думая, что столь засидевшемуся на свете человеку неприлично и смотреть на выставку, а внукам просто грех, что отпускают его на улицу одного. Мосье Изабе вошел в кофейню и выбрал место получше. Лакей отодвинул перед ним столик и принял заказ, думая то же, что и женщина за прилавком.

— Et comme boisson? J'ai de la bonne bière anglaise* — сказал лакей.

Мосье Изабе только на него посмотрел. Он знал, что это последняя, завезенная англичанами мода: запивать устрицы не вином, а пивом. Но мосье Изабе относился с совершенным презрением к гастрономическим идеям англичан. Он внимательно просмотрел карту вин. Был вальмюр лучшего, 1846-го, года, но без звездочки, значит, полбутылочек не было. Заказать целую бутылку было дорого и неблагоприятно. Но мосье Изабе опять подумал, что, быть может, так закусьвает в последний раз в жизни. Постучав о спинку дивана, он заказал целую бутылку вина.

Мосье Изабе ел с большим аппетитом устрицы, не поливая их ни лимонным соком, ни соусом, — это тоже были глупые выдумки, только противили вкус устриц. Вперемежку с мыслями об устрицах он думал и о разных делах. «Фульд, конечно, может устроить Генриетту... Не худо бы, если б нашелся жених в его собственной семье... Разница в религии не имеет большого значения, каждый в своей вере и останется... Устрицы хороши... Да, прелестная женщина императрица! Дай ей Бог счастья!.. Надо будет к ним зайти в Тюильри...» Мосье Изабе бывал во дворце и при Людовике XVI, и в ту пору, когда там заседал Комитет общественного спасения, и при Директории, и при Наполеоне I, и при Людовике XVIII, и опять при Наполеоне, и при Карле X, и при Людовике-Филиппе, — никто до сих пор долго во дворце не засиживался, и всем он приносил несчастье. «Ну, а, может быть, им как раз и не принесет, — бодро думал мосье Изабе. — А если и принесет, то что же делать? Нельзя же прожить всю жизнь без несчастий». В глубине души он в эту мысль не верил: можно отлично и без всякого несчастья прожить жизнь.

От устриц и вина мосье Изабе немного отяжелел. Ему захотелось соснуть. Но с этим признаком старости он всегда боролся и тут же решил, что вернется домой пешком: погода прекрасная. Допив вино, он расплатился, кивнул лакею, и вышел, лишь чуть больше сгорбившись и чуть крепче опираясь на палку. Лакей кивал головой, подмигивая другим клиентам. Женщина за прилавком, следившая сквозь окно за тем, как заку-

* Что будете пить? У меня есть отличное английское пиво (франц.)

сывал мосье Изабе, смотрела на него со смешанным чувством восхищения и ужаса. «Il ne va tout de même pas prendre une fille, au moins, le vieux?» * — спрашивала она себя.

Кто думает о смерти, тот уже наполовину умер.

Гейне

День был чудесный. Мосье Изабе не хотелось возвращаться домой. «Разве пойти посмотреть последнего Делароша?» — подумал он. Изабе аккуратно ходил на выставки. Война романтиков с классиками чрезвычайно ему надоела, он вдобавок никак не мог понять, в чем разница между классиками и романтиками. Мосье Изабе всегда делил живописцев только по одному признаку: одни знали свое дело, а другие его не знали. Прежде, в начале этой затянувшейся войны, мосье Изабе честно хотел понять, в чем дело; интересовался и тем, кто, собственно, он сам: классик или романтик. Но он ясно, с легким огорчением видел, что для модных молодых художников этого вопроса не было, они его даже и не поняли бы: мосье Изабе представлял собою такую старину, о которой и говорить было совершенно неинтересно, все равно как самых страстных политиков не могли занимать меровинги и каролинги. Мосье Изабе не обижался. Молодые художники немного его забавляли, особенно романтики, — те, которые рисовали немного хуже, чем классики, но зато знали немного больше. Локуста отравляла ядом раба на глазах смеющегося Нерона. Свиные турки с хохотом резали беззащитных женщин и детей. Дикая лошадь мчала привязанного к ее хвосту Мазепу. Солдаты Кромвеля оскорбляли Карла I. Гелиогабал отдавал своих гостей на съедение тиграм. Жена Саула отгоняла дубиной коршуна от трупов своих повешенных сыновей. «Смешные люди, где они отыскивают такие сюжеты?» — думал мосье Изабе, который за всю свою жизнь ни разу не видел, как хозяин отдает гостей на съедение тиграм и как мать отгоняет коршуна от трупов повешенных сыновей. «Верно, не так все это было. А если было и так, то незачем вспоминать обо всех этих гадостях... А если уж вспоминать, то надо знать, о чем пишешь. Какую-нибудь драму прочел, в альбом заглянул, вот и готов исторический живописец...»

Мосье Изабе потому было особенно трудно понять разницу между классиками и романтиками, что он отлично их всех знал, как знал их дела, их родителей, их жен, их любовниц: все эти молодые люди казались ему довольно похожими один на другого, все одинаково выбивались из сил для того, чтобы обратить на себя внимание публики. «В этом нет ничего дурного, но откуда же такая лютая борьба партий? Почему мальчишка Поль, которого вчера еще ставили в угол за выкраденный пирог, — романтик? Почему дурачок Жорж — классик?» — думал весело мосье Изабе, прохаживаясь по залам выставки. Благодушное недоумение, однако, его оставляло, когда он смотрел на картины вождей школ. От некоторых картин он отходил с невольным вздохом. Но мосье Изабе так любил искусство и был так добродушен, что тотчас побеждал в себе чувство зависти. «И для меня где-нибудь найдется уголок в Лувре», — утешал себя он. Страстная ненависть Энгра к Делакруа была ему непонятна. «Все равно висеть им в музее рядом, и в каждые десять лет будут венчать и развенчивать то одного, то другого».

Мосье Изабе раздумал идти на выставку: «Опять кого-нибудь задумают или еще на какую-нибудь Локусту наткнешься, не надо...» Ему в этот солнечный день, после вина и устриц совершенно не хотелось смотреть на убийц, даже на очень хорошо написанных. Мосье Изабе вспомнил, что вечером будут гости, зашел в кондитерскую и заказал торты, печенье, бутерброды, затем еще немного погулял в надежде встретить знакомых, но никого не встретил. У Леспеса, как всегда, был съезд элегантных дам. Мосье Изабе присмотрелся, сравнил новых красавиц с прежними. Прежние, кажется, были лучше. Но и новые были очень недурны.

* И все-таки он не возьмет женщину, по крайней мере старую? (франц.)

Вблизи Института одна из лавок открылась под новой вывеской. Здесь недавно была книжная торговля, потом хозяин прогорел, и лавка недели две оставалась заколоченной. Мосье Изабе с неудовольствием увидел, что теперь тут погребальная контора. На черной доске уже висели серебряные буквы «Pompes funèbres»*. Витрина была готова: на темно-синем шелке красиво выделялся большой темно-красный гроб, над которым на жестяных подставках склонялись металлические венки. По бокам в черных рамах лежали объявления с черной каемочкой, с точками на пробелах—оставалось только вписать имя покойника. Объявление поясняло, что хозяин берет на себя решительно все: «Déclaration de décès, achat de terrains, lettres de faire-part»**. Мосье Изабе читал объявления хмуро, точно эта заботливость хозяина казалась ему несколько бестактной. Неприятно было, что почти по соседству с ним поселился человек, который живет на счет покойников, которому, очевидно, желательна скорейшая смерть всех его соседей. «Renseignements gratuits»,*** — читал мосье Изабе. Любезность хозяйна лавки ему решительно не нравилась. «Ничего, не к спеху,—подумал он, осматривая гроб.— Да, неприятно, разумеется... А вот я все-таки не боюсь». Мосье Изабе действительно не боялся смерти и думал о ней редко. «Ничего худого быть не может... Правда, и хорошего тоже не будет. Два-три дня, верно, будут тяжелые... Да, жаль, конечно, а вот не боюсь. Скоро умру и не боюсь. А может, еще и не скоро умру... А может, хозяин до того еще успеет разориться, как разорился его предшественник...» Мосье Изабе с некоторым торжеством отвернулся от витрины и пошел дальше.

На углу, у кофейни, дымилась жаровня с каштанами. Мосье Изабе очень любил каштаны, — их сладкий бодрящий запах почему-то напоминал ему раннюю молодость. «Там, за углом, на улице Мясников, у постоялого двора, тоже была жаровня. Тот старичок-извозчик у нее грелся и рассказывал, как хорошо жилось при короле Людовике XIV»... — Мосье Изабе вспомнил что-то очень далекое, бывшее лет восемьдесят тому назад. «Ну, да, и я засиделся, и хорошо сделал, что засиделся», — подумал он, бодрясь, и, точно назло владельцу погребальной конторы, приказал отсыпать себе на три су каштанов.

L'essentiel dans ce monde est de combattre
l'ennemi ****.

Из мемуаров Э. Делакура

Прежде, еще очень недавно, мосье Изабе жил открытым домом, постоянно принимая гостей. У него бывали, дружелюбно или по крайней мере вежливо беседовали, даже иногда играли в карты люди самых разных взглядов, нигде в другом месте не встречавшиеся. Тон мосье Изабе при встречах, иногда для обеих сторон неожиданных, приблизительно означал: «Все вы, в сущности, прекрасные люди и уж, во всяком случае, стоите один другого; а потому, право, пора вам перестать называть друг друга подлецами и идиотами, — верьте старику, это и совершенно не нужно, и непристойно; а со всем тем делайте, как знаете, но уж у меня в доме, пожалуйста, ведите себя прилично». Тон этот вместе с обликом и характером хозяина придавал дому мосье Изабе особое очарование, которому невольно поддавались самые воинственные и непримиримые люди, тотчас, впрочем, забывавшие об этом тоне по выходе на улицу. Раз в год у мосье Изабе устраивались маскарады, считавшиеся самыми веселыми в Париже: на них гостей занимали известнейшие артисты, певцы, музыканты, — их только у него и можно было услышать и увидеть вблизи бесплатно. Был на доме мосье Изабе и отпечаток некоторой вольности: как художник, еще больше как последний, чудом сохранившийся осколок восемнадцатого века,

* Траурные церемонии (франц.)

** Объявления о смерти, покупка участков для могил, извещения (франц.)

*** Бесплатная информация (франц.)

**** Главное в этом мире — сражаться с врагом (франц.)

мосье Изабе мог себе позволить больше, чем другие. Он был чрезвычайно расположен к молодежи и охотно в отеческом духе покровительствовал влюбленным. Иные строгие люди даже находили, что он покровительствует влюбленным чрезмерно. На старой квартире мосье Изабе в его мастерской был диван, известный всему Парижу. Крышка этого дивана поднималась, и под ней открывалась винтовая лестница, шедшая в нижний этаж дома: таким образом, влюбленные, назначавшие друг другу встречу у мосье Изабе под предлогом заказа портретов, могли в случае надобности скрыться совершенно незаметно, притом не просто черным ходом, а поэтично, по скрытой в диване витой лестнице.

Теперь многое изменилось. Вторая жена мосье Изабе была слабого здоровья. Сам он больше не писал, а в Институте, где он по знакомству и связям получил прекрасную бесплатную квартиру, никаких витых лестниц не было; диван заколотили гвоздями. Мосье Изабе принимал теперь гораздо меньше. Обязанности хозяйки обычно исполняла молоденькая дочь Изабе: она родилась, когда ему уже шел восьмой десяток, — это событие в свое время очень развеселило парижан. Помогала ей другая хорошенькая барышня, постоянно торчавшая в доме. Ее называли ученицей мосье Изабе; она чрезвычайно походила на него лицом. Близкие люди знали, что мосье Изабе чрезвычайно любит своих барышень и очень хочет поскорее и получше выдать их замуж, собственно, это и было на старости лет его единственной заботой. Для барышень он еще иногда устраивал маленькие вечера. Жених мог, конечно, найтись и сам собою, но мосье Изабе думал, что легче женихи находятся в тех случаях, когда их ищут. Он думал также, что любовь — великое дело и, бесспорно, самое главное в жизни; но в условиях беззаботной, веселой, обеспеченной жизни любовь и возникает легче, и протекает много приятнее. Он и хотел создать для своих девочек такие условия.

Главные надежды мосье Изабе возлагал на Фульда. Старый банкир Бер Фульд, с которым его когда-то связывала прочная дружба, умер. Но сын банкира, ставший министром двора, любимец императора, один из богатейших людей Франции, по мнению мосье Изабе, легко мог найти прекрасного жениха для Генриетты. Фульд пользовался теперь в Тюильри особой милостью потому, что был одним из вождей так называемой партии брака по любви: большинство министров стояло за династический брак императора с какой-либо иностранной принцессой. Партия Фульда одержала победу, и молодая императрица особенно к нему благоволила. Мосье Изабе надеялся на Фульда, с которым поддерживал дружеские отношения: этот умный, веселый, чуть циничный, но незлобиво циничный, человек ему нравился. Фульд был очень тщеславен, однако его тщеславие было так явно и наивно, что не вызывало раздражения в мосье Изабе, — он с годами становился все снисходительнее к людям.

Parmi les membres du Sénat et du Conseil d'Etat convoqués à l'Élysée, le 26 janvier, pour recevoir communication de leur nomination, accepter et remercier, se trouvait un homme jeune, actif, spirituel, dévoué, ancien député d'Alsace à l'Assemblée Nationale et qui, ayant servi parmi les Chevalier-Gardes de l'empereur de Russie, était rentré en France, à la suite d'un duel qui avait diversement passionné la société de Saint-Petersbourg*.

Из мемуаров Гранье де Касаньяка

Мосье Изабе предчувствовал, что вечер будет вялый и скучноватый. Гостей было приглашено человек десять, самая неудобная цифра: слиш-

* Среди членов Сената и Государственного совета, собравшихся в Елисейском дворце 26 января, чтобы получить извещения об их назначениях, принять и поблагодарить, находился молодой человек, подвижный, остроумный, услужливый, бывший депутат Национального собрания от Эльзаса, служивший ранее кавалергардом русского императора; он вернулся во Францию после дуэли, которая взволновала Санкт-петербургское общество (франц.)

ком много для общей дружной беседы под управлением хозяев, слишком мало для большого приема, при котором гости предоставляются самим себе. Чтобы облегчить свою задачу, мосье Изабе придумал чтение: Мосье давая романистка согласилась прочесть свою последнюю новеллу. Мосье Изабе надеялся, что романистка имеет совесть и больше получаса читать не будет. Но уверенности у него не было, хотя он накануне многозначительно сказал мужу романистки, очень влюбленному в нее архитектору: «Je te dis que ce sera un régal! Vingt minutes de lecture, avec le talent de la petite, ce sera un vrai régal!» *.

Самый важный гость был Фульд. Он был, правда, свой человек в доме, однако очень почетный свой человек: мосье Изабе знал, что и с сыном старого приятеля нельзя обращаться чересчур фамильярно, если этот сын приятеля стал министром двора. О Фульде говорили в обществе, что ему всегда решительно все удавалось. Это чувствовалось и в выражении его сияющего лица. Он не был ни нахальным, ни надменным человеком, но совершенно независимо от его воли вид его неизменно говорил: «Да, действительно, все всегда мне удавалось, и погодите, то ли еще будет дальше!.. А, впрочем, у вас тоже могут быть кое-какие успехи, и я даже не прочь вам помочь, если это не будет очень утомительно». У Фульда было много врагов.

Другие гости были в большинстве люди молодые и незначительные: художники, друзья сына Изабе, подруги Генриетты, музыкант, дававший ей уроки. Среднее место занимала красавица Пайва, о которой с каждым днем все больше говорили в Париже. Она была и маркиза, и богачка, но почетной гостьей ее было трудно признать хотя бы потому, что в очень многих домах маркизу не пустили бы на порог. Недоброжелательницы называли ее то авантюристкой, то еще худшим словом. Биография маркизы была, в самом деле, бурная. Пайва, дочь портного Лахмана, родилась и выросла в Москве, скиталась по всем столицам Европы, была три раза замужем, бросила трех мужей, разорила нескольких любовников, русского князя, английского лорда, двух французских герцогов, а теперь жила в свое удовольствие, по-видимому, менее всего заботясь о том, что о ней говорят люди вообще, а светские дамы, в частности.

Так и на этот раз, появившись у мосье Изабе, Пайва не обратила ни малейшего внимания на грустный и достойный вид, с которым встретила ее хозяйка. Маркиза Пайва с дамами разговаривала редко, а из мужчин признавала только очень известных людей. У мосье Изабе известных людей в этот вечер было немного, и у маркизы был явно скучающий вид. Она только Фульда и выделила из числа гостей; но министр двора был очень немолод. Фульд, страстно любивший женщин, тотчас подсел к красавице и не отходил от нее весь вечер, занимая ее рассказами об императоре.

Барышни, подруги мадемуазель Генриетты, с жадным любопытством следили за дамой, о которой говорили столько волнующего и дурного. Туалет на ней был умопомрачительный: по богатству нарядов, по умению одеваться, по драгоценностям Пайва соперничала с императрицей; некоторые даже находили, что она императрицу затмевает.

Мосье Изабе встретил маркизу чрезвычайно приветливо и любезно. Он всегда ее защищал, говоря, что никому нет дела до биографии такой красавицы и до ее образа жизни. «А она еще и умница», — добавлял убежденно мосье Изабе.

— Я боялся, что вы уехали куда-нибудь на дачу, — говорил он, с трудом придвигая свое кресло к креслу маркизы.

Фульд смотрел с легким неудовольствием на старика.

— A la campagne, moi? Quelle idée! Je suis comme ce cher Auber qui dit: «La campagne, c'est bon pour les petits oiseaux» **, — ответила Пайва.

В это время в гостиную вошел последний гость, наиболее почетный после Фульда. Он был сенатор, однако молодой, как сообщали газеты, самый молодой из всех сенаторов. Дамы тотчас сосредоточили на нем вни-

* Я говорю тебе, что это будет полное удовольствие! Двадцать минут чтения, не без таланта, полное удовольствие! (франц.)

** Я на дачу? Какая мысль! Я, как Обер, который говорил: «Дача — это хорошо для маленьких птичек» (франц.)

мание. Пайва навела на него лорнет и с минуту не отрывала. Это был очень красивый, атлетического сложения человек, превосходно, с иголки одетый, изысканно любезный и обаятельный. Он был француз, но говорил с легким немецким акцентом. Носил он иностранную фамилию, — его усыновил какой-то голландский барон. Фульд шепнул Пайве, что император очень благоволил к новому гостю: после переворота он был назначен членом совещательной комиссии, а затем отправлен с важной миссией к иностранным монархам.

С приходом сенатора в гостиной сразу стало веселее. Фульд отошел на второй план. Молодой сенатор сразу оживил разговор, до того довольно вялый, весело занимал дам и всем говорил любезности, правда, чуть-чуть однообразные по тону. У Пайвы вид стал менее скучающий, писательница отметила в памяти некоторые черты сенатора для будущего романа. Барышни очень оживились, и все в гостиной сразу почувствовали, что этот человек по природе предназначен быть душой общества.

Рядом с гостиной, в столовой, был устроен буфет. Мосье Изабе, чтобы не обременять жену, все поручил кондитерской. На старости лет он стал бережливее и буфет заказал всего на десять человек, хотя с хозяевами было больше, и заказал по второму разряду, так что бутербродов с икрой не было. Молодые художники с интересом поглядывали в сторону столовой, соображая, что будет раньше: позовут ли к буфету или начнут чтение? Горничная в швейцарском костюме, помогавшая лакею из кондитерской, вошла в гостиную с подносом, на котором стояли стакан и графин с оршадом. Молодые художники поняли зловещий признак: раньше будет чтение. Романистка немного побледнела и неожиданно, к изумлению гостей, закурила сигару. Мосье Изабе ласково улыбнулся; он знал, что это делается в подражание Жорж Санд, — ему было смешно: романистка, очень славная женщина, жившая с мужем в любви и согласии, ничем, кроме сигары, Жорж Санд не напоминала. «Она, бедняккая, собственно, защищается в чужом обществе этой сигарой, как та своей презрительной улыбкой», — подумал мосье Изабе. При виде сигары муж романистки, грузный, добродушный человек в очках, робко оглянулся на хозяев, но тотчас успокоился, увидев ласковую улыбку мосье Изабе, и засуетился, передвигая столик и свечи. «Она любит, чтобы свет не падал на лицо», — взволнованным шепотом объяснил он мосье Изабе, который одобрительно кивал головой. Пайва смотрела на писательницу, презрительно улыбаясь. Фульд вздохнул и устроился в кресле поудобнее. Сенатор шепотом заканчивал рассказ мадемуазель Генриетте:

— Император Франц-Иосиф? Очень любезный юноша. Я потом вам расскажу об австрийском дворе...

Муж молодой писательницы принес из передней изящный кожаный портфель и, как святыню, вынул из него рукопись в зеленой папке, к толщине которой тотчас примерилась публика. Папка была тоненькая. Мосье Изабе вздохнул свободнее. Наступило молчание. Писательница, не открывая папки, сказала от себя несколько слов: сюжет новеллы заимствован из хроники итальянского средневековья. Действие происходит в Равенне в эпоху видама Поленты.

— Разумеется, дело не в фактах, важно было передать только дух, — сказала писательница. — Дух Равенны и дух средневековья...

Писательница вдруг уронила портсигар. Ее муж рванулся из своего угла, но не поспел: сенатор, весело улыбаясь, уже подавал портсигар писательнице. Она поблагодарила его улыбкой и, открыв книгу, принялась читать.

Равеннский злодей из эпохи видама Поленты совершал одно преступление за другим. Барышни слушали с ужасом: в темную комнату войти после этого чтения было бы нелегко. Фульд дремал, поглядывая сбоку на зевавшую маркизу. Мосье Изабе кивал головой, изо всех сил борясь с дремотой: он теперь легко засыпал. Архитектор в очках с волнением следил за слушателями и изредка что-то беспокойно шептал на ухо соседям, но все не доканчивал, чтобы не отрывать их от новеллы.

Чтение продолжалось тридцать пять минут, — писательница все-таки имела совесть. Окончив, она захлопнула папку и с милой улыбкой наклонила голову. Раздались рукоплесканья. Мосье Изабе, перегнувшись в

кресле, поцеловал писательнице ручку и с восторженным выражением на своем добром старческом лице сказал ей что-то очень приятное. Другие гости тоже говорили комплименты. Фульд требовал, чтоб новелла была возможно скорее напечатана, и посоветовал обратиться в «Revue des Deux Mondes», но пожалел об этом совете, так как архитектор тотчас попросил дать рекомендательное письмо к редактору. Фульд обещал горячо отрекомендовать новеллу устно.

— Ей важно было передать дух средневековья, — пояснял архитектор. — Вы понимаете, дух...

— И он передан чудесно, — любезно подтвердил сенатор.

Затем все перешли в столовую. Вечер был нескучный. Общей беседы не было, но по группам разговор не умолкал.

— Я все-таки хотел бы знать, что именно вы желали сказать своей превосходной новеллой? — озабоченно спросил мосье Изабе, подавая романистке тарелку с куском торта. Мосье Изабе чувствовал, что романистка ждет и серьезного обсуждения новеллы.

— Ей, собственно, важно было передать дух... — начал архитектор, но романистка тотчас его перебила:

— Меня интересовал образ совершенного злодея, человека без всяких нравственных устоев, — сказала она и покраснела. — Для этого я и удалилась в глубь веков.

Мосье Изабе изобразил на лице полное удовлетворение.

— Теперь я понимаю.

— Это чрезвычайно интересно, — сказал Фульд, — но что вы считаете основным признаком злодеяния?

— Основным признаком?.. Разумеется, вред, приносимый обществу.

— Это верно, — подтвердил сенатор. — Преступно то, что вредит обществу.

Фульд немного поспорил, преимущественно обращаясь к Пайве. Он доказывал, что настоящие злодеи — дело прошлого, больше их никогда не будет. Дамы с сожалением соглашались. Только Пайва упорно молчала и улыбалась все презрительнее. Романистка отвечала очень бойко. Архитектор в очках сиял от гордости. Спор у буфета продолжался минут пять. По мнению мосье Изабе, этого было совершенно достаточно, тем более что на тарелках уже почти не оставалось бутербродов и пирожных. Гости были переведены назад в гостиную и там разбились на группы. Прежнего стеснения не было. Фульд опять оказался рядом с Пайвой и уже переходил в словесное наступление: он не любил терять даром время, а это дело безнадежным не считал. Хозяйка говорила с мужем писательницы. Барышни занимали сенатора. Мадемуазель Генриетта показала ему великолепный дагерровский аппарат, полученный ею от отца в подарок ко дню рождения. Аппаратом неожиданно заинтересовалась и Пайва, — сенатор, как перышко, поднял и перенес ящик, хоть аппарат был чрезвычайно тяжелый.

Мадемуазель Генриетта, робея, объясняла маркизе устройство дагерровского аппарата, вынула из ящика прямоугольную камер-обскуру с поднимающейся крышкой, йодную коробку с выдвижной пластинкой, хорошенький домик для ртути с термометром и со спиртовой лампочкой внизу. Набравшись храбрости, она предложила маркизе как-нибудь, при случае, ее снять. Но Пайва решительно отказалась.

— Это слишком утомительно, — сказала она, — ведь, кажется, надо сидеть неподвижно минут двадцать?

— О нет! Лишь бы платье было не белое, тогда в солнечный день, на террасе десяти минут совершенно достаточно.

— Все равно... Это тоже превышает мои силы.

По просьбе писательницы мосье Изабе показал свою коллекцию миниатюр. Вокруг него столпились гости, любуясь чудесными портретами. Мосье Изабе со вздохом называл имена, — все эти люди давно умерли.

— Это бедный римский король... Это герцогиня Ангулемская... Это княгиня Волконская, русская... Я ее писал в Вене, на конгрессе... Ах, какая была красавица... Право, лучше вас! — сказал он, обращаясь к маркизе. Мадмуазель Генриетта даже вздрогнула, с удивлением взглянув на отца; но мосье Изабе улыбался спокойно-добродушно, зная, что Пайва не обидится. Пайва только гордо улыбнулась.

— Это, дорогой друг, вам так кажется потому, что вы тогда были лет на сорок моложе, — сказал Фульд.

— Очень может быть... Это герцогиня Дино... А вот опять русская, княгиня Багратион. Она еще жива... Очень красивые русские женщины, — сказал мосье Изабе и залпулся. Он вдруг вспомнил, что у сенатора была много лет тому назад неприятная история в России, где он кого-то убил на дуэли. Этот поединок создавал барону огромный престиж у дам. Мосье Изабе подумал, что, быть может, лучше было бы не говорить о России. «Впрочем, нет, он сам был женат на русской и чуть ли не на родственнице убитого...»

Разговор о России нисколько не был неприятен сенатору. Он подтвердил, что в Петербурге видал много писанных красавиц. Узнав, что сенатор долго жил в Петербурге, Пайва заговорила с ним по-русски. Но по-русски барон знал очень плохо.

— «Lioubliou...», «Otchen krassiva...», «Skolko stoit?..» — выпалил он. — J'ai tout oublié, madame, et je le regrette. J'adore tout ce qui est russe*.

Фульд, любезно улыбаясь влиятельному сенатору, рассказал о важной миссии, которую тот недавно выполнил с большим успехом. В этой миссии барону была предоставлена полная свобода действий. Отпуская его в Вену, император Наполеон сказал: «Vous avez assez d'esprit et de monde pour n'avoir pas besoin d'instructions»**.

Сенатор не остался в долгу и, ввернув комплимент по адресу министра двора, рассказал о своей беседе в Берлине с царем. Заговорили об императоре Николае. Дамы спрашивали, так ли он действительно красив, как на портретах.

— Теперь он стар, но лет двадцать тому назад, когда я его увидел впервые, величественнее не было человека на свете, — подтвердил сенатор.

Разговор тотчас перескочил на политику. Фульд сказал, что, к несчастью, война с Россией была неизбежна.

Мосье Изабе, вдруг рассердившись, стал доказывать, что война нисколько неизбежной не была.

— Зачем нам и русским ни с того, ни с сего резать друг друга? — сердито спрашивал он.

И министр и сенатор улыбались.

— Поездка князя Меншикова в Константинополь и вся политика императора Николая сделали войну для нас вопросом чести, — сказал Фульд.

— Это я слышал много раз, на моей памяти были десятки войн, и все они были совершенно ни к чему... Говорю это вам, как когда-то говорил генералу Бонапарту, — сказал с раздражением мосье Изабе, и тотчас эти слова «говорил генералу Бонапарту» произвели магическое действие на слушателей. Все вопросительно уставились на старика, ожидая продолжения.

— Неужели говорили генералу Бонапарту? — с любопытством спросил Фульд.

— Ну, да, говорил... Помню, однажды в Мальмезоне я у них обедал. Первый консул вышел к столу мрачнее тучи: как раз перед обедом он получил сообщение об убийстве императора Павла... Все шепотом говорили, что теперь война неизбежна...

Он замолчал.

— А что же первый консул?

— Le premier consul! Il se fichait bien de ce que je lui disais***, — ответил мосье Изабе. Все засмеялись. Маркиза Пайва попросила хозяина рассказать о королеве Марии-Антуанетте.

— Говорят, вы ее знали, но этому, право, трудно поверить!

— Конечно, знал, — подтвердил мосье Изабе. — Я был юношей, когда впервые ее увидел. Мне поручено было написать портрет маленьких

* Я все забыл, мадам, жалею. Я обожаю все русское (франц.)

** У вас достаточно ума и опыта, чтобы не нуждаться в инструкциях (франц.)

*** Первый консул! Он не считался ни с чем, что я говорил (франц.)

племянников королевы, герцогов Ангулемского и Беррийского... Сижу я в детской, пишу... Вдруг суматоха, бегут люди: «Королева идет!» Я обмер... Вошла... — Мосье Изабе задумался. — Тоже красавица была...

— Ну, и что же?

— Села подле меня, смотрит... С тех пор я привык к королям, много их перевидал на своем веку. А тогда было в первый раз, да и не такое было время: мы их считали богами, а не людьми. Пишу и дрожу... Она улыбулась, встала, поцеловала племянников, а мне говорит: «До свиданья, дитя мое, вы очень хорошо работаете»... Видно, я ей понравился: через три дня меня пригласили в Трианон писать королеву... А с тех пор и вошел в их общество. На балах бывал, дурачился...

— А потом? — спросил архитектор.

— Что потом? — сердито переспросил мосье Изабе. — Потом была революция, вы, верно, слышали? Казнили королеву... — сказал он, и, как утром императрице Евгении, всем вдруг стало страшно.

— А вы знаете, господа, — сказал сенатор, — из Мексики только что получено печальное известие: скоропостижно, от холеры, умерла графиня Росси...

— Графиня Росси?.. — бледнея, повторил Фульд.

— Кто это — графиня Росси? — спросил архитектор.

— Разве вы не знаете? Генриетта Зонтаг...

— Не может быть!..

Фульд был поражен. Он в молодости увлекался Зонтаг — и чрезвычайно боялся смерти.

— От холеры!..

Старшие из гостей вспоминали знаменитую певицу, ее красоту, ее триумфы, соперничество с Малибран, их шумевшую ссору, их примирение.

— Вы помните, английский посол в Берлине тщетно домогался ее руки... Как его звали?.. Забыл...

— Несколько человек покончило из-за нее самоубийством...

— Это прусский король устроил ее брак с молодым Росси...

— Да, и тогда она должна была, бедняжка, бросить сцену по требованию семьи мужа... В расцвете сил и таланта...

— Хорошо, что Росси разорился и ей не так давно пришлось вернуться на сцену.

— Да, после двадцати лет!

— Но публика ее встречала так же восторженно, как прежде...

— Ну, все-таки не как прежде...

— Бедная! Поехала на гастроли в Америку, чтобы умереть там от холеры.

Фульд с ужасом представлял себе смерть Генриетты Зонтаг: эта богиня в холерных корчах, на постоялом дворе, в Мексике!..

Гости еще поговорили о графине Росси, о других, новых певицах. Затем госпожа Изабе усадила дочь за флигель-фортепиано — муж забыл главную цель вечера: надо было показать таланты Генриетты. В четыре руки с учителем музыки она сыграла что-то из Бетховена. Ее игру очень хвалили. Даже маркиза Пайва, сама прекрасная музыкантша, сказала ей комплимент. Мосье Изабе, вошедший во вкус воспоминаний, сообщил, что встречал Бетховена в Вене, на конгрессе.

— Очень странный был человек... Его у нас тогда совершенно не знали. Но один мой приятель, князь Разумовский, уже в ту пору предвидел его нынешнюю славу.

Учитель музыки сообщил, что в последние годы жизни Бетховен готовил новое произведение, по сравнению с которым померкли бы все другие. Оно должно было называться десятой симфонией. В нее Бетховен хотел вложить всю свою душу. Однако ему так и не удалось написать десятую симфонию, только мечтал — и, мечтая, умер.

— Неужели? — спросил мосье Изабе, на этот раз с искренним интересом. Он вздохнул и задумался. — У всякого человека есть своя десятая симфония, — сказал он.

— Это правда, — подтвердил, глядя на маркизу, Фульд, уже успевший успокоиться после неприятного известия. Ему хотелось высказать глубокую мысль. — В сущности, ведь мы все неудачники.

Гости засмеялись, — так неожиданны были эти слова в устах человека, которому решительно все удавалось в жизни. Удивление гостей льстило Фульду, но он отстаивал свою мысль. Разговор принял характер философский. Романистка привела цитату из Гете. Фульд и сенатор могли подержать разговор и о Гете.

Гости разошлись в одиннадцатом часу, зная, что старику хозяину не следует засиживаться поздно. Мосье Изабе со свечой в руке поднялся по лестнице. Спальные в его квартире были расположены во втором этаже. Умывшись, он в темно-красном шелковом халате зашел к жене и посидел минут пять у нее, обмениваясь с ней впечатлениями. Жена говорила, что Пайва неприятная, наглая женщина, что ее пригласили совершенно напрасно.

— Вместо того, чтобы быть благодарной порядочным женщинам, которые ее принимают, она протягивает два пальца!..

Мосье Изабе ласково успокаивал жену. Он знал, что спорить, по существу, бесполезно; ведь все сумасшедшие. Теперь эта мысль у него окончательно определилась и упрочилась. Скрывая зевоту, он доказывал, что мадам Изабе ошиблась, что Пайва, в сущности, была очень любезна, что внешняя резкость — просто ее манера, объясняющаяся всей ее жизнью и, быть может, застенчивостью.

— Это она застенчивая? Только ты можешь такое сказать!

— Да и Бог с ней! Вечер сошел прекрасно...

С этим госпожа Изабе согласилась. Все было очень хорошо.

— Фульд был очень любезен. Но вот кто, действительно, очаровательный человек, это барон. Такой милый и такой интересный!..

Мосье Изабе неохотно согласился. Ему не очень нравился сенатор.

— Да, приятный человек...

— Мало сказать, приятный. Он просто очарователен!.. Как жаль, что он вдовец и настолько старше Генриетты. Почему ты улыбаешься? — с досадой спрашивала госпожа Изабе. — Я знаю, что Генриетта тебя мало интересуется. Ты все думаешь о твоей первой семье... Я отлично знаю, мы обе с Генриеттой ровно ничего не значим, лишь бы Евгению было хорошо!

Мосье Изабе так же ласково это отрицал: он больше всего любит ее и Генриетту. Фульд, наверное, найдет для Генриетты жениха. Она еще очень молода.

Успокоив жену, он поцеловал ее в лоб и ушел в свою спальню.

...Свой длинный развивает свиток...

Пушкин

В спальне Мосье Изабе по вечерам приводил в порядок старые бумаги, которых у него накопилось чрезвычайно много. Для этой работы, занимавшей его в последнее время, он заказал в большом количестве папки, портфели, алфавитные указатели. Хоть писал Мосье Изабе не так много, у него на столе всегда были в изобилии карандаши всех цветов и величин, превосходно очиненные перья, сургуч, баночки с песком. Неразобранные бумаги лежали в ящиках стола. Мосье Изабе поставил свечу на стол, зажег о нее другую, сел, надел очки и принялся разбирать бумаги. Он брал наудачу письмо из кучи и старался по почерку вспомнить, кому оно принадлежало; в большинстве случаев это ему удавалось, зрительная память у него была необыкновенная, но с почерком чаще связывалось лицо, чем имя. Некоторые письма он перечитывал, другие, не просматривая, откладывал в соответствующую папку, совсем ненужные бросал в огонь, — около стола в камине еще горели уголья. Мосье Изабе прекрасно понимал, что после его смерти все эти бумаги никого на свете интересовать не будут, однако работа доставляла ему удовлетворение.

В груди старых писем Мосье Изабе попала карточка в траурной кайме. Он нехотя в нее заглянул, карточка была составлена по-немецки. «Ах, да, еще сегодня о нем говорили... Почему сегодня о нем говорили?» Мосье Изабе не мог вспомнить, и это было ему неприятно. «Да, ничего не поделаешь, уже немного темнеет в голове... А по-немецки, кажется, еще кое-как помню... «Constantina-Domenica, Fürstin Rasoumoffsky, gebo-

rene Graefin von Thürheim, Sternkreuz-Ordens-Dame, giebt hiemit geziemende Nachricht...— что такое «geziemende Nachricht»?..— von dem für sie hoechst betrübenden Todesfalle ihres innigst verehrten und geliebten Gemahls, des durchlauchtig hochgeborenen Herrn Andreas Fürsten Rasoumoffsky...» Да, прекрасный был человек... «Ritter der kaiserlichen...» Это об его орденах... Да, вот тебе и орден! «...Nach Schwertberg in Oberösterreich, zur Beisetzung in der graeflich Thürheimischen Familien-gruft...» * — читал медленно мосье Изабе, больше угадывая, чем понимая значение немецких слов. «Ведь он перед смертью перешел в католическую веру, жена заставила и та, ее сестра, канонисса», — неодобрительно подумал мосье Изабе: он был католиком, но находил, что каждый человек должен умереть в той вере, в которой родился. «Впрочем, он всегда был западный человек... А все-таки, верно, это ему было, бедному, тяжело... Зачем только люди не дают покоя друг другу?..» — Мосье Изабе соображал, в какую бы папку положить карточку, и не придумал: для траурных объявлений не было заготовлено папки. Он вздохнул и бросил карточку в камин. Уголья занялись ею не сразу. Через минуту огонь ухватился за уголок, карточка вспыхнула, сгорела и неровной черной тоненькой коркой опустилась на уголья.

Мосье Изабе работал до полуночи, потом взглянул на часы, потянулся и сделал большое усилие: опершись руками на доску стола, он встал, перевел дух, взял со стола подсвечники и отошел к стоявшему у стены высокому креслу. Он поставил на столик у кресла дрожавшие в его руках свечи и устроился на ночь поудобнее; протер очки, взял со столика толстую книгу. Мосье Изабе спал очень мало, больше урывками — иногда всего пять — десять минут. Читал он преимущественно старые журналы, с печатью покрупнее. У него были переплетенные комплекты за очень много лет. Здесь были рассказы о том, что делалось на свете в последние сто лет, — мосье Изабе почти все это помнил — биографии знаменитых людей века, — мосье Изабе почти всех их знал.

Он читал, дополняя рассказы тем, что ему вспоминалось, иногда дополнял и воображеньем, — фантазия у него была по-прежнему богатая. Когда он засыпал, ему снились те люди, о которых говорили вечером гости. Просыпаясь, он вздрагивал, оглядываясь на свечу, поправлял очки, с трудом поднимал свалившуюся на ковер книгу и снова читал — или думал. Думал о том, как хороша жизнь, как люди ее не ценят, как не видят всей ее красоты и как всячески отравляют ее себе и в особенности другим.

*Публикация, подготовка текста и примечания
А. ЧЕРНЫШЕВА*

* Константина-Доменика, княгиня Разумовская, урожденная графиня фон Тюргейм, кавалер ордена Штернкройц, настоящим извещает... о чрезвычайно при- скорбном для нее событии, кончике ее глубокоуважаемого и любимого супруга, высококороненного господина Андреаса, сиятельного князя Разумовского... Кавалер царского... подле Швертберга в Верхней Австрии, для захоронения в фамильном тюргеймском склепе... (нем.)

Лев МОЧАЛОВ

Г о л о с а Гефсиманского сада

Монолог Иуды

Пусть кричат, что я — предатель, холуй.
Ты, Учитель, знаешь — это не так.
Знак любви моей — мой поцелуй.
И — последний! — моей надежды знак.
Да восславишься Ты и Твой Отец!
Ну, а нам-то что остается при том?
Пастырь! — Куда ведешь Ты овец? —
На закланье? — Куда все равно придем?!
Не Тебе ли выбрать истинный путь? —
За Тобою каждый — в огонь готов.
Не Тебе ли из искры пламя раздуть? —
Два меча — не то ли, что пять хлебов?..
И не властью ли Твоего Отца
есть у всякой мысли крутой излом:
это я — додумавший все до конца, —
знаю: зло — оно повергается злом!
Да! Монету поставил я на ребро.
Или — или!.. И верь, меня позвала
не корысть. Хочу, чтобы всем — добро!
И молю

о соучастии зла!

В поцелуе мы с Тобою — одно,
повенчаемся, точно жизнь и смерть.
Только Ты, прозревая то, что темно,
разреши, повели

преступать и сметь!

Я всего лишь — черная тень Твоя,
но дарю Тебе реальность, объем.
Чтобы — как сказал, — Крещенье твоя,
Ты крестил и Духом Святым, и огнем!
Лишь безумье — в мире — что-то творит.
Разумение — не творит ничего.
Я — безумец? — Пусть! Что горит — да сгорит! —
Отчего же мрачнеет

Твое чело?..

Что ж!.. Тебе, Учитель, Твое торжество
обеспечу! — Всю принимая вину.
Возлюби меня, как врага своего!
Ну, а я — и сам

себя прокляну...

Монолог Петра *

...Отчего толпы толчея, смятенье,
гомон, алчущий зрак фонаря
и движение его, и борьба светотени,
что вершится, из терпкого мрака твоя
части лиц, скользящие блики, мерцанье
шлемов?.. Вот он! — зрак — предо мной!
И — Твое воскрешающий прорицанье —
петушинный крик

в утробе ночной...

Да, отступничество, отречение...
Проклинать себя и принять судьбу?
Но скажи, во имя кого, зачем я
пролил кровь?.. Ухо отсек рабу?..
В ту минуту, когда подступила стража,
с ликованием жизнь готовый свою
за Тебя положить, я не ведал страха, —
кто не дал мне счастливой смерти в бою?!
Я — лишь Камень, властью Твоей десницы
покоренный, выпущенный из пращи,
не умел — не смел! — как вольные птицы,
и споткнулся у первой преграды... Прости!
В столбняке — ужель до скончания века? —
заведенно твержу опять и опять:
«Я не знаю

этого человека», —
потому что не в силах

Тебя понять.
Я-то думал: мы — за Тобою, вместе!
Ты — все принял на себя, одного.
Вновь петух поет на своем насесте,
я сейчас проснусь от крика его...

Голос толпы

О, вчерашний наш господин!
Где же царство твое? — В помине
нет его!

Ты один (один!)
в нашей подлой жизни
повинен!

Мы — то самое большинство,
то беспамятное, — в котором
лиц не видно (ни одного!),
общим

все перекошены

ором.

Мы — толпа. А язык толпы
односложен и крут гораздо:
«У» — угроза. Глумленье —

«БІ».

«А» (растянутое) — злорадство.
Это мы — иль невдомек? —
вождеееем тайно о казнях.

Нынче праздничек,
наш денек!
А какой без кровушки праздник?!
Нынче наша и власть, и сласть.
И по стогнам, точно

по спальням,
воспарить — не то ли, что пасть
во грехе

безымянном

свальном?!

Нынче нашего пира
пора!

И за то, что ползали,
хныча,

и в ногах валялись вчера,
как раба,

распнем тебя

нынче!

* Петр — означает камень.

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НА ВСЕГДА

РОМАН

Часть пятая

Глава первая

Луганов взобрался на крыльцо и позвонил. Дверь открыл Федоров.

— Пожалуйте, — весело приветствовал он Луганова, — ждет.

Луганов отдал ему шляпу и, подойдя к зеркалу, провел рукой по своим только что подстриженным волосам и свежесбритому подбородку. В тюрьме он отпустил бороду и потом так и остался бородатым. Борода была почти седая. Волосы он тоже отрастил, вернее — ему было лень ходить в парикмахерскую, он совершенно перестал следить за своей внешностью. И теперь он с радостным недоумением смотрел на себя.

— Значит, нынче в Москву, товарищ Луганов? Я вас и на вокзал отвезу.

— Да, в Москву, — с тем же радостным недоумением подтвердил Луганов и, не зная, что бы еще сказать, протянул шоферу портсигар. — Папиросочку?

— Охотно. Кто же откажется? — Шофер осторожно взял папиросу своими толстыми, чисто вымытыми пальцами и заложил ее за левое ухо. — На досуге покурю. Спасибо, товарищ Луганов.

Луганов двинулся по коридору. Хотя он знал дорогу, шофер все же пошел его провожать, видимо, стараясь этим подчеркнуть свою симпатию к нему.

Луганов часто бывал у Волкова. Только вчера он был здесь. «Неужели это было вчера, а не месяц, не год тому назад? — подумал он, оставившись на пороге. — И что случилось с этой комнатой?»

Письменный стол, обыкновенно загроможденный папками с делами, был теперь накрыт пестрой скатертью и уставлен бутылками и закусками. Все лампы были зажжены, хотя было еще совсем светло и в окне широко сиял летний закат. И это смещение электрического и солнечного света в густо, до синевы накуренном воздухе придавало комнате и всему в ней какую-то нереальность.

Волков сидел за столом. Он не встал навстречу Луганову, не протянул ему, как обычно, руку. Лицо его было повернуто в сторону Луганова, но выражение его Луганов не мог определить. Должно быть, от освещения, подумал он. Будто он меня испугался.

— Что ты смотришь на меня, как на привидение? Ждал ведь?

Волков весь дернулся, так что посуда зазвенела.

— Еще бы не ждал! Поджидая тебя, я тут... — Он показал на рюмку. — Не узнал я тебя сразу, вот что. Генеральная стрижка. Одобряю. Ну, присаживайся, догоняй.

Луганов сел к столу.

— Не мог же я с бородой и длинной гривой в Москву ехать!

* Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 10, 11 с. г.

— Конечно. Патриархом седым к молодой жене. А так—хоть куда. Снял двадцать лет с плеч вместе с седой бородой. Даже жутко стало, действительно, привидение увидел. Привидение нашей молодости. Вчера стариком был, а сегодня—чем не жених? Крепкий ты человек, двуязыльный. — Он налил ему водки. — Догоняй меня. А то разговаривать трудно. В разных планах. Ты трезвый, а я... — Он показал на полупустой графин.

Луганов внимательно присмотрелся к нему. Сочиняет, верно. Ведь он почти не пьет.

— И без того мы в разных планах. — Волков придвинул ему закуску. — Ты вот прыгать от радости готов, что едешь в Москву, а я... — Он махнул рукой и вздохнул. — Тяжело мне. Мне сегодня многое тебе сказать надо, чтобы ты понял меня. Ну, за плавающих и путешествующих. За твой успех в новой жизни!

Они чокнулись и выпили.

— Многое мне тебе сказать надо, — повторил Волков. — Знаешь, у меня такое чувство, будто навсегда расстаемся, в последний раз видимся. — Он дотронулся до рукава Луганова. — В самый последний раз на этой маленькой земле, а в загробности разные я ведь не верю. Странное у меня чувство. Будто конец и совсем мало времени нам вместе быть осталось.

— Вздор. Ты ведь тоже не сегодня—завтра в Москву приедешь.

Но Волков, не слушая, продолжал:

— Хочется мне перед разлукой поисповедаться и чтобы ты меня простил.

— Простил? За что? Ведь я тебе всем обязан. Я тебе до самой смерти благодарен буду. Я...

— Знаю, знаю. И жене своей, и детям, если таковые народятся, завещаешь вечно Богу за меня молиться. — Он засмеялся. — Только не ем я этого кушанья — благодарности. Не по вкусу мне. А вот если бы ты меня простил...

— Простить? Да за что же, Мишук?

Это «Мишук» прозвучало неожиданно для самого Луганова. Но сейчас, в том состоянии радостного возбуждения, в котором он находился с утра, самые неожиданные, забытые слова могли вдруг вынырнуть из памяти. Но Волков не обратил внимания, не слышал. Он, как всегда, слушал только самого себя.

— Подожди. Дай мне поисповедоваться. Потом увидишь, можешь ли ты простить. Только не умею я просто говорить. Говорю, сам знаю, как передовую статью пишут. Полными предложениями. С точками и точками с запятыми. Ты уж потерпи. И слушай внимательно. Никому другому и никогда я этого сказать не смогу бы. Только тебе и только сегодня. Так уж обстоятельства сошлись. Выпала нам с тобой такая минута.

Волков взъерошил свои стриженные под машинку волосы, одернул складки гимнастерки и поправил ремень. «Приготовился к произнесению речи с трибуны, — подумал Луганов, замечая, что движения Волкова менее точны, чем обычно. — Значит, не притворяется, значит, действительно, пил, ожидая».

— Ты ответь сначала. — Волков наклонился через стол. — Веришь ли ты в смерть? В свою смерть? Не отвлеченно, а по-настоящему. Не так, как толстовский Иван Ильич — «Кай смертен, значит» и так далее. Веришь ли ты, что ты умрешь? Думал ли ты о своей смерти?

Луганов поднял голову.

— Конечно. И не позже, чем сегодня ночью. Жалел, что не могу покончить с собой. — Он смущенно улыбнулся. — Ну, ты сам знаешь. — Он запнулся. — Ты не смейся, пожалуйста. Я всю ночь мечтал, что умру, и просил смерти. Сам я не могу теперь... — Он оборвал. — И видишь, не пришлось, не понадобилось. Теперь опять Кай смертен, но это меня не касается. Я живу. И это сделал ты!..

Волков затаился и рассеянно сунул папиросу в сардинки. Масло зашипело.

— Так это я сделал, что ты сегодня не веришь больше в смерть? Ну что же? Очень рад. Хоть смерть тебя все-таки касается, друг мой. Война. Сколько людей погибнет! Может, и мы с тобой.

На лицо Луганова легла тень.

— Да, сколько русских людей через неделю будут убиты...

— Ну, мертвых не так-то уж жаль. Тем война и милосердна, что солдаты тоже думают, хотя и не этими словами, что Кай смертен, но это их не касается. Да и что о них? О всех не напечалишься. Я не о них. Я о нас. О тебе и о себе. Надо иногда откровенно поговорить. Предельно, до конца откровенно.

Он снова налил себе и Луганову, чокнулся с ним и выпил.

— Ты вот, наверно, думаешь, что я вообще слишком много ораторствую и тебя слушать заставляю? Правильно. Плохая привычка с молодости, с митингов. Но сейчас я иначе. Будто наедине со своей совестью. О чем? Да все о том же, для чего жил. О России, о революции, о партии. Вот завтра начнется война. И все во мне взбаламутилось, как в ведре с помоями. Всплыла на поверхность дохлая мышь, картофельная шелуха, всякая дрянь. А хочется все рассмотреть, понять, что это и зачем попало сюда, в ведро.

Заведет опять волынку, тоскливо думал Луганов. Ему не хотелось сейчас слушать Волкова.

— Вот, — начал Волков и вытянул шею нервным движением. Выключил в ораторский контакт, подумал Луганов. Спросить его сейчас или лучше подождать, дать ему выговориться? Нет, лучше подождать.

А тот уже говорил:

— Я сегодня весь день провел один. Один в этой комнате. Я ходил взад и вперед и все думал, думал. Было о чем подумать. Такой уж день выпал. Мне вдруг стало необходимо понять многое и себя самого. О себе ведь я никогда не думал и о других тоже. Живых людей как-то не замечал, жил среди идей и идеями. А тут вот захотелось многое понять. Я сегодня перевспоминал всю свою жизнь и всех людей, с которыми меня жизнь столкнула. Разные это были люди, до чего разные! И разное они говорили. Все их слова вспомнил — память ведь у меня так и осталась великопепной. Все вспомнил: и слова, и слезы. Слез было много, часто приходилось видеть слезы. Вот смеха, улыбок совсем мало. Мало у нас на Руси смеются, а улыбаются и того меньше. Неулыбчивый мы народ. И смеемся чаще всего издевательски, злорадно, оскорбительно. Или это в моем присутствии у людей проходит охота весело смеяться? Так вот я вспоминал, вспоминал весь день. Думал о том, что навсегда отказался от своей человеческой личности, что беспрекословное, нерассуждающее повиновение стало моим нравственным законом. Я всегда гордился, что действовал искренно, без сделок с совестью. А вот сегодня... Сегодня...

Он нетерпеливо одернул складки гимнастерки.

— Заговариваться начал — выпил много. Так вот. Я о русском народе думал, о том, правильно ли я судил о нем. Знаю ли я русский народ? В молодости мы боготворили народ. Народ был всегда и во всем прав. Ни в одной литературе мира — сам знаешь — нет такой идеализации народа, как в нашей. Мужик и мудр, и свят, и невинный страдалец. И мы шли в народ, мы шли в революцию жертвовать собой ради блага народа. Революция, сделанная во имя народа и при его народной помощи, потому что, покуда революция позволяла жечь, грабить, насиловать и разрушать, народ был за нас, эта самая революция рассеяла иллюзии кающихся дворян и развенчала мужика, разбив легенду о его святости и мудрости. Наша ставка на мировой пролетариат была реальной и жестокая ставка. Народ в наших глазах одновременно стал и средством для осуществления великой цели, и препятствием на ее пути. Средством были его выносливость, его привычка подчиняться палке, его бесчисленность, делавшая неисчерпаемыми наши человеческие запасы. Препятствием были как раз те народные свойства, за которые мы в молодости народ боготворили, — косность и упрямство, казавшиеся нам когда-то мудростью и святостью. Партия с этой мудростью и святостью боролась всеми доступными средствами, а — сам знаешь — средства у нас неограниченные. Производили всевозможные опыты над народом, как в лаборатории над морскими свинками. Резали по живому мясу, ломали и снова срачивали кости. Наблюдала, прирастет ли отрезанная нога к подбородку. Опыты, что и говорить, мучительные. Вот я сегодня вспоминал, как и я производил эти опыты. И напрасно! Лучше бы не вспоминать. Ужас, первозданный хаос ужаса, и при том — российская неразбериха. Лучше бы не вспоминать — понять

все равно ничего нельзя. Ведь даже заслуженные, выдавшие виды партийцы, ужаснувшись зверствам коллективизации, бросились к Великому Человеку с криком: «Нельзя так! Нельзя!» Но Великий Человек спокойно ответил своим знаменитым ответом: «Эх вы! Тараканов испугались!» И опыты продолжались. Был у меня один помощник. Удивительно милый, совсем еще молодой. Убежденный коммунист, но несогласный с методами партии. Тогда, в начале, это еще допускалось. Надо лаской, любовью убеждать надо. Послали его на хлебозаготовки. Охраны с собой не взял. Нагрузил купе мануфактурой, табаком, — вот, говорит, мои пулеметы. Увидите результаты. И увидели. Был я на его похоронах несколько дней спустя. Хоронили его без золотых зубов. Вот весь день думал, а лучше бы не думать. Тошно мне от дум, от воспоминаний. Кутерьма в голове. Ставлю себе вопрос и боюсь найти ответ. Весь день промучился. Весь день кровь, стоны, слезы вспоминал. Ужас, бессмыслица!

Он шумно отодвинул стул, шумно встал и подошел к окну, за которым торжественно догорал закат. Луганов смотрел на его спину и напряженно думал. Но совсем не о том, о чем ораторствовал Волков. Ему действительно хотелось задать Волкову вопрос. Его весь день смутно преследовало воспоминание о подписи на одном из листов его дела. Чей это почерк? Ему уже вчера показалось, что почерк очень знакомый — но чей? Женский почерк, кажется. Сейчас, после третьей рюмки водки, ему показалось, что он знает, чей это почерк. Сердце его стало тяжелым, и он почувствовал боль в груди.

— Послушай, — начал он. — Скажи мне. Я хочу тебя спросить...

Волков резко повернулся.

— Что? — почти крикнул он. — Спрашивай! Я на все отвечу.

Красный свет заката, как пожар, освещал его лицо. И Луганову снова показалось, что Волков боится его. Но ему некогда было останавливаться на этом странном ощущении.

— Послушай, — начал он, и голос его задрожал, теперь и ему стало страшно. Сейчас, сейчас он узнает. Может быть, чудо воскрешения только обман и он сейчас упадет в первозданный хаос ужаса, о котором только что говорил Волков. — Я хотел спросить совсем о другом. Вчера ты мне дело показывал. И там одна подпись... Покажи, пожалуйста.

Волков смотрел на него шалыми, пьяными глазами, будто не понимал, о чем он просит. Веки его вдруг заморгали, и лицо на минуту снова стало спокойным и властным.

— Зачем? — спросил он совсем другим, деловитым тоном. — Друзьям своим мстить хочешь?

— Ах, нет, какая месть? Но там одна подпись... женская... — Он открыл рот, как рыба на песке, и перевел дыхание. — Кажется, знакомая. — Боль в груди настолько увеличилась, что он прижал руку к сердцу. — Покажи...

— Женская? — переспросил Волков удивленно, и брови его сдвинулись. — Женской не было. Почудилось тебе. Никакая твоя поклонница на тебя не доносила. Только твои друзья-братья.

— Но как же?.. Ведь я сам видел.

— Почудилось тебе. Никакой женщины среди доносчиков не было. Я-то ведь не раз и не два читал их доносы. Впрочем, посмотрим вместе. Проверим.

Он подошел к шкафу и открыл его. Шкаф был пуст.

— А, черт! — Он раздраженно захлопнул дверцы шкафа. — Вывезли уже все дела. Если хочешь, я тебе папку с доносами в Москву пришлю. Можешь сохранить себе на память. Ведь теперь дело о писателе Луганове кончено.

Луганов покачал головой.

— Не надо. Раз ты помнишь, что, кроме трех доносов... Может быть, мне и правда показалось. Раз ты уверен...

— Еще бы не уверен! Будь спокоен, ни поклонница, ни бывшая любовница, ни даже одна из твоих секретарш не приложила руки к этому. Нет. — Он налил еще по рюмке себе и Луганову. — Нет, женщины здесь ни при чем. Ну, выпьем за милых женщин! И за самую милую из них твою жену.

Луганов почувствовал какое-то пасхально-светлое умиление.

— Да, да, за Веру! Спасибо, что вспомнил о ней сейчас. За Веру. — Ему показалось, что тем, что они сейчас пьют за ее здоровье, заглаживается его, пусть только минутное, но все же жуткое сомнение в ней. — За Веру и за нашу с тобой дружбу.

— Два тоста с одной рюмкой — многовато, перегрузка получается. — Волков снова наполнил рюмки. — Эти выпьем молча.

Они выпили. Луганов вздохнул благодарно. Как хорошо, что он спросил, что он решился спросить. Теперь все хорошо, все навеки хорошо. Если бы только Волков не говорил так много. Но тот уже снова ораторствовал, звонко и точно произнося каждое слово, как с трибуны, и лицо его было мрачно сосредоточенно и вдохновенно.

— Так вот. Весь день сегодня продумал. Все-таки не шутка вдруг понять, что все дело жизни поставлено на карту. Спрашивал себя: а стоит ли жить для этого дела? Это, конечно, мой сорок шесть лет мутят. Тридцатилетние коммунисты не задают себе праздных вопросов. Для них все ясно и просто. Все распланировано, разложено по полочкам сознания. Здесь власть, там народ, здесь трудности войны, там мировой горизонт, который откроет победа. Я хотел бы рассуждать, как они. Но не могу. Я сомневаюсь. В чем? В советской власти, которой я служу, или в русском народе, который я сознательно угнетал и должен продолжать угнетать во имя советской власти? — Сделав паузу, он достал из портсигара папиросу и закурил. — В том-то и дело, — сказал он задумчиво, — то-то и странно, что я сомневаюсь в обоих.

Он затащил папиросу и бросил ее, не докурив. «Ему курить некогда, речь еще далеко не кончена, — подумал Луганов. — Вот мне можно». — И он тоже взял папиросу.

— Советская власть и русский народ, — снова начал Волков. — Власть — одно, народ — другое. Народ, как всякий народ, хочет обыкновенных вещей — семьи, собственности, хочет ходить в церковь, спокойно трудиться и по своему усмотрению свободно тратить заработанные деньги. Советская власть хочет вещи необыкновенной — мировой революции — и во имя мировой революции гнет Россию в бараний рог и подавляет естественные стремления народа. Одним словом — обыкновенный народ, попавший под необыкновенную власть. Но, как ни сильна власть, наивно, неразумно верить, что она сохранится навеки. Власть или переродится с течением времени и станет народной, или рухнет, сброшенная народом. Одним словом — советская власть пройдет, Россия останется. Так думают почти все. Представь себе, я тоже делил Россию на советскую власть и на угнетаемый ею русский народ. Другое дело, что я желал власти полной победы во всем. В том числе и в борьбе с русским народом, его косностью и предрассудками. Я жалел народ, страдавший исключительно за то, что революция началась именно в России, и что поэтому вся тяжесть ее упала именно на русские плечи и русскую землю. Но революция мне была дороже.

И вот сегодня я спрашиваю себя: не ошибся ли я, отделяя советскую власть от русского народа? Не ошибся ли, когда думал, что веду борьбу с косной народной волей во имя высшей справедливости? Не стали ли мы, напротив, незаметно для себя, не перевоспитателями народа, а исполнителями его воли, темной, глухой, утробной воли, направленной на зло, на разрушение, даже на саморазрушение? Воли, которую мы же развязали, которая овладела нами и переродила нас. Не она ли несет теперь меня, партию и Великого Человека, как океан щепку? Не она ли рвется переплеснуться через пределы России и поработить мир? Может быть, это и не так. Я не делаю выводов, а только задаю вопросы. Но то, что я задаю себе такие вопросы, смущает и поражает меня.

Луганов курил. Курия, ему было легче слушать. Он следил за дымом папиросы, и дым понемногу придавал его мыслям другое направление, увел их за собой. Дым... Это уже не был дым папиросы, это был густой белый дым, вырывающийся из трубы паровоза, увозящего его в Москву. Луганов вздрогнул и шире открыл глаза. Неужели он задремал? Волков по-прежнему сидел напротив него и говорил. Не было никакого сомнения в том, что он продолжал говорить. Сквозь дым, все еще застилающий глаза, Луганов видел, как он открывал и закрывал рот, произнося слова, но самих слов он не слышал: дым заволок не только его глаза, но и уши,

и внимание. Луганов дернул головой, освобождаясь от него, и слова Волкова сразу громко зазвучали. Теперь Луганов снова слышал и понимал, что говорил Волков. Окно успело потухнуть, закат сгорел дотла. Теперь свет шел только от ламп, никакого смешения электричества и закатного солнца больше не было. Откуда же этот фантастический отблеск, лежавший на всем вокруг и в особенности на бледном лице Волкова? «От водки, — подумал Луганов, — и еще от того, что очень накурено». И он стал слушать.

— Триста лет татарско-прусской византийской традиции — такой была наша национальная власть, рухнувшая в семнадцатом году...

«О чём он? Ах, да, ведь я пропустил кусок его рассуждений, не беда, и так все понятно. Пусть выговорится, пусть! Когда мы еще увидимся? Какой милый, болтливый, и до чего я его люблю».

— Но над кем она властвовала? — Волков взглянул на Луганова. — Ты что тарачишься, будто спросонок, усыпил я тебя, что ли?

— Что ты, что ты! — запротестовал Луганов. — Продолжай, это так интересно.

— Интересно? — насмешливо переспросил Волков. — Эх, брат! Для меня это — кровь сердца, а ты — интересно. Ну, да и на том спасибо, что слушаешь.

Он снова встал и прошелся по комнате.

— Так на чем я остановился? Да... Над кем властвовала наша национальная власть? Над странным, очень странным народом, самой основной чертой которого была неопределенность. Много русских лиц я за сегодняшний день перевспоминал, тысячи и тысячи. Но, знаешь, неопределенные какие-то лица. Все в них как полагается, все на месте — рот, нос, глаза, — а целого человеческого лица как будто не получается. Хотел себе представить характерное русское лицо и не мог. Что-то расплывчатое, недоделанное. И пришло мне в голову, что самое характерное в русском человеке и есть эта недоделанность, расплывчатость. Неопределенность лиц, неопределенность характера, неопределенность отношения к добру и злу.

Луганов старался слушать, но полоса паровозного дыма снова проплыла перед его глазами, покрывая собой лицо Волкова, заглушая его слова. Надо встряхнуться, а то, того и гляди, заснешь. Луганов зацепил вилкой кусочек чего-то розового с тарелки, положил его в рот и с удивлением почувствовал копченый и соленый вкус этого розового. Ему почему-то казалось, что сейчас он, как во сне, не чувствует никакого вкуса. Он пожевал немного, но проглотить не смог. Глотать не хотелось. Мускулы отказывались сделать необходимое движение. Луганов осторожно выплюнул то, что было у него во рту, в угол салфетки, и от этого движения дым вдруг разорвался и бледное лицо выглянуло из него, как луна из туч. Луна, лицо Волкова, ставшее луной. Где, когда, в какой стране, в каком сне он уже видел это превращение Волкова в луну? Он дернул головой, стараясь понять, вспомнить. Разве все, что сейчас происходит, происходит вчера, а не сегодня? Ведь что вчера луна сказала — «Я советую тебе перейти к немцам». «Перейти к немцам?..» Но сейчас это ничего не значило. Чудо воскресения изменило все, изменило мир и дало в этом мире новое место Луганову. Чудо, озарившее, преобразившее все окружающее, не коснулось только одного Волкова. Нет, он был прежний — мрачный и бледный и по-прежнему утомительно многоречивый.

— Мы ленивы и нелюбопытны. — Волков сделал широкий жест и сбил рюмку со стола. Луганов услышал звон разбивающейся рюмки. «Стекло — к счастью, — радостно подумал он. — Вздор. Неужели я опять стану суеверным? Как до катастрофы, до тюрьмы?» Ему хотелось засмеяться, таким забавным ему показалось, что он может стать суеверным теперь.

— Стекло к счастью, — сказал он, смеясь. — Ты разбил рюмку.

Волков посмотрел на него с недоумением.

— Рюмку? Ах, да. К счастью? К какому счастью?

— К нашему, к нашему! — крикнул Луганов. — К твоему и моему счастью. К Вериному счастью!

Волков поморщился.

— Приметы? Черные коты, тринадцатое число, разбитое зеркало и всякое такое, как старушка-богоделка? Нет, черный кот и тринадцатое число — это, кажется, к несчастью, к смерти, а не к радости. Впрочем, ну их к черту, приметы! Не до них. Слушай, так я повторяю. «Мы ленивы и нелюбопытны», — сказал Пушкин. И правильно сказал. Следует еще прибавить — равнодушны и беспамятны. Русский народ — единственный из всех народов, не любящий и даже не помнящий своего прошлого. Прошедший день, едва он прожит, исчезает для русского человека навсегда.

«Неужели исчезает навсегда? Неужели и для меня когда-нибудь исчезнет сегодняшний день, неужели он перейдет в прошлое, превратится в воспоминание? Неужели он перестанет вечно длиться, этот сегодняшний день, с его рассветом, чудом воскрешения и этим сумбурным томительным разговором?» Луганов не мог решить: голос Волкова зазвучал вдруг очень громко, мешая думать. «О чем это он? Я опять пропустил часть его рассуждений».

— Из всех царей, — Волков как-то особенно звонко отчеканивал слова, явно стараясь привлечь к себе внимание «аудитории», — из всех царей, повторяю, в народе только о двух царях живет благодарная память. Об Иоанне Грозном и Петре Великом, вздернувших Россию на дыбы, вернее, на дыбы с почти большевистским искусством. Их одних, несмотря на всю свою беспамятность, русское сознание не забыло, о них одних по-настоящему горевали и плакали. Уж очень оба угодили народу, уж очень пришлись ему по вкусу, уж очень ловко кожу с него живьем сдирали. И Великого Человека должны не забыть. И в день его смерти должна стоном застонать русская земля: «На кого ты нас, сирот, покидаешь?..»

Волков сделал паузу и вдохновенно откинул голову назад, обеда комнату взглядом совсем так же, как обводил взглядом слушавшую его тысячную толпу. «Может быть, ему кажется, что он на трибуне, — подумал Луганов, — и он ждет аплодисментов и одобрений, и тишина удивляет его. Нет, тогда бы он не говорил этого. Нет, это он для меня, для одного меня старается. О милый, глупый! Зачем старается?» Ему хотелось дернуть Волкова за рукав и крикнуть: «Брось! Хватит! Поговорим лучше просто на прощание или помолчим вдвоем». Но он понимал, что этого сделать никак нельзя.

Он стал рассматривать пестрые узоры на скатерти, укладывая слова, которые произносил Волков, то в синюю, то в красную часть узора не до смысла слова, а по звуку его, и это занятие очень развлекало его. Как интересно! Он прежде не знал, что слова бывают разноцветные и так легко образуют узор.

А Волков продолжал говорить, и слова его, кроме звука и цвета, все-таки обладали смыслом, доходившим до сознания Луганова. Он продолжал произносить свою речь, и надо было слушать.

— Неопределенность характера, соединенная с большой одаренностью, сделала нас вечными раздражителями. Мы все и всегда заимствовали у других народов. От придворного церемониала до революционных идей — все у нас было заграничное. Заимствуя, мы опаздывали на пятьдесят лет, наново открывали давно известное или искажали заимствованное до неузнаваемости и тогда принимали искажение за самобытность. Никто так много, как мы, не толковал о прогрессе, но, в сущности, мы все, от царя до мужика, были враждебны прогрессу. Мы были в одно и то же время консерваторы и анархисты, расточители и скупцы, стрекоза и муравей в одном лице. Наше отношение к остальным народам — смесь самодовольства и самоунижения. Мы — странный, странный народ. Самое удивительное в нас то, что, хотя кроме самовара, мы не создали ничего самостоятельного, мы — глубоко оригинальный народ, не похожий ни на какой другой на свете.

Если всмотреться в русскую историю и в русский характер, иногда кажется, что мы только притворяемся, что мы такие же люди, как все, а на самом деле мы — чужие, пришельцы на этой планете. Не оттого ли мы так хотим ее переделать, не щадя ни своей, ни чужой крови?

— Что же, по-твоему, — вдруг спросил Луганов, — русские даже уже и не люди?

Ему не хотелось спорить, ему было совсем не до споров и рассуждений. Ему хотелось сердечно простившись с другом, поскорее сесть в авто-

мобиль, приехать на узловую станцию к московскому экспрессу. Стук колес зазвучал в его ушах, длинный, отчаянный свисток радостно отдался в его сердце. Скорей бы, ах, скорей! Но он все-таки не мог не запротестовать.

— Значит мы, русские, даже не люди?

Волков пожал плечами.

— Кто спорит? Конечно, люди. Только недоделанные какие-то: полуфабрикат. Да, я уже отмечал, что самое характерное для нас — недоделанность какая-то, неопределенность. С кем мы? С Богом или с чертом? В том-то и дело, что мы и с Богом, и с чертом. Сразу. Черт, конечно, часто перетягивает русского человека на свою сторону. Зло ведь слаще, соблазнительнее добра. Но и добро таит в себе непреодолимую притягательную силу для русского сердца. Сколько у нас на Святой Руси было мучеников, подвижников! Одни староверы чего стоят. Но чаще всего добро и зло вместе хозяйничают в русской душе. Недаром русский разбойник крестится, занося топор: «Господи, благослови!» — прежде чем хряснуть им по черепу жертвы, по поговорке: без Бога — ни до порога. Страсти? Ну, конечно, те же у нас, как и у всех других. Только мы, русские, доводим свои страсти до пароксизма. Нет у нас золотой середины. И смеемся мы над европейцами за их умеренность, аккуратность, бережливость, смеемся и презираем их. Кто это сказал: «Широк русский человек, я бы сузил»? Как правильно! Сузить надо бы. Слишком широк, слишком разнообразен, оттого и неопределенен. Оттого так неопределенно и его отношение к добру и злу. Можно первому встречному последнюю рубаху свою отдать и крест свой, с шеи сняв, подарить ему, а потом можно, пожалев о подарке, зарезать его, чтобы отобрать назад свою рубаху и крест. И с одинаковой легкостью и уверенностью в правильности своего поступка, сознавая, что достоин одобрения. Одобрение русский человек ценит превыше всего: «Правильно, товарищи? Так я говорю, товарищи, или нет?»

— Не так, не так, — вдруг всполошился Луганов. — Нет, нет, неправильно, товарищ Михаил, нет! Ты черт знает куда занесся и что плетешь.

— Разве? — Волков посмотрел на него хмуро, исподлобья. — И то правда, заношусь. Выпил не в меру. Ну, еще по одной, чтобы у меня все в голове перепуталось, чтобы я думать больше не мог. Не берет меня водка сегодня. Или, вернее, не так берет, как полагается. Вот язык заплетаться начинает, а голова ясна, и скажешь мне тебе еще столько надо. Ведь сегодня единственный мой шанс поговорить. Поговорить перед долгой, может быть, вечной разлукой.

Он налил себе еще рюмку и выпил, не закусывая.

— Да ты слушай и не перебивай. Мне надо высказаться, все высказать, что годами накопилось. Так на чем я остановился? На неопределенности характера русского народа. И все-таки есть у нас одна удивительная черта. И действительно вполне национальная, вполне оригинальная. Ни у кого ее не позаимствовали: хулиганство. Зло, не приносящее выгод, зло для зла, так сказать, фантазия души. Знаменитый Андре Жид вот об *acte gratuit**, преступлении, не приносящем выгоды, преступлении просто для преступления, написал много страниц. Не верит французский умник, что оно возможно. А у нас на Руси каждый день сотни таких *actes gratuits* творится. От наливания в почтовый ящик керосина, потом — чирк спичкой, и десятки писем сожжены, до вопроса, задаваемого первому встречному: «Извиняюсь, гражданин, в Пскове бывали?» — после которого, независимо от ответа: «Да, бывал» или «Нет, не приходилось», следует оплеуха, сшибающая прохожего с ног. Классические, всем известные примеры. Но, конечно, полет народной фантазии не ограничивается ими. Хулиганство — это, главным образом, страсть к разрушению. Любит русский народ разрушать. Чувствует упоение, разрушая. Даже себя, свою жизнь разрушить готов ради этого упоения. Гуляют «на отчаянность», пьют так, что мертво под стол валяются, а пляшут... Видел ли ты, как мужик пляшет? Уж он из сил выбился, багровый, потный, на лбу жилы надулись, глаза на лоб лезут, а он все подскакивает, как мяч, вприсядку, все притопывает, все ногами кренделя выделывает, руками машет под неистовый рев гармошки. И зрители в восторге неистовствуют... Жги! Жги! И он все стара-

* Бесплатное действие (франц.).

ется, он все старается, пока, совершенно обессилев, не упадет, широко раскрыв хрипящий рот, уставившись остекленевшими глазами в потолок. И тогда в судороге последнего восторга он хватается руками за ворот и — трах... Лучшая праздничная рубашка — пополам. Жест этот символичен — самоистребление, саморазрушение. Не его вина, что его бычье сердце не допнуло. Но вместо сердца — трах — пополам лучшая, праздничная рубашка.

Луганов постучал вилкой о стакан.

— Прошу слова. Предыдущий оратор картинно описал русскую пляску. Однако проглядел в ней главное, а именно вдохновение, творческий момент. Эта страсть к саморазрушению, это «трах — и рубашка пополам», есть одна из разновидностей вдохновения, знакомая писателям, ученым, художникам, одним словом — творцам. Минута, когда кажется, что достиг совершенства, и желание навсегда раствориться в этом совершенстве, взлететь к небу и рассыпаться звездной пылью. Бакунин был прав: «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Эх, товарищ Волков, «не осуждать, не возмущаться, не проклинать, а понимать надо». Это еще Спиноза сказал.

— Спиноза, этот старый жид? Кстати ты его вспомнил! Как раз о еврейском вопросе я сегодня думал, но о нем поговорим потом. Вот я сказал «жид», вздрогнул и оглянулся. Сегодня и это себе позволю. Все позволю. До чего приятно во рту подержать, как конфету, которая тает на языке, — «жид». Ведь за «жида» три года тюрьмы несознательным гражданам полагается! — Он рассмеялся. — Советская власть умеет перевоспитывать народ, это правда. Ну, давай кончать о хулиганстве. Кстати, советская власть косо смотрит на всякие национальные черты — не одобряет. Не одобряет она и хулиганства. Старается его с корнем выкорчевать из русской души. А все-таки ничего сделать нельзя. Как напьются, так и звереют. Был здесь в колхозе-миллионере весной такой случай. Гуляли на свадьбе. Веселая, богатая свадьба была. Пей, ешь — не хочу. Один из гостей подрался с другим гостем, и хозяин его выгнал. Но гость сумел вернуться и ухлопал хозяина. Тогда остальные гости убили его и за компанию и того гостя, который затеял драку. Одним словом, «наутро там нашли три трупа».

Луганов вдруг возмутился.

— Послушай, ты уже хватаешь через край! Видно, и в тебе советская власть не вытравила национальной русской черты — звереешь ты от пьянства. Чего ты только не наплел? Стыдно тебе. Брось. И пить перестань.

Луганов протянул руку за графином, но Волков, нахмурившись, отвел его руку.

— Оставь! Мне сегодня надо пить, оттого и пью. Давно уж я все это чувствовал, только как-то до конца не решался самому себе признаться в том, что думаю о русском народе.

— Но ведь это все пьяное преувеличение, чушь, ерунда. Я не хуже тебя знаю народ, с детства знаю и люблю.

— А мама Катя? — вдруг шепотом спросил Волков.

Луганов растерялся. Нет, этого Волкову говорить не следовало, об этой смерти сегодня вспоминать совсем не следовало. В том полупьяном табачном тумане, в котором теперь блаженно плыл Луганов, не было места для воспоминаний об этой смерти.

Волков продолжал сидеть перед ним. Его бледное лицо было ярко освещено, его глаза, полные табачного пьяного тумана, смотрели прямо перед собой, поверх головы Луганова. Папироса выпала изо рта на гимнастерку.

— Дырку прожжешь!

Волков взглянул на Луганова.

— Что? — спросил он отрывисто.

Луганов показал пальцем на папиросу.

— Дырку прожжешь!

Волков взмахнул рукой и сбросил папиросу на пол. И с вдруг искаженным от злости лицом раздавил папиросу ногой, не раздавил, а хрястнул по ней каблуком, будто это была не папироса, а паук или мокрица. Потом придвинул к себе графин и выпил еще рюмку водки.

— Что же, — начал он снова, — пожалуй, ты прав. Национальные черты я в себе, конечно, чувствую. Да какой же русский их в себе не чувствует, не замечает? Ты? Ну, на то ты поэт, небожитель, гражданин

вселенной, а не просто русский, как мы все. А мы, обыкновенные русские люди, — «все тараканы, все черненькие». — Он закурил снова, глубоко затянулся и выпустил дым из ноздрей. — Хочешь, расскажу тебе про одного моего приятеля, русского, конечно? Поучительный рассказ и, кстати, иллюстрация к моим словам. Так вот, был у меня приятель в ссылке, в шестнадцатом году. Все он о своем брате горевал. Очень уж любил брата, ну и родителей, конечно. Но главное — брата, по молодости лет. Мы с ним тогда оба еще несовершеннолетними были. Вздыхает, бывало, по брату и по своим, а я — о тебе да о маме Кате. Так на вздохах и подружались. До самой революции так и протосковали мы с ним. Даже во сне он о брате не забывал. Как заснет, сейчас — «Ванька, Ванька» — звать начинает. Потом потерял я его из вида, встретились только недавно, года три тому назад. И не то чтобы очень постарел, а беспокойный какой-то стал, и глаза очень усталые.

— А брат твой? — спрашиваю.

— Расстрелян, — говорит, — давно.

Я пособлезновал.

— Ничего не поделаешь, — говорит. — Жертвы нужны. Нельзя без жертв.

Как-то однажды встретились мы с ним, пошли вместе в ресторан, закусили и выпили порядочно. Тут он мне и стал рассказывать о расстреле брата.

— Не надо, — останавливаю его.

А он трясет головой.

— Никогда я еще никому этого не говорил, а сказать необходимо. И ведь кто лучше тебя знает, как я его любил?

И рассказал. Вскоре, как мы с ним расстались, это и случилось. Вернулся он в Москву. Брат его офицером был, на войне дрался, пока мы в ссылке сидели. А теперь занимался контрреволюцией. Заговоры устраивал, покушения всякие. Но любви их и дружбе это не мешало. О политике и своих взглядах они никогда друг с другом не говорили. У каждого свои взгляды, своя деятельность. Умные они оба и смелые были. Тот, контрреволюционер, особенно ловкий был. Никак его поймать не удавалось. Только с братом одним и то изредка виделся.

Ловили его, ловили и, наконец, попросту приказали моему приятелю позвать его к себе обедать, чтобы у него на дому арестовать его.

По щечке Волкова пробежала судорога.

«Что это? С каких пор у него? Прежде не было», — подумал Луганов.

— Да, — продолжал Волков. — И пообедали. Так вместе, как мы с тобой сейчас за столом сидели, и водку вот так же пили, и разговаривали по душам. А после обеда... Он в окно смотрел, как брата арестовывали, сажали в автомобиль, только он его и видел, — Волков запнулся. — И, знаешь, он мне рассказывал, странно это и страшно. Так искренно он тогда с братом говорил. Всю ему душу открыл, все сердце перед ним наизнанку вывернул. Будто уже с мертвецом, а не с живым говорил. Все до конца ему открыл — все сомнения и обиды. А у какого революционера их нет? И веришь ли, несмотря на ужас, на горе, чувствовал что-то похожее на удовлетворение. Сидел с братом, любил его и еще мог его спасти. Смотрел то на брата, то на стрелки часов в гостиной. Еще было время, еще можно было его спасти. Еще можно, еще не поздно... Пил с ним. Душу ему свою открывал, а ни за что не выпустил бы его из дому, пока не пришли его арестовать.

Да, странно это и страшно. Ведь дрожал и, кажется, жизнь отдал бы, чтобы спасти брата. И как он его любил! До чего он, ожидая, что вот за братом придут, мучился, как смертельно тосковал, а удовольствие все-таки чувствовал.

Волков налил себе еще рюмку, рука его дрожала.

— По-твоему, как? Негодяй?

Луганов кивнул.

— Негодяй, — сказал он коротко.

Волков посмотрел на него сквозь табачный дым долгим, внимательным, острым взглядом.

— Как ты просто судишь! А ведь твой Христос учит: не судите, да не судимы будете. Нет, друг мой, совсем это не так просто. Негодяй. Впрочем, не знаю. Может быть, и негодяй. Только мучился он потом, ох, как мучился. Вряд ли в нашем аду черти больше грешников мучают, чем он самого себя. Он после часто со мной брата вспоминал. Сколько лет прошло, а все забыть, все успокоиться не мог. Детство общее и всякие там чувствительности, как клещ в собачье ухо, в сердце вьедаются — не вырвать. Негодяй? А, по-моему, пожалуй, и не негодяй: на нем, как и на мне, как и на большинстве из нас, много невинной крови было. Многих он сам на расстрел послал. И вот — если бы он спас своего брата, стал бы он самым обыкновенным убийцей — палачом. Не идейным коммунистом, а палачом просто. Это значило бы, что он убивал оттого, что чужая жизнь для него гроша ломаного не стоит, что вывести в расход, прихлопнуть чужого человека нетрудно. А как коснулось своего, родного, кровного, любимого, — так осечка. Не могу, он мой брат и все такое. Не могу...

Если бы не мог, тогда, по-моему, и стал бы подлецом — негодяем — палачом. А так он поступил правильно, нравственно. Правильно, и никогда не жалел. Мучился, тосковал, ночами не спал, но не жалел. И если бы пришлось еще раз...

— Ну, хорошо, допустим, — морщась, нетерпеливо перебил Луганов. — Но почему, откуда удовольствие взялось?

Волков вытянул палец, будто указывая на что-то не видимое Луганову.

— А тут как раз национальная черта и выступает наружу. Это, друг мой, как раз наше русское, нам одним понятное. Хочется поговорить и что-бы тебя слушали со вниманием. И одобрение высказывали твоему уму. Слушатель нужен, понимаешь? Живой слушатель. А где его в нашем Союзе найдешь? Как не почувствовать удовольствия?

Он наклонился через стол.

— Отлично я его понимаю. Что может быть приятнее и слаще, чем безнаказанно поговорить? Вот и я сейчас до чего с тобой язык распустил! И все о недозволенном. Но я в тебе, мой друг, уверен. И как уверен! Луганов улыбнулся.

— Дурной ты, право. Еще бы ты во мне уверен не был. Разве мы с тобой не друзья?

Волков пожал плечами.

— Раз даже брат брата предал, что друзья...

— Нет, нет, как ты можешь! — крикнул Луганов. — Даже шутя, как можешь? Ведь мы, помнишь, еще в детстве поклялись в дружбе до самой смерти.

Волков весь как-то съежился.

— Клялись? Разве клялись? До самой смерти? Представь, позабыл. А ведь, выходит, правда. «Устами младенцев». Дар предвидения, что ли, у младенцев бывает. — Он откинулся на спинку стула, глаза его стали пустыми и мечтательными. Славный ты мальчик был, Андрей, — мягко сказал он. — Добрый, благородный. И настоящий друг.

— Друг до самой смерти, — Луганов протянул ему руку через стол. Но тот не взял его руки.

— Ты погоди с сердечными рукопожатиями. Дай мне договорить, тогда и посмотрим, захочешь ли ты мне руку пожать.

— Вот вздор! Что бы ты ни сказал, что бы ты ни сделал, ты мой друг до самой смерти, — Луганов засмеялся. — Право, смешно.

Волков все так же мечтательно смотрел на него.

— И смеешься ты отлично. Так открыто, честно. Эх, Андрей, жаль мне тебя. «Дернул же меня черт с моим умом и талантом родиться в России». Это Пушкин о себе говорил, но и к тебе подходит. Дернул же тебя черт родиться в России. Жаль тебя.

— Нет уж, пожалуйста. Говори о себе и о том, что думаешь, все, что хочешь, буду слушать. А обо мне брось. И, главное, не жалей меня. Вот ты утром сказал: «Приятно счастливого человека увидеть». И ты прав. Я совершенно счастлив. И не только от того, что со мной случилось чудо. Нет, мне вообще повезло. Ведь большинство людей живут в полном одиночестве, будто замурованные сами в себе. И кругом только тени людей.

А я, подумай, как мне повезло. Я встретил на земле все, что только есть лучшего, — идеал матери, идеал жены, идеал друга.

— Перестань! — крикнул Волков, поднимая, будто для защиты, руку. — Молчи!

— Нет, дай мне. Не все тебя слушать. Послушай и ты меня. Да, идеал матери. Мама Катя...

— Молчи! — Лицо Волкова исказилось, и по нему снова пробежала судорога. — О маме Кате не смей, не смей!..

Луганов удивленно смотрел на него. Опять эта судорога, дергающая его щеку. Отчего? Откуда? Ведь раньше никогда не было.

— Ты не волнуйся, но это правда. Вы все трое — мама Катя, Вера и ты, — все трое так близки мне, все трое в моем сердце. Мама Катя дала мне жизнь, Вера украсила ее, осветила, как солнце, а ты спас меня, будто вторично заставил меня родиться. Вы трое...

— Трое? Троица? Святая Троица, которую ты в сердце хранишь? — Лицо Волкова медленно покраснело, и Луганов увидел злобу, блеснувшую в его взгляде. — Святая Троица? Здорово придумал. Только маму Катю исключи из нашей компании. Ей совсем не место со мной и твоей женой.

— Отчего? Оттого, что она умерла? — догадался Луганов.

Волков отодвинул от себя тарелку резким движением.

— Перестань. Довольно! — Он провел рукой по глазам, и злоба исчезла из них. — Ты извини меня, — сказал он прежним мягким тоном, — нервы. И устал я очень. Не могу я о маме Кате слушать. Больно. Пожалуй-ста, прекрати.

— Я только хотел... Ведь ты сам сказал, что мы, может быть, в последний раз видимся, я хотел, чтобы ты знал, как я тебя...

— Ах, друг мой. Я и так все знаю, больше тебя знаю.

Луганов растерялся. Разговор принял совсем неожиданный оборот. Нет, он этого не хотел, не так мечтал проститься с другом. Михаил был сегодня какой-то колючий, жесткий, к нему ни с какой стороны нельзя было подобраться. От водки, должно быть, не привык, не умеет он пить.

Волков встал, одернул гимнастерку.

— Я ведь еще не кончил. Не перебивай. А то с такими лирическими отступлениями...

— Нетрудно и на поезд опоздать, — закончил весело Луганов. Он старался бороться с мрачностью Волкова и прикидывался, что не замечает ее.

Волков засунул руки за ремень и прошелся по кабинету.

— Ну, на этот поезд ты вряд ли опоздаешь. Есть поезда, на которые никогда не опаздывают.

Луганов кивнул.

— Да, на поезда, идущие в будущее.

Волков махнул рукой.

— Терминология у нас различная. Очень уж ты до высоких слов охоч. Но не в этом дело, а в том, что времени у нас достаточно. И ты успеешь меня выслушать.

Он дошел до темного окна и прислонился лбом к оконному стеклу. Луганов молчал. «Поезд в будущее никогда не опаздывает», — как музыка, как шум вагонных колес, как стук его собственного сердца, отдавалось в его ушах.

— Ты спросишь... — вдруг неожиданно заговорил Волков и повернулся к нему.

«Спрошу? О чем? Никаких вопросов у меня больше нет. Все мои вопросы навеки решены, на все получены ответы, — подумал Луганов. — Это ты спросишь, а не я, так и отвечай на них сам. А я хочу только проститься с тобой, поцеловать твою небритую щеку, поблагодарить тебя и ехать, ехать, ехать».

— Ты спросишь, — повторил Волков, — почему же я не отрекусь, не уйду, не порву со своим прошлым, раз я открыто признаюсь в своем разочаровании в советской власти и в Великом Человеке?

Он медленно подошел к Луганову и остановился перед ним.

— Нет, не могу, не могу, Андрей. — Он поднял руку и расстегнул воротник. — Если бы я ушел, я стал бы обыкновенным ренегатом, сволочью. Нет, не могу отречься. Не могу. И знаешь, — голос его вдруг изме-

нился и зазвенел, — не только не могу, но и не хочу. Даже если бы меня мучили, пытали. Даже тогда не отрекся бы. Перенес бы. И пытку, и мучения. И ведь уже перенес. Весь день сегодня — будто с меня кожу по кускам срывали, кости пилили. — Он закрыл лицо руками. — Не отрекся. Нет! И не отрекись! — Он постоял с минуту с закрытым лицом, потом опустил руки. — И вот ты уедешь, и я снова буду честно служить партии и Великому Человеку.

«Как он мучается, — подумал Луганов, — и я не нахожу слов, чтобы утешить его, помочь ему. Я слишком счастлив, слишком занят собой. Я опешил, окаменел от счастья. Только бы он не заметил, что мне сейчас нет никакого дела до его страданий, что я не могу даже посочувствовать ему».

— Да, — продолжал Волков, — испытание я вынес. И теперь знаю — навсегда, до смерти я с партией, с Великим Человеком, с революцией. Выдержал экзамен, проверил себя. Страшный сегодня был день для меня. Самый страшный за всю мою страшную жизнь. И ничего. Справился. — Он махнул рукой. — Только не спрашивай, как.

Но Луганов и не собирался спрашивать. Он взглянул на окно. Оно было черным теперь, а только что оно было совсем красным от заката. Красный закат — значит, завтра будет ветрено. «Не для меня, — поправился Луганов. — Меня здесь уже не будет. Я буду завтра в Москве. В Москве, с Верой». На этом нельзя было остановиться, успокоиться, этого нельзя было себе представить. Но и сосредоточить внимание, и слушать было трудно.

Слишком яркая лампа расплывалась жирным пятном в сизом от дыма воздухе. Освет ее играл на графинах и рюмках, на высоком, слегка полысевшем лбу Волкова. И опять Луганов почувствовал фантастичность, присутствующую здесь, в этой комнате, разлитую повсюду кругом. Что-то ускользающее, тревожное, чего он не мог определить словами.

— Я всю жизнь честно служил партии и революции, — вдруг донеслось до него из ускользающей нереальности. — Я считал, что несчастья русского народа только временны, что они необходимы для блага всего мира и самого русского народа. И вот я вижу, что ошибся. Не в революции, нет. Я по-прежнему убежден, что, только пройдя через революцию, мир будет счастлив. Но я не верю больше в революцию, принесенную в мир нами. Я не верю больше, что мир может быть спасен революцией, начавшейся в России. Мы, русские, исказили идею коммунизма, извратили и искалечили революцию. Мы превратили зло, без которого не может обойтись ни одна революция, — в самоцель революции. Зло всегда сопутствует революции, зло, несправедливость, страдание, но мы превратили их в смысл революции. Революция сама по себе — добро. Зло сопутствует ей только временно, как беспорядок, как неурядица не вполне еще налаженного дела. Зло должно исчезнуть, раствориться в благе, в справедливости, в созидании.

Но русская революция подменила добро злом. Русская революция только разрушала, не созидая ничего. Зло эволюционировало, меняло формы, но оставалось по-прежнему злом. Революция продолжалась, разрушительная, свирепая, как в первые кровавые дни. Русская революция, длаящаяся уже столько лет, приняла чудовищные формы на русской земле. Ведь революция, как и кризис болезни, всегда кратковременна. Но у нас она из кризиса превратилась в хроническую болезнь. Россия, как тяжело больной, мучается в кризисе и не может выздороветь. И не может умереть. Мучается. И революция, которую Россия принесет миру, будет тоже мучением, только мучением...

Луганов положил руку перед собой на стол так, чтобы смотреть на часы на руке. Тонкая, длинная секундная стрелка с невероятной быстротой справлялась с временем. «Вот она обежала круг, и еще одной минутой стало меньше, еще на одну минуту меньше ждать, еще на одну минуту меньше жить», — подумал он по привычке. Но теперь это было неправдой. Жизнь начнется завтра, в Москве. А здесь и потом, в вагоне, только ожидание жизни. Скорей бы, скорей бы оно кончилось. Еще одна минута, еще две минуты прошло... Голос Волкова не мешал часовым стрелкам уничтожать минуты, не останавливал их. Теперь Луганову казалось, что

это не голос Волкова, а громкоговоритель в соседней комнате. Он снова прислушался.

— ...Народ? Ну, конечно, наш народ пойдет воевать. Это тебе не европейцы! Пойдет! Заставят! Кстати, заставлять будут со всей бутафорией «парийтического порыва».

Во время нэпа членам партии было приказано: «Учитесь торговать». Теперь нам прикажут: «Учитесь любить родину». И будем учиться. Стахановскими темпами, в ударном порядке. По радио, в школах, в кино, в газетах—всюду. Отечественная война двенадцатого года, биография героев с Суворовым во главе и прочая, прочая. Родина-мать! Слава героям! Умрем за родину! Ура! Ура! Ура! Заиграют марши. Не удивлюсь, если заблестят погоны. Те самые золотые погоны, которые в начале революции вместе с кожей срезали с плеч офицеров. Зазвонят колокола. Вернут из ссылки попов, еще не подошедших от тифа и голода. Может статься, сам Великий Человек подойдет под благословение Патриарха всея Руси на Красной площади под звон сорока сороков. И такая получится Святая Русь, что батюшки-цари позавидуют на том свете. Святая Русь всерьез и надолго. А когда наступит победа, тут ей и крышка. Ведь Святая Русь, как «родина-мать», как и весь патриотизм, только подсобные средства, продукт скоропортящийся, сегодня в цене, а завтра на свалку—скис, протух.

Придет время, и снова снимут погончики вместе с кожей кой-кого из особенно рьяно научившихся любить «родину-мать». Да и тем, кто поволочет Патриарха всея Руси на расстрел, ловчей будет волочить без погон. Тут и еврейский вопрос может выплыть. Заметил ли ты, что на верхах отношение к ним уже начало меняться, что их положение слегка заколебалось? Еще почти незаметно, но признаки все-таки есть. Евреи—слишком талантливый народ, и каждый еврей—индивидуалист. Они уже сделали свое дело. Не удивлюсь, если в один прекрасный день Академия наук по приказу партии объявит, что Протоколы Сионских Мудрецов подлинны. «Все трудящиеся на борьбу с еврейским фашизмом»—лозунг не хуже всякого другого. Великому Человеку будет даже приятно.

Все это будет потом, после победы. Оттого, что мы в конце концов все-таки победим. Непременно победим. И тогда—что же будет тогда?

«Россия—только трамплин для мировой революции»,—сказал тот, кто лежит в мавзолее на Красной Площади. Кстати, вовремя для себя он умер. «Россия—трамплин для мировой революции». Этого Великий Человек не забывает. Чем сильнее удариться ногами в трамплин, тем прыжок выше. Не беда, если трамплин треснет, если пол-России будет перебито на фронте, вымрет от голода, если волки будут ходить по городам. За красный флаг над Берлином, над Парижем и Лондоном это просто дешево... Ведь русские солдаты не просто пушечное мясо, они еще, как и все вообще русские люди, пушечное мясо революции. Им даже не дадут отдохнуть, для них не будет передышки. Их погонят вперед. Вперед—по еще дымящимся развалинам, по еще не засыпанным могилам. Вперед—за мировой революцией!

Волков сделал паузу и взглянул Луганову прямо в глаза.

— Разобьем Германию. В этом не сомневайся—разобьем!

— Ну, а когда победим?—Волков встал и широко взмахнул рукой.

Должно быть, действительно чувствует себя на трибуне, подумал Луганов.

— А когда победим?—Голос Волкова зазвенел от напряжения.—Тогда что? Что тогда? Победа. Что тогда принесет победа русскому народу, что принесет русская победа остальному миру?—Волков закрыл на мгновение глаза, лицо его казалось теперь грязным и запыленным.—Страшно подумать, что было бы с Россией, если бы Гитлер победил.—Он вздохнул и сделал новую паузу.—Страшно,—повторил он глухо.—Но не менее страшно представить себе, что будет, когда Россия победит. Бедная Россия, бедная Европа, бедный мир!..—Он устало закрыл глаза, но через мгновение он уже продолжал:—И они дадут себя погнать, эти усталые, заморенные, полуживые люди. Не только дадут погнать, но и сами бросятся дико вперед с криком: «Даешь Европу!» Ринутся на Европу во имя всемирной революции, всемирного грабежа и разгула. Наконец-то сбудется мечта, наконец-то:

Мы на горе всем буржуйам
Мировой пожар раздуем...

Столько лет ждали, мечтали, и вот, действительно — мировой пожар. Пожар, в котором погибнет мир.

Волков вынул платок из кармана гимнастерки и устало вытер им вспотевший лоб, совсем как когда-то после речи на студенческой сходке.

— Ты действительно думаешь, что так будет после победы? — Голос Луганова дрогнул.

— Действительно. Уверен. — Волков устало сел за стол, налил себе рюмку и поднял ее.

— За победу! Не хочешь за такую победу пить? Только другой ведь не будет. Тогда я один выпью. За победу.

Он выпил и вдруг ударил кулаком по столу так, что посуда зазвенела и запрыгала.

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья, —

Продекламировал он с пафосом.

Луганов вскочил, опрокинув стул, и подбежал к нему.

— Что? Что? Ты с ума сошел! — крикнул он, хватаясь рукой за плечо Волкова, чтобы не упасть. — Зачем стихи этого сумасшедшего?

Волков почти насильно усадил его рядом с собой.

— Сядь, успокойся, Андрей. Чего ты так вспетушился? Нет, Печерин* не был сумасшедшим. Он был одним из проницательнейших русских людей, он был одним из умнейших людей своего времени. И какая страсть, какая мука нужны были, чтобы написать эти стихи, чтобы понять, что необходимо отречься от России.

И жадно ждать ее уничтоженья...

Уничтожения оттого, что это, может быть, единственный путь к восreshению. Уничтожения во имя жизни.

— Ты пьян, — прошептал Луганов.

Они сидели теперь рядом, и серое лицо Волкова почти касалось лица Луганова, он видел так близко его шальные и совсем пустые глаза. Он чувствовал на своей щеке водочный перегар его дыхания. «Он пьян, — Луганов отшатнулся и закрыл глаза. — Я тоже пьян. Как же я доберусь до поезда, до Москвы, до Веры?» Ему показалось, что он громко спросил это, но, должно быть, только подумал, оттого что Волков, не ответив ему, уже говорил дальше:

— Да, даже тогда, уже тогда... Всегда было одно и то же. Форма менялась, но содержание оставалось неизменным. Можно было только жадно ждать уничтожения России. И как замечательно это у него, у Печерина, помнишь? Он подъехал, возвращаясь из Европы, к границе России, и вдруг ему показалось, что на засыпанных снегом полях, на русском низком зимнем небе он увидел слова: «Оставь надежду навсегда». — Волков ближе придвинулся к Луганову. — Оставь надежду! Уже тогда надо было оставить надежду, уже тогда не было никакой надежды, кроме надежды на уничтожение. Никакой надежды уже тогда, в благополучном, сытом, либеральном девятнадцатом веке, не было для России и русских, — продолжал он. — Уже тогда было ясно, что выхода нет. Но в Дантовом аду хоть всегда одно и то же, а в России зло и мучение увеличиваются в геометрической прогрессии — до самоистребления, до истребления всего мира.

Луганов открыл глаза. Нет, он не мог слушать это, не мог смотреть на серое, дергающееся, исступленное лицо Волкова. И все-таки он слушал, все-таки смотрел.

— Вывод? Знаешь, к какому выводу я сегодня пришел? — зашептал Волков, будто поверял ему тайну. Глаза его расширились. Он почти задыхался, но вдруг махнул рукой, провел ею по лицу и заговорил прежним

* Печерин В. С. (1807—1885) — русский общественный деятель, философ, поэт, эмигрант. Жил в английских монастырях, сохраняя интерес к социально-философским проблемам и русскому освободительному движению. (Прим. ред.)

голосом: — Погоди, погоди. Чтобы понять народ, надо вспомнить его историю. А история русского народа так же странна, как и он сам. История, начавшаяся с того, что народ добровольно отрекся от своей свободы и воззвал к иностранцам — придите и княжите нами. «Страна наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Не только нет, но неизвестно почему и быть не может, пока страна наша предоставлена самой себе...

...Бедный, бедный, неразумный русский народ. И за что ему столько страданий? Нет на свете более несчастного народа. Чего он только не перенес! Татарское иго, крепостное право, Союз Советских Республик. За что? И разве можно перенести столько страдания, столько унижения — безропотно, молча перенести?

И теперь осталось для нас одно спасение, одно, как тогда, в самом начале истории, как тысячу лет назад, — воззвать: «Придите и владейте нами», — иступленно зашептал он.

— Ты пьян! — снова крикнул Луганов. «Пьян» было единственное объяснение.

— Нет, я не пьян. — Волков встал. — Не пьян, — сказал он, отчеканивая каждое слово. — Может быть, я еще никогда в жизни не был так трезв, так трезво не судил, так ясно не понимал, что говорю. — Он опять одернул складки гимнастерки. — Страна наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Придите! Я слышу, как об этом молча умоляет несчастный, голодный русский народ, как об этом молча просят нищие русские деревни, нищие русские поля и леса. Я слышу этот крик, эту мольбу, этот вздох. Придите, пока не поздно! Помогите нам!

— Перестань, молчи, молчи! — Луганов привстал и схватил его за рукав. — Ты что, о победе немцев?..

— Немцев? — Волков с силой вырвал свой рукав из его руки, и Луганов покачнулся, потерял равновесие и едва удержался на стуле.

— Немцев? Раздавим немцев к черту! Тогда только, тогда, после победы... Только тогда, победив, будем иметь право воззвать о помощи, о спасении России. Нет, не немцев призовем, весь мир призовем: придите! Помогите! Понял? — Он молча прошелся по кабинету и остановился перед Лугановым. — Вот это я тебе и хотел сказать. Нет, не думай, я не пьян. К сожалению, не пьян. Все сознаю, что говорю и что делаю. Потом, возможно, бессонными ночами буду вспоминать этот наш последний вечер и как ты тут сидел. Но я не пьян. — Он нагнулся. — А руку ты мне теперь подашь?

Луганов схватил его руку и крепко пожал ее.

— Если бы ты не был моим другом... Но ведь ты мне друг, ближе друга: ты мне брат.

Волков исподлобья почти враждебно взглянул на него.

— Что же, и брат брата... Ведь я тебе только что рассказывал.

Луганов весь затрясся.

— Господь с тобой! Как ты можешь? Нет, я тебя не осуждаю, нет, нет. Если бы это другой сказал... Но ты. Я знаю, как ты Россию... И всю твою жизнь знаю и тебя насквозь...

Он вдруг притянул к себе его голову и крепко, как когда-то в детстве, поцеловал его в щеку.

— Как тебе тяжело, Мишун! Бедный мой, бедный!..

— Ну, ну. — Волков легко толкнул его в грудь и выпрямился. — Без поцелуев, без слез! Ведь мы не институтки. — И он отошел к окну.

Луганов снова нагнулся над часами. Движение секундной стрелки по-прежнему действовало на него успокоительно. Ему казалось, что он видит, как время, слабо тикая, тает, исчезает, приближая его к блаженной минуте, когда...

— Без пяти одиннадцать, — сказал он взволнованно.

Волков дернулся и шагнул к нему.

— Торопиться? Нечего тебе торопиться, успеешь. Не опоздаешь.

— Далеко ехать.

— Да, далеко. И даже очень далеко. Но ты все-таки поживи еще немного со мной, — вдруг жалобно попросил он.

Луганов улыбнулся.

— Как это ты мило сказал — поживи со мной еще немного. Но знаешь, мне совсем не верится, что мы расстанемся надолго. У меня такое

чувство, будто мы теперь навсегда вместе. Или это оттого, что я тебя еще ближе узнал, еще больше люблю, — добавил он тихо.

Волков поднял предостерегающе руку.

— Избавь, как и от благодарности, от объяснений в любви. Не ем я этих кушаний, ты же сам знаешь. Выпьем лучше еще на прощанье. — Он налил две рюмки. — За разлуку!

— А я не свалюсь под стол и не просплю здесь до утра? — Луганов рассмеялся. — Вот комедия была бы! Меня в Москве ждут, а я...

— Да, комедия, — согласился Волков. — А то, право, оставайся, выспишься до утра здесь на диване. Успеешь завтра, а? Оставайся. — Он зорко следил за Лугановым, и складки на его лбу стали еще резче. — Славно ночь проведем вместе. Еще одну ночь...

Но Луганов только молча покачал головой.

— Ну, конечно, — почти с облегчением сказал Волков. — Я ведь знал, что напрасно предлагаю, да и правильно. Раз решено. Ну, выпьем. Пей, не бойся. Поедешь. Федоров, если надо, тебя на руках в автомобиль снесет. И в поезд посадит.

Они чокнулись и выпили.

— Слушай. — Луганов протянул руку вперед. — Знаешь, перед разлукой иногда меняются крестами, то есть прежде менялись, те, кто носил кресты. Но ведь у тебя креста нет, я помню, ты его еще гимназистом снял. А часы, часы тоже всегда при себе, по ним время нашей жизни идет. Мне и пришло в голову. Хочешь, поменяемся часами?

— Поменяемся часами? Ты был и остался романтиком, Андрей. Что выдумал! — рассмеялся Волков. — Часами, как крестами. Символично, а?

— Я бы очень хотел. Я бы до самой смерти не расстался с ними, — настаивал Луганов. — Пожалуйста, обменяемся часами.

Волков не решался согласиться.

— Ведь твои золотые, швейцарские, а мои, хоть «Омега», но... стальные...

Луганов обнял его.

— Ты согласен? Так возьми мои и надень мне свои скорее. И спасибо тебе, Миша. Спасибо, — сбивчиво и радостно говорил он. — Вот,ними...

— Не стоит благодарности. Это я выгодное дело делаю. — Волков надел на руку часы Луганова. — Ну, теперь по этим золотым часам потечет для меня золотое время, — насмешливо и горько сказал он.

— Ты знаешь, — Луганов внимательно изучал циферблат часов Волкова, — мне кажется, и для меня по этим часам время пойдет совсем по-новому. Как будто я жил всю жизнь, чтобы дожить до того, что завтра должно начаться. И всем этим я обязан тебе, тебе одному.

Волков крепко дернул ремешок часов, который он застегивал на здоровой руке Луганова.

— Не за что тебе меня благодарить, не за что. Сказано тебе.

— Ну, хорошо, пусть так. Только вот, я думал еще вчера, что никогда уже ни строчки не напишу, что нельзя писать после того, что я узнал, что я пережил в тюрьме. Ведь я раньше, как и большинство людей, не подозревал даже, какие ужасы таит в себе жизнь. Мне казалось, что нельзя заниматься искусством, раз узнав их. Нет слов, чтобы рассказать, чтобы было понятно другим. Мне казалось, что литература — обман и совсем не нужна. Но теперь мне ясно, что я опять могу, что я должен писать... Вот я сегодня написал стихи. Ты потом прочти. Я оставляю тебе. — Он поднял с пола портфель и достал из него исписанный лист. — Сейчас мне не хочется тебе читать. Ты потом один. Напишешь, понравились ли тебе стихи.

Волков взял лист и спрятал его в ящик стола.

— Непременно прочту. И наперед могу сказать, что понравятся. Нет такой строчки твоей, которая не нравилась мне. Ведь ты такой талант. Ты лучший русский писатель.

Он вздохнул. Луганов тронул его за плечо.

— Чего же ты вздыхаешь? Разве это грустно?

— А разлука? — тихо спросил Волков. — Знаешь ли ты, как мне тяжело с тобой расстаться? Никого и ничего у меня на свете, кроме тебя, нет. — Он снова вздохнул. — Вот часы, одни эти часы да эти стихи останутся.

Он помолчал немного.

— А теперь, — сказал он другим голосом, — а теперь тебе действительно пора ехать.

Луганов засуетился, схватил портфель и встал.

Волков пошел вперед и открыл дверь в коридор. На пороге он остановился.

— Минуточку. Ты мне так и не ответил: простил ли ты меня?

— Простил? — взволнованно переспросил Луганов. — Не прощать, а у тебя прощения просить должен. Чтобы такого человека до этого довели... Ты меня прости. Я вот собой занят, о себе все думаю и тебя не сумел настоящему ни понять, ни утешить.

— Ну. — Волков взял его под руку. — Главное — ты простил. Мне это необходимо было. Теперь опять на семь замков замкнусь, молчать буду, работать буду. Не за страх, а за совесть революции и Великому Человеку служить. Как будто не было сегодняшнего вечера. И все-таки я никогда не забуду сегодняшнего вечера.

Луганов прижал локтем его руку.

— И я никогда не забуду, никогда, Миша.

Ему казалось, что пол коридора движется под его ногами, что ковер в прихожей приподнялся, образуя холм, и ступеньки крыльца вдруг стремительно ринулись вниз, увлекая его за собой. Но Волков был здесь, рядом. Он вел его. Ничего плохого не могло случиться, пока он ведет его.

— А ты знаешь, куда едешь? — вдруг спросил голос над самым его ухом. — Знаешь, Андрей?

Луганов засмеялся.

— Ты думаешь, я так пьян, что даже это забыл? В Москву, в Москву, в Москву! К Вере, вот куда я еду. Кстати, что Вере от тебя передать?

— Не до меня ей будет. Федоров! — крикнул Волков, и Федоров, будто вынырнув из-под их ног, очутился перед ними.

— Есть! — радостно гаркнул он.

— Отвезешь товарища Луганова на вокзал и в вагон посадишь. Все сделаешь, как я велел.

— Есть! — звонко повторил шофер.

— Времени довольно. Не гони. Смотри у меня. Ты отвечаешь мне за товарища Луганова.

— Чемодан уже в машине.

Шофер вытянулся и, круто повернувшись, сбежал по ступенькам к стоявшему у тротуара автомобилю.

Волков осторожно, будто больного, свел Луганова вниз.

— Вот и конец, — сказал он задумчиво. — Не ожидал я, что и это пережить придется.

«Что «это»? — хотел спросить Луганов. — Разлука, что ли? Но ведь не в первый раз расстаемся. — Он повернул голову к Волкову и взглянул на него. — Такое лицо бывает только у человека, который скоро умрет, — смутно подумал Луганов. — Вздор, вздор, это от луны, от лунного света. У меня самого, должно быть, такое же лицо. Нет, вряд ли у меня такое». Он вдруг на минуту почувствовал, что Волков прав и они никогда больше не увидятся, что это действительно конец, конец их дружбе до самой смерти. До самой смерти. Оттого, что смерть Волкова, несомненно, должна скоро наступить, и Волков уже предчувствует ее и томится смертельной тоской. Но это длилось только минуту. «Я пьян, какая чушь в голову лезет», — подумал Луганов и снова взглянул на Волкова. Теперь Волков улыбался, и лицо его казалось совсем обыкновенным, только очень усталым и бледным. «Я пьян, я до чертиков, до зеленого змия, до предчувствия смерти допился». Ему хотелось рассказать о своем смешном предчувствии Волкову, но он сдержался.

— Знаешь, — сказал он вместо этого, — мне тоже сейчас показалось, что мы больше никогда не увидимся. Оттого, что я скоро умру. — Он засмеялся и показал на небо, на луну. — Это все она мутит мозги. Ну, и вода тоже помогает ей.

Но Волков не услышал, он открыл дверцу автомобиля.

— С Богом, — сказал он. — Ты ведь в Бога веришь? — Он нагнулся к Луганову. — Знаешь, — продолжал он так же задумчиво, — может быть, все-таки Бог существует. И тогда ты свою жизнь спас, а я свою жизнь потерял.

— О чем ты? — Луганов старался понять. — О чем?..
Волков махнул рукой.

— Ни о чем. И всего ведь все равно объяснить нельзя. Ну, поезжай. Или нет, постой. — Он вдруг крепко и неумело обнял его. — Все хотел сказать тебе, и как-то стыдно, — быстро заговорил он. — Все смотрел на тебя... Ты, как остригся, опять удивительно на маму Катю похож стал. И глаза у тебя сегодня — совсем ее глаза.

— Это от счастья. — Луганов прижался щекой к его небритой щеке. — До свиданья, Мишук, до свиданья.

— Ну, с Богом, — повторил Волков. — Поезжай.

Автомобиль тронулся. Луганов махал шляпой. Волков неподвижно стоял у крыльца. Его длинная черная тень пересекала тротуар.

Глава вторая

Когда автомобиль завернул за угол, Волков медленно поднялся по светлым от луны ступенькам и вошел в дом.

— Так, — проговорил он, запирая за собой оставшуюся открытой входную дверь. — Так.

Он медленно прошел обратно в кабинет, сел на тот же стул и налил себе водки, но не в рюмку, а в стакан. Потом, достав бумажник, вынул из него сложенный вчетверо листок и, не читая, положил рядом со стаканом. — Так, — сказал он снова, щелкнул зажигалкой и поднес листок к ее пламени. Листок вспыхнул и покоробился. Он бросил его на тарелку, листок быстро сторел, остался только маленький клочок, все, что осталось от молодости, от мамы Кати, от прошлого. «Если со мной»... «Скажи Мише»... Он поднес к клочку зажигалку, и клочок, будто ожив, весь съежился, почернел, зашевелился, как гусеница, и рассыпался пеплом. Волков растер пепел между пальцами, потом выпил водку и встал.

— Так, — проговорил он в четвертый раз и добавил: — Правильно.

Он снял телефонную трубку. Голос его звучал твердо и властно.

— Товарищ Максимов? Поднять с кровати, разбудить! Не такое теперь время, чтобы спать. Всех предупредить. Чтобы через двадцать минут были у меня. Экстренное заседание. Жду!

Он повесил трубку, сел за стол, отодвинул тарелку, положил на ее место папку с бумагами и стал читать.

— Так, правильно, — сказал он, подчеркивая одну из строчек красным карандашом, и перевернул страницу...

...Автомобиль завернул за угол, и Волков, и его тень исчезли, превратились в прошлое, в воспоминание.

Высокие тополя поднимались к небу. В душистых садах спали выбеленные известкой дома, блестящие, как снег под луной. Промелькнуло деревянное кружевное резное здание летнего театра. Его открытая сцена казалась издали голубым подводным гротом, вся залитая, как морской волной, голубым солоноватым светом. Оттуда неслась музыка, сливавшаяся с душистой тишиной кольцом охвативших театр жасминовых кустов.

Луганов закрыл глаза. Теперь он видел московский перрон и Веру. Вот она. Она стояла возле газетного киоска, держа в руках большой букет жасмина. Жасмин? Откуда? Неужели он нарвал его здесь, в этом саду, около этого театра? Но ему было некогда думать о жасмине. Он был весь поглощен Верой. Нет, она еще прелестней, чем он воображал. Ее прелестное оживленное лицо было повернуто в его сторону, и ожидание, сомнение и надежда скользили по нему, как тень, как вода, непрерывно меняя его.

Это была она — Вера — любовь, Вера — возвращенная молодость. И за ней, как фон, Москва, война, победа.

Он выскочивает из вагона, он бежит к ней. Она увидела его и тоже бежит ему навстречу. Он обнимает, он крепко прижимает ее к себе, ее и душистый хрустящий букет жасмина. Обеими руками. Да, обеими руками. Его левая рука крепко обхватила Веру за плечи. Но ведь она не действует, она всегда безжизненно висит на черной перевязи. Как же это? Как может она обнимать Веру? И вдруг он понимает. Да, его рука больше не безжизненна. Чудо было бы неполным, если бы рука не стала здоровой. Ему все возвращено, и рука тоже. Как Иову...

...Автомобиль катился по широкой дороге. Светлая полоса горизонта отделяла таинственно спавшую землю от таинственно спавшего неба. Шелковый шум ветра нежно перекликался с шелестом шин.

Это была прекрасная и торжественная украинская ночь. Первая ночь его новой жизни. Он закинул голову и стал глядеть на черное звездное небо. Над его головой, задевая его волосы, звеня в его ушах, пронеслось великое предчувствие новой жизни. Его глаза наполнились слезами. Он смотрел на звезды сквозь мокрые ресницы. Звезды протянули к нему тонкие, сверкающие, острые лучи, и каждая звезда томительным счастьем вонзалась ему в сердце.

Он опустил голову в блаженном изнеможении. И вдруг почувствовал, до чего он устал. Теперь ему казалось, что с утра прошли длинные невероятные изнурительно-счастливые годы. Ему хотелось выйти из автомобиля, лечь на горячую землю и лежать так, слиться с ней, стать частью ее, частью этой земли и этого неба. Слиться с ними, раствориться в них. Если бы можно было остановить автомобиль, лечь и остаться так лежать навсегда...

Он почувствовал остановку, перерыв движения, но не понял, что это значит. Только когда Федоров обернулся к нему и, улыбаясь, весело сказал:

— Придется вас потревожить, товарищ Луганов. Придется вам выйти посветить мне фонариком. Мотор что-то шалит, — только тогда он понял, что случилась задержка, и забеспокоился, заволновался.

— А мы не опоздаем?

— Пустое, мигом двинемся. Посветите только. Аккурат доставлю к поезду, будьте покойны.

Он осторожно и почтительно помог Луганову выйти из автомобиля и подал ему электрический фонарик.

Мотор был раскрыт. Луганов подошел и с тем же блаженным недоумением заглянул в его темную утробу.

— Мигом, — весело и уверенно повторил шофер. — И не заметите, как все справлю. Только инструмент надо взять. — И он исчез за спиной Луганова.

Луганов стоял у мотора, держа фонарик в руке. Как звезда, подумал он и перевел взгляд на звезды. Звездный свет достигает Земли в двести лет, подумал он и снова взглянул на фонарик. Нет, это чувство счастья не могло так бесследно исчезнуть. Может быть, оно превратится в звезду. Может быть, я держу в руках не фонарик, а звезду, и через двести лет ее свет, мой свет, дойдет до какой-нибудь другой планеты. Ему снова томительно захотелось лечь, прижаться к земле. Он нагнулся, вдыхая горячий запах земли.

«Так вот оно какое, счастье», — подумал он в сотый раз в блаженном изнеможении.

Он не видел, как Федоров подошел к нему сзади, он не слышал выстрела. Перед его глазами вдруг ярко вспыхнул свет. Звезда-фонарь, успел он подумать. Надо бросить. Он хотел разжать руку, но это не удалось ему. Он мягко упал на горячую землю. Рука его продолжала держать зажженный фонарик. Открытые глаза смотрели в небо.

Шофер нагнулся, взял из руки Луганова фонарик, потушил его, положил в карман и, отойдя в сторону, достал из-за уха папиросу, чиркнул спичкой.

Он выкурил папиросу, вернулся к автомобилю, достал из-под сиденья брезент и аккуратно разостлал его на земле. Потом, легко подняв тело Луганова, тщательно завернул его в брезент и отнес в автомобиль. И автомобиль, описав полукруг, покатился обратно в город по той же дороге.

Эпилог

Глава первая

Под шум и грохот увозившего его в Москву поезда Волков читал *Chartreuse de Parme*. Он читал про вступление наполеоновских войск в Неаполь, и ему казалось, что он видит, как все это было. Восторг захлестнул Неаполь. Город проснулся как после долгого, скучного сна. Все обитатели его ожили, помолодели от восторга. Женщины бросали цветы под копыта лошадей французских солдат. Всюду — на площадях, в магазинах, в домах — раздавалась музыка. Пели, пили, танцевали, целовались. Ликовали. Праздновали приход освободителей. Да, это был праздник, настоящий праздник освобождения...

Так когда-то революционные французские войска входили в Неаполь. Но картина вступления наполеоновских войск в Неаполь сама собой превратилась в картину вступления русских революционных войск в Берлин.

Волков думал о том, как Стендаль, если бы он был нашим современником, описал бы все эти чудовищные насилия, зверские грабежи, невообразимое хулиганство, затопившее слезами, кровью и позором Берлин. Как бы описал он превращение народа-героя — в народ-преступник?

Он захлопнул книгу с чувством стыда. Ведь и он принимал в этом участие.

Он встал с дивана, вышел в коридор и прислонился лбом к темному холодному оконному стеклу. Дверь соседнего купе тихо растворилась, и Волков почувствовал тяжелый, липкий взгляд, медленно скользящий от его затылка до каблуков его сапог, вниз и снизу вверх, пока не остановился где-то на его хребте, между двумя позвонками. От точки, на которой остановился взгляд, по всему его телу растекалась волна холода и тошноты.

Волков повернул голову и увидел в щели двери глаз. Один только глаз, ни с чем не связанный, существовавший сам по себе, коричневый, блестящий, похожий на большого майского жука.

— Не спится, товарищ маршал? — спросил из купе голос его секретаря Малевского.

Дверь купе широко распахнулась, и Волков увидел Малевского, стоявшего на пороге. Теперь его глаза потеряли сходство с майским жуком. Это были обыкновенные карие глаза, только немного слишком внимательные и умные для его простоватого лица. За Малевским в глубине у окна темнела фигура какого-то незнакомого человека в куце пиджаке.

— Вы что же, не ложились еще? — притворно удивился Волков.

— Я в поезде никогда не сплю. — В голосе Малевского слышалось самодовольство. Он вышел в коридор и притворил за собой дверь. — Привычка. Приходилось часто ответственные документы возить. И вообще на всякий случай.

Волков догадывался, на какой случай его секретарь не спал сегодня, — на случай бегства его, Волкова, из поезда.

— Зажигалка моя что-то испортилась, — сказал он. — Нет ли у вас спичек?

— Как не быть? Конечно, есть. Для вас запасся. Сам-то я не курю.

Он быстро достал из кармана спички и пачку американских папирос.

— Удобно с вами путешествовать. Не привык я к таким заботам. — Волков с ненавистью смотрел на почтительно державшего перед ним зажженную спичку секретаря и не спешил закурить. И только, когда пламя спички совсем приблизилось к пальцам Малевского, он отступил на шаг и повернулся к окну.

— Не беспокойтесь. Что-то курить расхотелось. — И он стал смотреть в окно. — Вот деревья, — заговорил он снова. — Избитое сравнение, а всегда кажется ночью в поезде, что это не деревья, а призраки бегут мимо. Призраки... Много их, должно быть, в этих местах шляется. Без дела. Жизнь свою жалеют. А стоит ли ее, эту жизнь, жалеть! Как вы полагаете?

Малевский рассмеялся.

— Смотря какую жизнь! Маршалскую, например, до чего жалко, должно быть, потерять. Могу себе представить, до чего...

Волкову показалось, что Малевский издевается над ним, но он кивнул притворно добродушно.

— Ну, ну, полегче. Без подхалимажа, товарищ. Хотел бы я свои пятьдесят два на ваши двадцать семь сменять. И маршалского звания не пожалел бы. С радостью отдал бы его в придачу.

Он зевнул.

— Пойду, попробую уснуть. Дайте мне теперь закурить...

Секретарь распахнул перед ним дверь его купе.

— Приятных снов, товарищ маршал.

Волков вошел в свое купе. Скошенное зеркало шкапчика, в котором вместе с полотенцами находился графин с кипяченой водой, отражало постланную на диване постель и лежавшие на ней четыре тома Стендаля. На закрытом умывальнике стакан по-прежнему ударился о бутылку коньяку и жаловался чистым стеклянным позвякиванием на какие-то обиды.

Все было совсем такое же, как минуту тому назад, когда он вышел отсюда в коридор. И все-таки он почувствовал сразу, что что-то изменилось здесь. Когда он выходил отсюда, купе и все предметы в нем только догадывались, а теперь они знали. И это знание придавало какую-то сочувствующую одухотворенность не только предметам, но и самому воздуху. Будто сочувствие оживило, одухотворило все вокруг, и это от жалости к нему стакан вскрикивал, ударяясь о бутылку.

Волков остановился перед зеркалом и поправил один из многочисленных орденов «иконостаса», покрывавшего его грудь. Теперь этим жестом он заменял прежнее одергивание блузы. Мундир одергивать было незачем, он сидел на нем так плотно и ловко, будто прирос к нему.

Волков сел на диван, рука его дотронулась до одеяла, и он с отвращением отдернул ее. «Какое шероховатое, какое красное!» Папироса, успевшая истлеть, обожгла его губы. Он выплюнул ее прямо на пол, не заботясь о том, что бобрлик может загореться.

— Да, теперь уже совершенно ясно. Теперь уже не может быть ни малейшего сомнения. Ни малейшего, — повторил он громко.

Теперь, когда он убедился, что секретарь не только следит за ним, но даже не ложится, чтобы помешать ему как-нибудь улизнуть из поезда, сомнений, действительно, уже не могло оставаться.

Два часа тому назад, когда Волков на одной из остановок вышел бесцельно побродить, он все еще сомневался. Сомневался, хотя Малевский, оставшийся в вагоне, будто рассеянно приподняв занавеску на окне, следил за его прогулкой по платформе, хотя хавший в жестком вагоне Федоров сейчас же оказался за его спиной, сопровождаемый двумя рослыми приятелями, ребятами из войск НКВД, и они втроем стали ходить по пятам Волкова. Сомневался, вернее, притворялся сам перед собой, что сомневается. Федоров так радостно приветствовал его, так весело ловил его взгляд, что присутствие ребят НКВД почти теряло свое зловещее значение.

Все могло быть случайностью. Он очень устал. Нервы его истрепались. Может быть, он просто начинает страдать манией преследования. Ведь ничего или почти ничего серьезного, в сущности, не произошло. И было спокойнее не думать об этом.

Но теперь уже нельзя было не думать, и он стал вспоминать, с чего это началось. Напрягать память оказалось незачем. Оказалось, что он знал это давно... Это началось в 44-м году, когда, приехав на несколько дней с фронта в Москву, он обедал в Кремле.

За обедом говорили о новом гимне и его словах.

— Что же, слова ничего себе. Подходящие, и все в них правильно, — заметил Великий Человек. — Только, конечно, надо было лучше, задушевнее сказать о том же. Жаль, что никто не сумел. — Он перегнулся через стол к сидевшему напротив него Волкову и взглянул ему в глаза. — Вот твой друг Луганов, наверно бы, сумел. Как песню эту свою...

Волков знал, что Великий Человек говорит о последнем стихотворении Луганова. Волков напечатал его под тремя звездочками в «Красной газете» в первые дни войны. Но ни перед редактором, ни перед Великим

Человеком он не скрыл, что это стихотворение было написано Лугановым в день его смерти.

Стихотворение сразу пришлось всем по душе. Популярный композитор положил его на музыку. Так получилась песня, ставшая как будто неотделимой частью Красной Армии, песня, которую сами солдаты называли «нашей». Ее пели повсюду и всегда. Она была так естественна и проста, что солдатам могло казаться, что они сами тут, сейчас, на месте сложили ее. Она выражала все, что им было необходимо, чтобы воевать, надеяться, терпеть и победить.

— Споем нашу песню, — говорили солдаты, отступая, — все-таки не так тяжело будет.

— Споем нашу песню, — говорили они после выигранного сражения, — с ней победу лучше чувствуешь...

— Споем нашу песню, — предложил Великий Человек тем самым тоном, которым говорили это солдаты на привале ночью у костра.

И все обедающие, их было шестеро, запели. Все, за исключением Волкова. Он не мог себя заставить петь эту песню, он, как всегда, старался даже не слушать ее. На фронте это удавалось ему. В поле или в лесу цоканье копыт или тяжелый шаг пехоты помогали вниманию расплываться. Голоса разливались широко под открытым небом, словно сцеплялись друг с другом, сливались в бесформенную звуковую массу, смешивались с ветром, солнцем или дождем. Можно было не слушать, знать, что это его не касается, что он в стороне, как вон та ель, мимо которой сейчас пройдут поющие солдаты.

Но здесь, в небольшой, накуренной комнате с низким потолком, он чувствовал, что эту песню поют именно для него. Слова ее касались его лба, его ушей, входили в его сознание. Он не мог им сопротивляться. Стены и низкий потолок мешали им улетать. Они оставались здесь. Они оседали на предметах, они наполняли накуренный воздух дымом прошлого.

Волков чувствовал себя глубоко в настоящем. С самого начала войны он целиком ушел в настоящее, в сегодняшний день. Прошлое перестало мучить его. Он зачеркнул его раз и навсегда, отрезал от себя, выбросил из памяти. Его прошлое начиналось с первого часа войны. У него не было другого прошлого. Ничего, кроме настоящего и будущего. Будущее была победа, только победа. Сегодняшний день подготовлял победу и защищал Волкова от воспоминаний, не связанных с войной.

Он смотрел на лица поющих. У всех вместо ртов были круглые черные дыры. Стекла пенсне Молотова сверкали алмазным блеском на его коротком носу. Лампа спускалась низко над небрежно, без затей накрытым столом. Пятна вина и соуса грубо темнели на скатерти среди переполюха стаканов, бутылок и тарелок.

Великий Человек тоже пел. Его спокойный тяжелый взгляд был обращен на Волкова, будто ставя его в центр того, что происходило здесь сейчас. Во взгляде Великого Человека было что-то похожее на предостережение.

Эта песня и устремленный на него непонятный взгляд Великого Человека вдруг лишили Волкова защиты сегодняшнего дня и будущей победы, заставив твердую почву настоящего заколебаться, как будто это не был покрытый текинским ковром пол одной из комнат Кремля, а тряское болото прошлого, готовое засосать Волкова воспоминаниями.

Отчего он так смотрит на меня? Чего он хочет? И он, не решаясь отвернуться, чтобы избежать настойчивого взгляда Великого Человека, опустил глаза. Теперь он видел руки Великого Человека. Они спокойно лежали на скатерти. Правая, сжатая в кулак, покрывала левую, большую, лежавшую совершенно плоско. Руки были белые, очень чистые, правильной формы. Казалось неестественным, что они принадлежали Великому Человеку. Они совсем не подходили ему ни своей белизной, ни своей красотой, резко отличаясь от желтизны его лица. Только спокойствие их, удивительное спокойствие было то же, что в лице и во всей его фигуре. И по этому спокойствию становилось ясно, что они не могли принадлежать никому, кроме Великого Человека.

Но сейчас вид этих знакомых рук был почему-то невыносим. И он снова взглянул в лицо Великого Человека. Лицо Великого Человека казалось усталым. Следы оспы выступали резче, чем прежде на покрытой

морщинами желтой коже. Он старательно пел, показывая из-за больших усов испорченные, криво посаженные зубы. Усы его уже не были черны, и волосы, особенно на висках, сильно поседел.

Как он постарел, подумал Волков. Он гораздо старше меня. А ведь он переживет меня. Мысли его закружились колесом, вдруг перестав считаться с правилами обыкновенного мышления. Толчок. Остановка. Неожиданный вывод: он убьет меня!

Он дернул головой, чтобы освободить ее от нелепой мысли. Какой вздор! Он нагнулся над тарелкой и стал резать баранину. Нож, соскользнув, громко царапнул по тарелке. Вздор, вздор, вздор, мысленно трижды повторил Волков. Он чувствовал себя в полной безопасности. Он сознавал, что он незаменим, необходим, что он один из тех, кто «кует победу». Он ткнул вилкой в кусочек баранины и, не подцепив его, поднял пустую вилку. Движение вилки остановилось между тарелкой и ртом. Он убьет меня, снова и теперь уже совершенно убежденно, как о чем-то, что он давно знает, подумал он. Убьет меня, как он убил Андрея.

У Волкова была твердая, хорошо дисциплинированная голова. Оттого, что он раз и навсегда запретил себе это, ему удавалось почти никогда не вспоминать о смерти Луганова.

Он чувствовал, что с ночи смерти Луганова он очень изменился, что он уже не прежний. Казалось, он должен был еще более ожесточиться, стать еще менее доступным человеческим чувствам. Но с ним произошло как раз обратное. Он стал мягче, добрее. Он стал жалостливым. Будто в нем с той июньской ночи освободился запас чувств, ухидивших прежде на дружбу к Луганову, на романтическую любовь к мертвой маме Кате. Но теперь, когда он запретил себе думать о Луганове и о маме Кате, чувства эти неприятно зашевелились в нем, требуя себе применения. Он, прежде никогда не бывший популярным среди своих подчиненных, теперь стал героем солдат, их знаменем, их иконой. Его боготворили в армии, хотя он и не понимал, за что.

Он научился обращаться с солдатами с ласковой фамильярностью. Он расспрашивал их о их семьях, посылал приветы их матерям и женам. Он научился разговаривать с ними интимно и простодушно, будто он действительно тесно связан с этими солдатами, любит их, интересуется их судьбой. Это была совсем новая для него манера разговора с глазу на глаз, и она нелегко давалась ему. Свою прежнюю митинговую манеру говорить он оставил теперь только на случай произнесения пропагандных речей.

Конечно, он притворялся, он играл роль. Но он понемногу так вошел в свою новую роль, что солдаты действительно стали ему близки. Он чувствовал к ним что-то отдаленно похожее на нежность, на жалость. Особенно на жалость. Он жалел их. Жалел их за их грубость, за их дикость, за то, как безропотно они переносили свою каторжную жизнь, за то, как смиренно они умирали. Так просто, молча умирали — как птицы, как деревья.

Солдаты боготворили его. Они были уверены, что Волков олицетворяет собой победу. И, куда бы он ни приезжал, говорили: «Ну, теперь баста. Теперь начнем немца бить».

И действительно, успех, почти невероятный успех сопутствовал Волкову повсюду.

Чокаясь водкой, солдаты говорили: «За победу, за Волка!». Или даже просто: «За Волка!» — Волк и победа были для них синонимы.

Но с высшим офицерством у него установились холодные и натянутые отношения. Его, конечно, слушали: ведь он на деле доказывал то, что говорил. Перед ним заискивали. Ему завидовали. Но его не любили за популярность в армии и непрестанную удачу. Он стал еще более одинок, чем прежде.

И сейчас, сидя за обедом в Кремле, он чувствовал, что его настоящее место не здесь, а на фронте, среди солдат.

Кончили пить и снова заговорили и наполнили стаканы. Ворошилов потянулся к Волкову, чтобы чокнуться с ним. На его полном, холеном, почти барственным лице появилась лукавая усмешка: «Ну, за победу, за Волка!» Этим тостом он не только издевался над Волковым, но еще нано-

сил маленький укол самолюбию Великого Человека. Ведь официальный тост был: «За победу, за Великого Человека».

Но Ворошилов мог себе позволить многое... Дружба Великого Человека к нему была непоколебима.

И Великий Человек перегнулся через стол с самой добродушной из своих улыбок, с той улыбкой, которой он один умел улыбаться, когда хотел, а это случалось нечасто. Он тоже чокнулся с Волковым. «За Волка!» Но в глазах его по-прежнему прятался огонек, похожий на предостережение.

— А с Лугановым ты все-таки поторопился. — сказал он, помолчав, веско и медленно, будто продолжая прерванный разговор. — Как бы он сейчас пригодился. Жаль...

Он выпил стакан до дна и, поставив его обратно на стол, отвернулся и спокойно заговорил с Кагановичем.

На следующее утро Волков уехал обратно на фронт, и все пошло по-прежнему, будто и не было этого обеда в Кремле.

В 45-м году, незадолго до взятия Берлина, Волкова произвели в маршалы. Это скорее удивило, чем обрадовало его. Для него слово «маршал» было связано с эпохой Наполеона, не имевшей с теперешней ничего общего. Маршал Монсо, маршал Ней — это звучало. Но стоило подставить вместо «Ней» или «Монсо» «Волков» или «Рокоссовский», как получалась «неувязка». Это казалось ему игрой, пусть страшной игрой, ставка которой жизнь, но все-таки игрой. А на игру он был неспособен, он даже в детстве не любил и не умел играть. Надев свой маршальский мундир, он почувствовал в нем себя неловко, не по себе. Не физически, а душевно не по себе. Вскоре к чувству душевной неловкости прибавилась скука. Он заскучал после победы. Ему казалось, что у него уже нет и больше не будет дела. Чем же это кончится? Что будет дальше? Он ждал.

Ждать пришлось не очень долго.

Это случилось на одном из официальных приемов в Берлине. Он, как всегда, приехал поздно, только чтобы показаться, не дать иностранным корреспондентам сплести какую-нибудь очередную басню о причине отсутствия маршала Волкова. Он успел пройтись по всем залам и пожать руки нескольким союзным генералам и дипломатам, он уже собирался уезжать, как вдруг по особому ощущению пустоты в костях понял, что что-то должно случиться. Не вообще когда-нибудь случиться, а сейчас и здесь. Ему захотелось остановиться и оглянуться, но он чувствовал, что этого делать нельзя, что надо продолжать идти к выходу. Идти, уходить, спастись. Но от чего спастись? Какая опасность была там, за его спиной? И даже если там действительно пряталась опасность, ведь он не боялся опасности. Он вообще ничего не боялся, никогда не испытывал страха. Так что же с ним? «Просто нервы», — успокоил он себя и оглянулся.

Ничего необычного не было там, за его спиной. Все было так, как должно было быть на таких приемах. И люди, и вещи, по-видимому, исполняли роли, для которых были предназначены. И свет хрустальной люстры, спускавшейся с потолка, тоже исполнял свою роль, освещая со всем обыкновенную картину.

Конечно, нервы, повторил он про себя с облегчением и оглядел сидевших в креслах дипломатических дам. Это были все те же или такие же дипломатические дамы, как на всех приемах, на которых ему приходилось бывать. Волкову казалось, что они все чрезвычайно похожи друг на друга, все на одно лицо. Конечно, он знал, что это не так. Но для него они были похожи, как похожи между собой негры или китайцы для европейца. Они принадлежали к совершенно другому миру. Все в этом другом мире было так чуждо ему, что только эта чуждость бросалась ему в глаза, мешая ему замечать подробности, которыми эти дамы отличались друг от друга. Они были просто «дипломатические дамы», праздные, элегантные, сверкающие драгоценностями и улыбками. Они неестественными голосами произносили все те же ничего не значащие слова. Они были созданы для того, чтобы «украшать» такие вот приемы. И сейчас они, исполняя свою роль, «украшали» этот прием, хотя ему и казалось, что без этого «украшения» здесь было бы все-таки не так противно,

Он уже хотел продолжать свой путь к выходу, но глаза его вдруг встретились с глазами одной из этих «дипломатических дам». Ему показалось, что кресло, в котором она сидела, вдруг с невероятной быстротой покатилося к тому месту, где стоял он. Он увидел совсем близко неподвижные глаза, светившиеся холодным светом на неподвижном лице. Он хотел отвести взгляд от этого лица и не мог. Но кресло с сидевшей в нем дипломатической дамой уже снова отдалилось и стало у стены. До него не меньше десяти шагов, подумал Волков, как же мне могло показаться, что она была здесь, рядом со мной, эта странная, эта неприятная женщина?

Теперь она, все так же глядя на Волкова, сбросила с плеч длинную соболью накидку и встала. И вот уже она шла к нему. Не было никакого сомнения, что она шла именно к нему. И что шагов, отделявших ее кресло от того места, где он стоял, было действительно десять, — каждый ее шаг отдавался в его голове — он мог сосчитать их. Он чувствовал, как она приближается к нему, как передвигается воздух вокруг нее, расходясь кругами. Он уже попал в его круговорот, он уже был пойман, уже тонул, шел ко дну. И будто для того, чтобы не дать ему утонуть, она протянула ему руку в черной сборчатой перчатке и сказала глуховатым, пустым голосом:

— Не узнаете? Неужели? А ведь я Вера Назимова.

— Не может быть, — растерянно пробормотал он, беря ее протянутую руку. И, несмотря на то, что он взял ее руку, или, напротив, именно оттого, что он взял ее, он чувствовал, что ему уже не спастись, что его уже уносит прошлое. Он стоял перед ней, горбясь от растерянности, почти с отчаянием всматриваясь в нее и не узнавая ее, не узнавая даже ее голоса. — Не может быть. Как вы изменились...

— А вот вы совсем не изменились, — сказала она легко и светски любезно. — Только маршальский мундир... Я так рада. Я так давно хотела с вами встретиться... А помните, как мы с вами в последний раз виделись?

Она рассмеялась, будто их общие воспоминания были так забавны, что она никак не может удержать смеха. Но смех ее не был весел, он звучал пусто и абстрактно и не походил на смех светской женщины.

— Помните, как я перед вами на полу лежала и плакала, а вы меня сапогами топтали? Ах, нет, — тут же прервала она себя. — Это я для красоты преувеличиваю, для пышности. Сапогами вы меня не топтали, нет. Но ведь в прошлом все всегда кажется еще пышнее и красивее, чем было на самом деле.

Она взглянула ему в лицо своими широко открытыми, немигающими глазами, сияющими холодным, застывшим блеском. «Верно, кокаин нюхает», — подумал он, мучительно не зная, что бы ей ответить.

Но отвечать ему не пришлось, она продолжала тем же легким тоном:

— Вы удивлены, что я так изменилась? Не правда ли, и стала гораздо красивее? И все веснушки выведены, ни одной не осталось. И волосы, вы заметили, совсем светлые, почти белые. Это называется: *blond de Luce*. Вы слышали, я снова вышла замуж? За голландского банкира, вон того. — Она кивнула головой в сторону, где на фоне окна какой-то английский генерал разговаривал с седеющим высоким господином. — Мне живет очень хорошо и очень весело. И я страшно богата... — Она неожиданно сделала еще шаг и приблизилась совсем вплотную к Волкову. На него пахнуло ее духами. Духи были тяжелые и сладкие, в них чувствовался запах тубероз, и оттого, должно быть, он вспомнил о тлении, о кладбище. «Туберозы кладут в гроб», — подумал он, стараясь не вдыхать ее духов и все так же растерянно стоя перед ней.

Она вся изогнулась и придвинула свое матово-белое лицо к нему. Крыло райской птицы ее шляпы коснулось его лба.

— А правда, — спросила она шепотом, — правда, что вы Андрея сами расстреляли?

Он отшатнулся от нее.

— Нет, — ответил он, тоже понизив голос до шепота. — Нет, неправда. — Он ответил не ей, а самому себе. Он знал, что она не могла поверить. Но она поверила ему.

— Я так и думала, — сказала она просто. — Для этого надо было бы

негодяем быть. — Ее глаза смотрели на него холодно и зорко. — Нет, вы не негодяй. Негодяй непременно пожалел бы и понял меня тогда... И фантазии у вас не хватало бы. Приказать, конечно, приказали, а чтобы самому, собственными руками... Нет, куда вам! — Она покачала головой и неожиданно рассмеялась, показала пальцем на его часы. — А часы? Часы все-таки с его трупа сняли. Видно, и у вас, товарищ маршал, как у многих героев Красной Армии, страсть к часикам...

— Это Андрей мне сам дал. В последний вечер. Он захотел, чтобы мы с ним обменялись часами, — невнятно и хрипло объяснил Волков. Он не понимал, зачем объясняет. Ведь этому никто не мог поверить. Но она опять сразу поверила.

— Обменялись часами? — тихо и доверчиво переспросила она. — В последний вечер? Как похоже на Андрея. Так романтично. Весь он. — Она задумалась и еще тише прибавила: — Продайте мне его часы!

Он все так же растерянно стоял перед ней, подыскивая и не находя слов для отказа.

— Ведь я не за деньги хочу купить. Деньги, я знаю, вам не нужны. Я вам выгодное дело предлагаю. Может быть, пожалеете, что не продали, да поздно будет. — Она помолчала, ожидая его ответа. — Не хотите, — начала она снова. — Бойтесь, что, если отдадите эти часы, ваша жизнь, как жизнь Андрея, оборвется?

— Я не могу... Я обещал Андрею никогда, до самой смерти... — Ему казалось, что он только подумал, а не сказал это, но, должно быть, он все-таки сказал, и она слышала.

— Обещали? — удивленно переспросила она. — Ну, знаете, это пустяки. Мало ли что мы с вами обещали Андрею...

— Я не могу, — повторил он убежденно.

— Ну что же, воля ваша. — Она вздохнула и опустила голову. Тень перьев ее шляпы покрыла узорами ее лицо. — Что же, ведь я насильно не могу снять их с вас... — Голос ее дрогнул от огорчения. — Дайте хоть послушать, как они тикают.

Она обеими руками взяла его несопротивляющуюся руку, и поднесла ее к своему уху, и стала слушать. Она вся вытянулась и замерла. Лицо ее было теперь еще бледнее, еще неподвижнее. В нем не было решительно никакого выражения. Оно застыло в своей сияющей неподвижности. И эта неподвижность передалась, сковывая не только его мысли, но и его движения. Он не мог ни отнять свою руку, ни отодвинуться. Он понимал, какое странное зрелище представляли они собой и как дико должна была казаться со стороны его растерянная фигура с протянутой рукой и это нелепое слушание часов.

— Так шли минуты его жизни, — сказала она, и веки ее опустились. Она, казалось, собиралась стоять так бесконечно долго, но он не мог пошевелиться. — Вы его часто вспоминаете? — вдруг спросила она, и лицо ее ожило от боли, губы искривились, на лбу появились морщины. На мгновение ее молодое лицо стало старым, изуродованным страданием. — Ах, если бы можно было не помнить...

Она вздохнула. Но вздох ее сразу перешел в смех. Ее руки отпустили его руку и даже слегка оттолкнули ее. Казалось, она уже забыла, что только что слушала тиканье часов Андрея. Она снова вполне владела собой, и глаза ее снова светились холодным светом на ее молодом неподвижном лице.

Волков был просто одним из знакомых, встретившимся ей на этом приеме, и на него нельзя было тратить слишком много времени. Она улыбнулась ему светски-любезно.

— Я, право, очень рада, что мне удалось поболтать с вами.

Она кивнула, ставя этим кивком точку. И, легко повернувшись, пошла к окну, где все еще стоял тот, которого она назвала своим вторым мужем.

Волков смотрел ей вслед. Нет, это не могло так кончиться. Она не сказала самого главного. Им надо объясниться. Но о чем? И какими словами?

Она уже стояла рядом со своим мужем, и ее муж заботливо накидывал ей на плечи длинную соболью накидку. Волков еще постоял немного на том же месте. Теперь ему казалось, что его раскачивает, как дерево

под дождем. Он не знал, сможет ли он идти или упадет, потеряв равновесие. Наконец, он двинулся. Ему казалось, что ноги не слушаются, что руки широко взмахивают, но это, по-видимому, только казалось ему: никто не сторонился его, никто не смотрел на него удивленно. Он дошел до буфета и спросил себе коньяку. И опять ему показалось, что он бесконечно долго берет рюмку и подносит ее ко рту. Как будто между его желанием выпить коньяк и исполнением этого желания встала стена. Рука не слушалась, мускулы не хотели сокращаться, горло не соглашалось глотать.

Но, выпив коньяк, он как-то сразу пришел в себя и успокоился. И следующую рюмку он проглотил легко и с удовольствием.

— В одиночку пить вредно, — сказал, подходя к нему, второй советник посольства Шатров. — Разрешите составить компанию?

Все знали, что Шатров назначен вторым советником только для вида и что на самом деле он всевидящее око НКВД.

Шатров потребовал и себе коньяку.

— Прелестная женщина эта ваша знакомая, — Шатров мечтательно смотрел в зал сквозь стекла пенсне близоручными глазами навывкате. — Какая фигура, движения, шик! Ангелоподобна да и только. А ловка до чего...

Волков поставил рюмку обратно на стол, собираясь уходить. Шатров, дождав его вопроса, заговорил снова.

— От вас ведь, товарищ маршал, тайн нет. А может, вам уже даже известно...

Он сморщил брови и сделал паузу. Пенсне на его носу затанцевало.

— Отчего вы не носите очки? — неожиданно спросил Волков.

— Очки? — От удивления Шатров снял пенсне и даже помахал им. — Видите ли, по-моему, пенсне гораздо изящнее, в нем что-то старорежимное. И к тому же сам Молотов носит пенсне. А очки вульгарны. Так вот о вашей знакомой. — Он надел пенсне и внимательно уставился на Волкова. — Большущую карьеру она делает. Шибко в гору идет. В особенности после того, как подвела под расстрел своего любовника Штрома. — Шатров поднял рюмку. — Молодец баба! Выьем за ее здоровье!

Но Волков отказался. Он уже и так слишком много выпил и торопился. Он попрощался с Шатовым и двинулся к выходу. Идти было легко. Ему удалось обогнуть группу разговаривающих, не задев их, и благополучно спуститься по лестнице.

В подъезде он остановился. Шел снег, и это показалось ему неестественным. Он не знал, действительно ли идет снег или это только кажется ему. По улице проходили две немки, у каждой был закрытый зонтик в чехле. Значит, только кажется? Снег продолжал падать, хлопья его увеличивались и стали складываться в снежный узор, покрывая стены домов, крыши и небо. Но это длилось совсем недолго. К тому времени, когда подъехала машина и он сел в нее, исчезли не только снег и снежные узоры, но даже воспоминание о них.

Ничего не случилось, убеждал он себя. Ровно ничего. Но среди холода и разгрома берлинской ночи он понял, что напрасно старается обмануть себя. Не только случилось, но случившееся было непоправимым и окончательным, хотя он и не знал, в чем оно заключалось.

А раз не знаю, что же об этом гадать? Узнаю в свое время, подумал он, поднимая глаза на освещенную прожекторами полуразрушенную громаду рейхстага. Когда-то он брал под лихое «ура» и этот Берлин, и этот рейхстаг. Когда это было? Вчера или тысячу лет назад? Огромный кусок кумача нырял в волнах света и теней, в дрожащем сиянии ночного неба. На нем ясно выделялись серп и молот. Это был тот же самый советский герб, нарисованный кем-то наспех на клочке бумаги в только что занятом революционным штабом Ленина Смольном. Он был все тот же, похожий на виньетку или на вывеску сельскохозяйственной лавки. В нем было что-то временное, случайное, недоделанное. В нем чувствовалась неуверенность: вот приедет царский генерал на белом коне, сорвет и растопчет этот красный флаг, а нас всех повесит. Неуверенность, смешивавшаяся с ухарством, — будь что будет. А пока

Мы на горе всем буржуйм
Мировой пожар раздуем!

И раздули. И вот мировой пожар действительно разгорается, и этот советский герб, может, скоро станет гербом всей нашей планеты, подумал Волков, застегивая воротник шинели.

Глава вторая

С этого вечера, как ему теперь казалось, жизнь его сорвалась и стала катиться вниз. Но тогда он не сразу заметил это. Он вообще стал замечать очень мало из того, что происходило вокруг него, во внешнем мире. Он как будто перестал видеть этот внешний мир, как он называл его, в отличие от новооткрывшегося для него мира, рисуя его себе очень приблизительно, в главных чертах, почти без подробностей. Может быть, причиной этого была просто порча зрения. Может быть, он незаметно для себя стал близоруким. Но нет, дело было не в порче зрения, а в утрате внимания. Стоило ему сосредоточить внимание, как он снова начинал видеть все окружающее так же ясно, как прежде. Но напрягать внимание становилось все труднее, и ему почти постоянно стало теперь казаться, что окружающее отделено от него кисейной занавеской, за которой скользят всевозможные рисунки и геометрические фигуры. Иногда рисунки образовывали целые картины. Чаще всего это были картины войны, полные движения людей, лошадей и танков.

После встречи с Верой Назимовой он больше не запрещал себе думать о Луганове. Ему казалось, что это будет ему не по силам, что, позволив себе хоть раз сознательно вспомнить прошлое, он начнет беспрерывно мучиться воспоминаниями и с этим бороться будет нельзя. Но это-то как раз и не произошло. Он действительно успел за войну отвыкнуть от своего довоенного прошлого. Почти никаких воспоминаний, несмотря на то, что запрет был снят, не возникало. О Луганове он думал теперь довольно часто, но как-то мельком, мимоходом, без мучений. Он не чувствовал своей вины перед ним. Он просто жалел, что Луганова убили. Кто убил? Об этом он не задумывался. Ему иногда было просто жаль, что у него больше нет друга, которому можно было бы рассказать о том странном ощущении, которое он теперь испытывал. Впрочем, самым странным в этом странном ощущении было то, что он почти ничего не ощущал. Отсутствие ощущений, отсутствие желаний и даже как бы отсутствие себя. Он как-то перестал себя чувствовать, чувствовать свое тело и свое «я». Иногда, ему казалось, он не вспоминал о себе по целым часам. Он как бы отсутствовал для самого себя. Причиной такого отсутствия мог быть бром, который он принимал на ночь, и коньяк, который он начинал пить с утра, чтобы разогнать сонливость, навеянную бромом. Причиной этого могли быть также книги. Чтение теперь занимало почти все его время. Он совершенно забывал о себе за чтением романов, как бы переселяясь в героев. Не в одного, не в главного героя романа, а во всех действующих лиц, безразлично, женщин или мужчин, детей или стариков. Он жил многообразной, раздробленной, противоречивой жизнью книжных персонажей, забывая о своей действительной жизни и о самом себе.

Иногда он ненадолго выныривал из этого отсутствия и небытия в окружающую его реальность и, сознательно напрягая внимание, присматривался к ней. В такие минуты он все ясно видел и замечал. Однажды, в одну из таких минут, он, захлопнув книгу, увидел себя сидящим в читальне офицерского собрания за круглым столом красного дерева. Вокруг стола стояло еще три кресла, но они почему-то были не заняты, остальные читающие сидели у темных, закрытых шторами окон или по углам комнаты. «Должно быть, из уважения ко мне, чтобы не мешать мне», — догадался он. Это было ему приятно. Ему всегда мешала назойливая любезность окружающих. Он не мог нигде показаться без того, чтобы несколько человек сразу не пристали бы к нему. Он был слишком крупной фигурой. Многим хотелось хоть на минуту приблизиться к нему, быть увиденными рядом с ним, погреться в лучах его славы. Ему приходилось охранять себя от слишком бурного натиска лести, искательности и восхи-

щения. И сейчас он с удовольствием заметил пустоту, образовавшуюся вокруг места, на котором он сидел. Но чувство удовольствия сменилось удивлением, когда он увидел, что никто не подходит к нему здороваться, хотя он явно кончил читать и даже отложил книгу, что никто не берет со стола, у которого он сидел, новых журналов, только что прибывших из Москвы. Это настолько удивило его, что он на следующий день решил произвести проверку: действительно ли произошла перемена в отношениях к нему или это только кажется ему.

Он пришел в офицерское собрание очень рано и, сев за еще пустой стол, заказал себе обед. Он медленно ел, наблюдая, как занимают места за столом. Прежде как-то само собой выходило, что обедающие старались группироваться вокруг Волкова как можно теснее, быть поближе к нему. Но сейчас, будто случайно, они усаживались у противоположного конца стола. Понемногу и остальные места стали занимать, но два стула слева и справа Волкова так и остались пустыми. На них не нашлось охотников. И Волкову стало ясно, что его избегали. Настроение за обедом было мрачное и настороженное. И даже водка не внесла обычного оживления. Пили мало и были начеку. Волков, притворяясь веселым и общительным, все время обращался к обедающим с расспросами, стараясь вовлечь их в разговор. Справа, через стул от него, сидел молодой генерал, и выражение его лица уже начинало походить на хиросимскую маску страха, на ту знаменитую маску страха, которая так и осталась на лицах японцев, выживших после взрыва атомной бомбы. Неизвестно, может быть, через месяц-другой генералу придется отвечать на поставленный ему следователем вопрос: «А о чем вы говорили такого-то числа с Волковым за обедом в офицерском собрании?» И молодой генерал, нервно проводя рукой по щетинистой, коротко остриженной голове, не только обдумывал каждое свое слово, но и явно старался запомнить все слова Волкова.

Волков взглянул на орден на широкой груди молодого генерала и улынулся:

— Ишь, как вас разукрасили! Что твоя рождественская елка. Видно, хорошо родине послужили.

Молодой генерал не мог все-таки не почувствовать высокой чести, которую оказывает ему маршал такой несвойственной ему любезностью, и постарался ответить улыбкой на улыбку, но губы его не слушались и только дернулись жалко:

— С вами ли мне сравниваться, товарищ маршал. — Голос его, несмотря на страх, звучал фамильярно-почтительно. — У вас все!

— Да, — громко ответил Волков, стараясь привлечь к себе общее внимание. — У меня все. А знаете новый анекдот? — Он еще повысил голос, он теперь обращался ко всем обедающим. — Так вот: один маршал говорит другому маршалу: «У меня почти все ордена. Только одного не хватает для расстрела». — Он расхохотался. — Одного только не хватает! А, как-во? — Он, продолжая хохотать, осматривал обедающих. Никто не смеялся, никто даже не смотрел на него.

— И кто только сочиняет всю эту ерунду? — неодобрительно пробормотал молодой генерал, опуская глаза в тарелку.

— За такой анекдот автор десятью годами не отделался бы, — донеслось с того конца стола.

— А ведь забавно, — настаивал Волков. — Одного ордена до расстрела не хватает! А у меня все.

Но никто не пожелал поддержать разговор о взаимоотношении орденов и расстрела. Все как-то сразу шумно заговорили друг с другом, не обращая внимания на Волкова.

И когда он, кончив обедать, встал, никто не удерживал его, никто как будто даже не заметил, что он уходит.

Глава третья

Теперь он знал, что с ним боялись встречаться и говорить. Но это знание осталось каким-то абстрактным, он не сделал из него вывода. Он не думал, чем все это вызвано. Или, вернее, он хорошо понимал, что все это значит, но ему не хотелось думать об этом, додумывать это до конца.

Так было спокойнее, спокойствие он теперь ценил больше всего. Спокойствие и романы, которых он прежде никогда не читал. Читая их, он не переставал изумляться. Ему никогда не приходило в голову, чтобы любовь и связанные с ней ревность, измены, разлуки, ссоры и примирения могли играть такую огромную роль в жизни людей. Неужели это, действительно, правда, и жизнь большинства людей совсем не то, что ему пришлось узнать на своем собственном опыте? Он часто представлял себе, что бы на его месте сделал тот или иной герой прочитанного им романа. Так ли бы он поступил, как Волков, и докатился ли бы он до того состояния усталости и безразличия ко всему, которое он теперь испытывал. Усталость все увеличивалась, несмотря на то или потому, что теперь, безусловно, наступило время отдыха. Но Волкову казалось, что он уже не может отдохнуть, что в нем нет больше возможности отдыха, как нет ни энергии, ни воли. Весь запас сил, энергии и воли, отпущенных человеку на всю его жизнь, он истратил на войну. И теперь он продолжал жить только по инерции, исполняя чью-то чужую, враждебную ему волю. Исполняя ее оттого, что у него нет силы бороться с ней. Ни силы, ни желания. Ему вообще больше никогда ничего не хотелось.

Недели через две после опыта в столовой он получил вызов в Москву. Очень почетный вызов на совещание, где его присутствие действительно могло быть полезным. К тому же его вызывали только на короткий срок. И все-таки он прекрасно сознавал, что скрывается за этим с виду таким невинным вызовом. Сознавал, принимая его и соглашаясь ехать в Москву. Чужая, враждебная воля приказывала, и он не мог не слушаться ее, хотя он и догадывался, чем все это должно кончиться.

Накануне отъезда, укладывая тома Стендаля в чемодан, он думал о том, как бы на его месте поступили Жюльен Сорель или Фабрицио. Ответ был прост. Они на его месте, наверно, перешли бы в соседнюю зону к американцам или англичанам, у которых маршал Волков был в такой чести. Они бы на его месте порвали с прошлым и стали бы жить сначала.

Да, это было очень просто, но совершенно неисполнимо для него. Не в силу патриотизма и моральных законов, а потому, что Москва притягивала его. Москва, вернее, гибель. Ведь Москва и гибель значили теперь одно и то же. Москва приказывала, и он слушался. Москва велела ему ехать, и вот — он ехал.

С той минуты, когда он, выйдя в коридор, почувствовал на своем позвоночнике взгляд секретаря, он понял, что и взгляд этот был частичкой той же воли, которая заволакивала его сознание. И еще он понял, что спасения больше нет и что все произойдет еще скорее, чем он ожидал.

С той минуты прошло не больше полчаса, но за эти полчаса он успел все понять и додумать до конца. Прямо перед ним на вешалке раскачивалась его шинель, мотая рукавами. «Как повешенный, — подумал он. — Нет, меня не повесят. Меня расстреляют». Его расстреляют. Каждый оборот вагонных колес приближал его к пуле в затылок, к блестящей никелированной пуле, уже ждущей его в вычищенном нагане того чекиста, которому выпадет высокая честь прикончить маршала Волкова.

Его единственное будущее, его единственная реальность была неотвратимая смерть, которую нельзя было не принять. Но он не мог понять, почему его смерть была неотвратима и чем она была вызвана. Жажда мести Веры Назимовой, как и зависть Великого Человека к популярности Волкова в армии, не являлись достаточным объяснением. Нет, должна была существовать другая, настоящая причина. Но она ускользала от него. Он чувствовал, что объяснение тут, совсем близко перед его глазами, среди уже снова начинавших покрывать стену чертежей и арабесок. Но оно было, как фраза на иностранном языке, он смотрел на нее и не мог ее прочитать оттого, что не знал этого языка. И все же было необходимо ее понять, иначе он не мог успокоиться. А покой было единственное, чем он еще дорожил. Он напрасно напрягал ум и волю, стараясь отыскать ответ. «Нелепость, — пробормотал он в отчаянии. — Бессмыслица».

— Бессмыслица, — повторил он громко, вслушиваясь в это слово.

Стакан звякнул о бутылку коньяку, повторяя за ним: «Бессмыслица». «Бессмыслица», — прогудел паровоз. «Бессмыслица», — стучали колеса вагона. «Бессмыслица, бессмыслица, бессмыслица», — отстукивало сердце.

И вдруг он понял, что этот ответ — единственный, объясняющий все. Он путался в догадках, искал логических выводов, а все было так просто.

Он вздохнул с облегчением. На мгновение он почувствовал покой, и что-то, смутно напомиравшее радость. Теперь он понял, что он напрасно искал причину своей гибели и ее смысл. Ни причины, ни смысла не было. Была только бессмыслица. Бессмыслица и пустота. И ничего больше.

Среди чертежей и геометрических фигур на стене купе замелькали образы прошлого. Образы личной жизни Волкова и образы революции, с которыми так неразрывно была связана его жизнь. Он настороженно следил за ними, как рыболов следит за поплавком, готовый подсечь клюющую рыбу. Но где то мгновение, когда революция потеряла смысл и превратилась в бессмыслицу? Он искал его в своей памяти и не находил. Вот Ленин говорит с балкона особняка Кшесинской, вот народ берет штурмом Зимний дворец, вот гражданская война, вот подавление кронштадтского восстания. Все это было полно неопровержимого смысла. Ленин, гениальный революционер, держал в руках еще не окрепшую власть. Одни защищали эту власть, другие стремились отнять ее у него. В руках Ленина были прогресс, материальное и социальное раскрепощение, короче говоря, свобода и светлое будущее. Все средства были хороши для защиты революции. Все средства: предательство, доносы, уничтожение тысяч жизней, вся машина террора, укреплявшая революцию. Величие перемен, происходивших тогда в России, было видно всякому, даже слепцу. В его сиянии грязь, жестокость, предательство, убийство превращались в чистоту, милосердие и героизм.

Если даже Ленин ошибался, думал Волков, и вместе с ним ошибались все мы, — смысл этой грандиозной борьбы был очевиден. Цель, хотя бы ложная цель, существовала. Но когда же все превратилось в бессмыслицу? Тогда, когда оппозиция была уничтожена и вся власть сосредоточилась в руках Великого Человека? Или в день подписания невероятного пакта дружбы с Гитлером, покрывшего стыдом всю страну? Или во дни показательных процессов? Или в ту ночь, когда он убил Луганова?

Он не знал, он знал только, что смысл был утерян. И еще он знал, что с тех пор, как смысл был ею утерян, советская власть укрепилась, стала неуязвимой, несокрушимой. Работа машины террора стала с тех пор самоцелью. Теперь она кружилась вокруг пустоты, в центре которой находился Великий Человек, дробя души и жизни обитателей Советского Союза. Но значило ли это, что Великий Человек владычествовал, как прежде, над партией и страной? Этого, думал Волков, никто кроме Великого Человека не знает, вернее, не знает даже он. Это узнают только после смерти Великого Человека.

Волков встал, налил стакан коньяку и выпил залпом. Что знает царница термитов о своей судьбе и своей власти? Она существует, она выполняет свое, неизвестное ей назначение. В царстве термитов, называемом СССР, — все рабы, все должны трудиться до предела своих сил, все подвластны одному неумолимому бесчеловечному закону. Все несчастны и дрожат от страха для того, чтобы каждый был несчастен и дрожал от страха. Машина террора управляет всеми обитателями страны, опутывая всех сетью взаимной слежки и непрекращающейся чистки. Машина террора не нуждается больше, чтоб кто-нибудь управлял ею.

Он засмеялся злым смехом и налил новый стакан коньяку.

Какое великолепное изобретение! И забавнее всего, что оно, дробя всех и вся, никому не приносит выгоды. Какая замечательная система! И это с такой страной мудрые союзнички хотя бы поддерживать отношения, обоюдно выгодные для обеих демократий! Ихней западной и нашей восточной. Так, кажется, называется на их языке это перпетуум-мобиле террора. Волков плюнул. Кретины! Дружеские отношения с муравейником. Муравейник можно только облить керосином и сжечь, откуда термиты не пожрали мир. И притом сделать это, пока не поздно. Впрочем, пусть делают что хотят. Тем хуже для них. Меня это уже не касается.

Он быстро обернулся и взглянул на дверь. Ему показалось, что он больше не один в купе. Но это тоже только показалось. Дверь была по-прежнему заперта и никто не мог войти. И все-таки он чувствовал, что кто-то или что-то находится здесь, рядом с ним. У этого «что-то» не было ни формы, ни цвета, ни плотности, но он чувствовал его присутствие. Это

«что-то» был страх. Впервые испытываемый им страх. До сегодняшнего вечера ему никогда не приходилось — не удавалось, как он насмешливо говорил, бояться. Он сознавал, что такое неестественное отсутствие страха обесценивает его храбрость. Ведь храбрость — преодоленный страх, кто этого не знает? И если нет страха, значит, нет и настоящей храбрости. И — нечего гордиться.

Прежде страх был ему так же незнаком, как вера в Бога. Он часто когда-то доказывал Луганову, что одной из основ веры является страх. Оттого вера так непонятна ему, так недоступна, оттого-то он даже представить себе не в состоянии, что можно верить. «Вот если бы я умел бояться, я бы, наверное, понял. Верующий прежде всего боится — это непреложное условие веры».

И вот теперь, сидя в поезде, увозящем его в Москву, он боялся. «Чего я боюсь?» — спросил он себя, и ответ нашелся сам собой: «Всего боюсь. Боюсь того, что я сделал, боюсь того, что сделаю со мной, боюсь прошлого, боюсь будущего, боюсь этой, сейчас еще длящейся минуты. Боюсь нелепости, которой я отдал свою жизнь и которая скоро покончит с тем, что еще осталось от моей жизни. Боюсь всех жертв, которые я принес, и самой невероятной из них — убийства мамы Кати».

Да, убийство, подумал он. Это было убийство. Он убил, уничтожил ее в ту ночь. Ведь де той ночи она была жива в его сердце, в его памяти. Он постоянно думал о ней, он разговаривал с ней. Она присутствовала в его жизни более реально, чем большинство окружающих. Она была тут, рядом с ним. Стоило ему перечитать ее прощальное письмо, чтобы сейчас же увидеть ее лицо, ее улыбку, почувствовать ее дыхание на своей щеке. Это не было воспоминание о ней, это было продление ее земной жизни. Его любовь к ней не давала ей окончательно исчезнуть с земли. Но в ту ночь, когда он сжег ее письмо, он убил ее. Убил мертвую. И это было еще ужасней, чем убийство Луганова.

Теперь он думал о смерти Луганова и о самом Луганове. Он думал о нем с завистью. В сущности, Луганов все-таки был счастливецом. Он верил в Бога, он надеялся. Он молился Богу, и Бог услышал его. Бог сделал для Луганова все, что можно было сделать для человека в Советском Союзе. Он послал ему неожиданную радость перед смертью, он избавил его от мучения ожидания смерти и сделал самую смерть его незаметной. Больше, конечно, даже от Бога нельзя было требовать при данных обстоятельствах.

Ведь Бог действительно помог Луганову. Волкову вдруг стало жаль, что он не верит в Бога, что Бог не поможет ему, что он будет все ясно сознавать до самого конца и смерть его будет позорной и мучительной. Смерть его действительно будет смертью, концом всего, его не ждет чудо воскресения. Ему было страшно. Но одного страха было недостаточно, чтобы так сразу поверить в Бога. Нет, даже и сейчас он не мог верить, не мог молиться, не мог ни на что надеяться. Смертельный страх, подумал он. Нет, проще, обыкновеннее — страх смерти.

Он не мог больше связно думать. Должно быть, от качки, от толчков вагона, так противоречиво уничтожая друг друга, расплываются мысли. У меня никогда не было логики. Только казалось, что есть. Логика вообще не в чести у нас, русских...

Он вдруг весь подтянулся. «А ведь я могу еще сыграть с ними штуку. Смешную штуку, — прошептал он. — Проявить свою волю напоследок. Не подчиниться. Как испугается секретарь, найдя утром купе пустым!.. Как переполошатся в Москве! Я посмеюсь над ними. Да, да, — шептал он все быстрее. — Я пушу себе пулю в лоб, стоя на ступеньках вагона. И полечу вниз, под откос. Смешная штука на прощанье»...

Он встал с дивана, широко расставив ноги для устойчивости.

Написать письмо Великому Человеку?.. Нет, не стоит. Ведь все равно ничего объяснить нельзя. И времени мало...

Поезд снова качнуло. Толчок был так силен, что Волков не удержался на ногах. Он упал навзничь на диван и ударился затылком о стенку купе. Стало темно и тихо. Вот так будет, когда пуля пробьет мне череп, полуобморочно подумал он, открывая глаза. Вряд ли больше. А может быть, напротив, будет больно, нестерпимо, невероятно, невообразимо больно, и минута смерти будет бесконечно длиться. Ведь чувство времени,

наверно, исчезнет, и минута смерти может показаться длиннее, чем вся жизнь. Неизвестно ведь... Он, не меняя позы, старался представить себе ощущение своей смерти. И вдруг почувствовал, что страха больше нет, что страх сменился любопытством. Как это будет? Как?

Он продолжал лежать на спине, глядя на стенку купе, на которой уже снова стали появляться узоры и геометрические фигуры. Он знал, что стоит ему только напрячь внимание и внимательно посмотреть на стенку — и узоры исчезнут. Но ему было не до них, они не беспокоили его больше. Пусть себе, как мухи, бегают и перелетают с места на место. Как это говорит Жюльен Сорель перед казнью? «Скоро я узнаю о великом, быть может?» Так, кажется?

Ему захотелось перечесть это место. Он сел на диван, взял второй том «Le rouge et le noir» и стал его перелистывать, ища нужную страницу. С двухцветной черно-красной обложки соскользнуло красное пятно и превратилось в шарик. Красный шарик волчком закружился перед Волковым и покатился по бобрику. Но Волков только краем глаза увидел его. Внимание его привлекла фраза Жюльена Сореля: «L'homme qui veut chasser l'ignorance et le calme de la terre doit — il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard?»*. Он задумался. «Как будто про нас, про наши советские дела, — прошептал он. — Про Великого Человека. И, если правда, то надо пройти «comme une tempête et faire le mal comme au hasard» — тогда в этом было бы оправдание и мне, и моей жизни. Оправдание? Разве можно оправдать мою жизнь? И, если история даже оправдает, разве это утешит меня? — Он покачал головой. — Не знаю, и мне уже некогда рассуждать об этом». И он стал снова перелистывать страницы. В тюрьму не позволят взять Стендаля, подумал он с сожалением. В тюрьму? А как же насчет прыжка с поезда, насчет выстрела в висок, насчет смешной штуки?

Нет, это было ему не по силам, это требовало энергии и воли, которых у него больше совсем не было. Ему не хотелось, он больше не мог двигаться. Это только казалось, что застрелиться будет легко. Теперь он знал, что это невозможно: ноги отказывались идти, руки отказывались взять кольт. Перед тем, как застрелиться, надо еще поднести дуло к виску. Нет, это не удастся. Но отчего? Оттого, что запрещено, вдруг понял он. Запрещено. Все должно быть так, как полагается: тюрьма, суд, расстрел. Таков порядок вещей, и его нельзя нарушать. Не полагается.

Он лег поверх одеяла и стал читать с чувством, похожим на блаженство. «Как странно, — думал он, не отводя глаз от книги, — почему я прежде не читал? И музыка. Ведь я любил музыку, а вот никогда не слушал. Отчего? Поздно, поздно думать об этом. И теперь уже все равно...»

Он нашел место, которое искал, и стал читать с таким нетерпением, будто это было самое необходимое, единственное, что ему оставалось сделать перед концом жизни.

Глава четвертая

...Мишук Волков, ученик III класса II Петербургской гимназии проснулся от чувства радости. Вчера вечером, после целого дня сборов, он, мама Катя и Андрик заняли купе в поезде, и сейчас они выйдут из него и попадут в то невообразимое, бесконечное наслаждение, которое называется летними каникулами в имении.

Мишук увидел синюю занавеску окна, окаймленную двумя солнечными линиями. Он громко зевнул и спохватился. Ведь мама Катя и Андрик еще спят. Он не видел их, но чувствовал, что они здесь, что они спят. Их присутствие, их сонное дыхание, их тепло входило в его радость. Он лежал, чувствуя под своей щекой нежное плечо мамы Кати, вдыхая запах ее духов. Он лежал, не шевелясь, стараясь сквозь стук поезда услышать стук сердца мамы Кати.

Он вспомнил, как вчера перед сном она, усталая и веселая, кормила их с Андриком холодными котлетами и крутыми, как на Пасху, яйцами, и как это было вкусно. Кормя их, мама Катя читала им стихи, сочиненные

* Человек, желающий прогнать невежество и спокойствие на земле, должен ли он прорваться, как буря, и причинить зло, как бы нечаянно? (франц.)

Андриком, когда его, восьмилетнего, везли с вокзала в имение по плохо мощенным улицам уездного городка:

И везут нас в тележке трух-трух, тру-рух,
Как на бойню быков или в церковь старух.

Это трух-трух заставило их всех троих хохотать. Они повторяли его на разные голоса под шум колес, пока не заснули.

— Андрик, — позвал Мишук шепотом. — Ты проснулся, Андрик?

Ответа не было, и Мишук стал осторожно выкарабкиваться из-под дорожного пледа. Он встал на четвереньки, готовый опустить ногу на пол, как вдруг увидел чью-то лысеющую голову, глядевшую на него очень темными подпухшими глазами. Голова выглядывала из скошенного угла купе, как из окна. Это была старая мужская голова, отвратительная своей реальностью и настоячивостью, с которой она уставилась на Мишука. Но откуда она взялась? Это сон, подумал Мишук. Никакой головы здесь нет и быть не может. Я еще сплю, и голова снится мне. Я еще сплю, как Андрик, как мама Катя.

Он сполз с дивана. «Сплю», — повторил он и взглянул в угол купе.

Голова по-прежнему была здесь. Но теперь у головы появилась шея в расстегнутом воротнике мундира и верх груди, увешанный орденами. И теперь у нее появилось имя — Михаил Волков и звание — Маршал Советского Союза, а глядевшего на нее Мишука Волкова, ученика III класса II Петербургской гимназии, не стало.

Мишук весь целиком переместился в маршала Волкова, отражение которого смутно выделось в зеркале туалетного шкафчика.

Волков провел рукой по глазам. Откуда взялись эти забытые детские ощущения и детское пробуждение? Просыпаясь, он всегда сразу сознавал, кто он, и где находится, и какой сегодня день и число. Как же это? Он оглянулся на диван, будто все-таки надеялся найти на нем спящую маму Катю. Но вид томов Стендаля, лежавших на красном одеяле, окончательно восстановил вокруг него трезвую реальность сегодняшнего дня. Поезд качало. Во сне мама Катя говорила что-то о качке поезда и читала какие-то стихи. Он стал вспоминать и наконец вспомнил:

Трух-трух, тру-рух,

Как на бойню быков или в церковь старух.

Но разве у Андрея были такие стихи? Или это он сам сочинил их во сне? Он, кажется, прежде никогда не слышал их. Но они могли храниться с детства в его памяти и теперь во сне обнаружиться.

Волков обтер лицо мокрым полотенцем. Да, кстати, к случаю обнаружились. Ведь так, совсем так выглядит бык, которого везут на бойню, подумал он, застегивая воротник мундира перед зеркалом. Трух-трух, тру-рух! Последнее путешествие маршала Волкова!..

Он подошел к окну и поднял синюю штору. Перед смертью мир всегда кажется необычайно очаровательным. Вот прекрасный случай проверить правильность этого утверждения, насмешливо подумал он.

Ничего очаровательного не было в том, что он увидел. Все было совсем обыкновенное, скучное и будничное. Давно надоевшее. Мужик в лаптях гнал по размытой дождями дороге пеструю корову, за ними, нелепо прыгая, бежал белый теленок. Пятна на корове напоминали очертания какого-то материка, на котором ему никогда не придется быть, даже если такой материк существует.

Опустив стекло, он высунулся в окно вагона. Теплый весенний ветер пахнул ему в лицо. Поезд, свистя, приближался к пограничной станции. Ее здание, выкрашенное в красный цвет, ползло ему навстречу. Уже был ясно виден в центре, под часами, огромный портрет Великого Человека. Синие шинели милиционеров перемещивались с защитным цветом солдат. Красные флаги, завернутые ветром вокруг дряквок, напоминали большие красные зонтики, с которыми швейцары шикарных ресторанов Берлина в дождливую погоду встречают и провожают клиентов к автомобилям.

Но Волков смотрел туда, дальше, по ту сторону границы. Ему казалось, что там, на русской стороне, все еще продолжается зима. Зимнее тяжелое небо низко опускалось над занесенной снегами равниной. И на этом низком, тяглом небе он ясно видел черную надпись: ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НАВСЕГДА.

Сентябрь 1945 г. — ноябрь 1946 г.

Иисус Неизвестный

3

Марк, Матфей, Лука

I

В звездное небо из подвижной щели обсерваторного купола устремленный глаз телескопа может быть так же свят, как псалом Давида:

Небеса проповедают славу Божию,
И о делах рук Его вещает твердь.

(Пс. 18, 1).

Этого люди малого знания не видят; видят Ньютон и Коперник. Критика — такой устремленный в евангельское небо телескоп, а пристальное, тысячелетнее внимание, напряженность взгляда на Евангелие — телескопного стекла шлифовка. Может быть, лучше всех ученых богословов и критиков читают Евангелие ребенок и святой; но эти могут не увидеть в нем того, что видят те.

II

Новое, небывалой мощи и совершенной шлифовки, стекло в телескопе евангельской критики — так называемая Двухисточниковая теория *Zweiquelletheorie*. Что она такое, так же трудно объяснить в немногих словах, как что такое спектральный анализ. Но мы должны верить, что люди свято проводят иногда целую жизнь в обсерваториях и в евангельской критике, там наблюдая внешнее, космическое небо, здесь внутреннее, евангельское, — это бездоннее того. Пристального внимания целой человеческой жизни мало — нужно внимание целых поколений, чтобы открыть новые звезды-миры. Их-то и открывает Двухисточниковая теория.

III

Марк, древнейший из Синоптиков («Со-видцев», «Со-гласников»), к Человеку Иисусу для нас ближайший свидетель — по крайней мере в тех свидетельствах, какие мы имеем сейчас, Марк — один из «двух источников» нашего знания. Марку, а не Матфею принадлежит, вопреки церковному преданию, первое место в историческом порядке Евангелистов. Вовсе не Марк, как думали прежде, заимствует у двух остальных Синоптиков, а, наоборот, те — у него. Целого почти века научных усилий, целых жизней человеческих, может быть, иногда с гибелью душ — утратой веры, — стоило и это сравнительно легкое открытие. Вторая же часть теории еще труднее.

Марк для Луки и Матфея — не единственный, а только один из двух источников. Следуя за Марком с большею точностью в передаче слов Господних, с меньшею — в изображении событий, Матфей и Лука друг друга не знают, в чем легко убедиться по слишком явным и при взаимном зна-

комстве невозможным «противоречиям», особенно в повествовании о Рождестве и о явлениях воскресшего Господа. Чем же объяснить совпадение Луки и Матфея до поразительной, иногда буквальной, грамматической точности в передаче главнейших, все решающих, но у Марка отсутствующих слов Господних? Только тем, что оба они черпают из какого-то невидимого нам, может быть, древнейшего, чем Марк, до-синоптического, наверное, письменного, источника, вероятно, того самого, о котором упоминает и Папий или стоящий за ним «Пресвитер Иоанн», говоря о «словах Господних», *logia kyriaka*, будто бы «собранных» или записанных мытарем Матфеем-Левием на «еврейском», т. е., арамейском языке, и, должно быть, смешивая эту запись с нашим греческим Матфеем.

Если нам кажется, что мы хорошо знаем этот невидимый источник по нашим двум Синоптикам и что, следовательно, открытие незначительно, мы грубо ошибаемся. В очень глубоком, подземном, скрытом от нас течении своего воды источника могут иметь совсем иную температуру, цвет и вкус, чем в явном, — может быть, даже в искусственных водоемах — наших двух Синоптиков. Быть там, куда окно выходит, или только смотреть в окно — вовсе не одно и то же. Этот до-синоптический Источник — так называемое Q (*Quelle*) — частью уже восстановлен, но только частью, потому что вопрос о нем будет решен окончательно лишь вместе с вопросом об отношении Синоптиков к стоящему вне их и даже как будто против них загадочнейшему из наших Евангелистов — «одной из величайших загадок всего христианства» — Иоанну.

Но если до этих глубин евангельского неба пока еще не достягают и наибольшей силы объективны в телескопах критики, то мы уже и теперь подходим в Духисточниковой теории к таинственнейшему первоисточнику наших Евангелий, к тому глубокому, ясному и все-таки темному зеркалу, где ближе и яснее всего отразилось лицо Иисуса Неизвестного. Так иногда в очень прозрачном воздухе очень ясных ночей можно видеть и невооруженным глазом, как неполной луны яснее темный и замыкается полный круг.

Прежде, однако, чем заглянуть в это темно-ясное зеркало, а может быть, и за него — по ту сторону Евангелия, надо взглядеться пристальней в видимые для нас, но страшно от двухтысячелетней пыли-привычки потускневшие зеркала Синоптиков.

IV

Сколько Евангелий? Четыре? Нет, три и одно. Это легко объяснить графически. Стоит только нарисовать красным карандашом на белой бумаге три палочки вместе и одну поодаль синим: те три — Синоптики, «Согласники», а эта одна — «Несогласник» и даже как будто «Противник» тех — Иоанн.

Что это? Кто это? На этот вопрос можно ответить только вместе с ответом на вопрос, как относится Иоанн к Синоптикам — один к трем.

V

«Марк, толмач Петра, записал с точностью, но не в порядке все, что запомнил о сказанном и сделанном Христом, потому что сам не слышал Господа, а только впоследствии был, как я уже сказал, толмачем Петра, учившего, смотря по нужде, но всех слов Господних в полноте не излагавшего. А потому Марк не погрешил, записывая лишь кое-что на память и заботясь только об одном, как бы чего не забыть или не сказать неверного». Это сообщил Папию «Пресвитер Иоанн». Кто он такой, мы не знаем наверное, но очень вероятно, как сейчас увидим, наш «Евангелист Иоанн» — только не Апостол, сын Заведеев, «ученик, которого любил Иисус», а кто другой — чудно с ним сросшийся двойник его, близнец, телом его отброшенная, но уже от него не отделимая тень.

Верно ли понял и точно ли передал Папий слова Пресвитера Иоанна, мы тоже не знаем, но, на всякий случай, будем помнить остерегающий отзыв церковного историка Евсевия о Папии: «очень малого ума человек», что, разумеется, не значит: «из ума выживший», — такой бы не усидел в епископах, или: «слабоумный», — такого бы не поставили в епископы, а просто: «человек бестолковый». Но если даже Папий верно понял и точно

передал слова Иоанна о «непорядке» в писаниях Марка, слишком все-таки верить ему нельзя. «Не погрешил», как будто оправдывает он, а на самом деле обвиняет Марка, наводит на него пусть легчайшую — а все-таки тень. Но и слишком удивляться отзыву Иоанна-Папия мы не должны.

Два Евангелиста — два писателя: Иоанн (если наш «Евангелист Иоанн» и «Пресвитер» Папия — одно и то же лицо), Иоанн и Марк; один говорит о другом: «Мое писание вернее, мой порядок лучше» (Иерусалим — Иудея, вместо Капернаума — Галилеи). Если не в высоком духе предания, то попросту, житейски (а ведь именно так и надо читать все древние, даже церковные памятники), это слишком понятно и естественно.

Можно ли примирить Марка с Иоанном, мы еще не знаем, но уже и сейчас несомненно, что единственно ясный порядок событий, которому следуют и Матфей, и Лука, и даже, в значительной мере, сам Иоанн, — только у Марка: к жизни Иисуса Неизвестного или здесь, или нигде — единственный ключ.

VI

Марк — «толмач» Петра. Все, что говорил Петр, своими глазами видевший, своими ушами слышавший Господа, вспоминает и записывает Марк с точностью, «заботясь только об одном, как бы чего не забыть или не сказать неверного», — этому свидетельству Папия — Иоанна Пресвитера — мы можем верить вполне. Но, если бы даже не было у нас ни свидетельства Папия, ни предания Церкви, мы все-таки могли бы заключить по самому Евангелию Марка, что в нем сохранились воспоминания очевидца, одного из Двенадцати, всего вероятнее, именно Петра.

VII

Есть у Марка излюбленное, даже краем глаза читающему заметное словечко: «тотчас». От первой главы до последней повторяется оно бесчисленно, упорно, однозвучно, кстати и некстати, почти как механическое движение — «тик», трудно сказать, чей — Марка, Петра или обоих; кажется, последнее вернее: может быть, ученик заразился от учителя. В этом-то запыхавшемся «тотчас», как бы задыхающемся беге к Нему, к Нему одному, к Господу, в этом стремительном полете брошенного из пращи Господней в цель Камня-Петра, — может быть, и поняли они друг друга лучше всего и полюбили навсегда.

Слышит Петр: «следуй за Мной», и тотчас, оставив сети, следует за Ним; видит Его, идущего по воде, и тотчас сам хочет идти; чувствует, что «хорошо» быть на горе Преображения, и тотчас: «Сделаем три кущи»; видит, что дело доходит до драки, и тотчас — меч из ножен, и отсек ухо Малху; видит, что дело дошло до креста, и тотчас: «Не знаю сего Человека»; слышит, что гроб пуст, и тотчас бежит к нему взапуски с Иоанном и обгоняет его; видит, что Господь идет по дороге из Рима: «Куда идешь?» — «В Рим, снова распяться», и тотчас возвращается, теперь уже навеки, — больше никуда не пойдет; «тотчас» делается вечностью; брошенный камень попал-таки в цель — лег и не сдвинется: «Церковь Мою созижду на камне сем».

Милый, родной, самый человеческий, самый грешный и святой из Апостолов — Петр! Кажется, весь он — в этом стремительном «тотчас» и не будь его, ни Петра, ни христианства бы не было.

VIII

В сонме учеников Петр всегда на первом месте у Марка, но меньше всех польщен, — напротив. «Блажен ты, Симон Ионин»... — пропущено, кажется, не Марком, а самим Петром. Но осталось: «Отойди от Меня, сатана!» Кто мог бы вспомнить это, кроме самого Петра? И еще страшнее, потому что тише: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?» (4, 37). Это не укор, а только тихая жалоба, но так невыносимо, что Матфей смягчил, Лука стер совсем. Только Марк, как слышал, так и передал: понял, должно быть, что Петру будет легче так; лучше всех понял его, потому что больше всех любил.

IX

«Господа Марк не видел и не слышал», — можно заключить из свидетельства Папия. Так ли это на самом деле?

Марк по церковному, кажется, исторически-верному преданию писал Евангелие около 64-го года, незадолго до смерти Петра или вскоре после нее, во всяком случае, не позже 70-х годов, потому что в «апокалипсисе» Марка конец мира все еще совпадает с концом храма; писал, тоже согласно церковному преданию, должно быть, в Риме, судя по многим латинским словам, а также по упоминанию Александра и Руфа, сыновей Симона Кириянина, живших тогда в Риме и хорошо известных тамошней общине (Римл. 16, 13). Но очень вероятно, что Марк слышал «воспоминания» Петра еще в 40-х годах в Иерусалиме, где был, как мы узнаем из Деяний Апостолов (12, 12), «дом матери Иоанна-Марка» (эллино-иудейское, двойное имя). В доме этом, как мы тоже узнаем из Деяний Апостолов (1, 13; 2, 2), собирались ученики по воскресении Господа. Здесь-то, — может быть, в той самой «горнице», **анагайоне**, верхнего жилья, где, по очень древнему сказанию Церкви, происходила и Тайная Вечеря, и Пятидесятница, — мог слышать Иоанн-Марк «воспоминания» Петра.

Если в 44-м году Марку было, как мы знаем, лет 30, то в 30-х годах, во дни Иисуса, ему было лет 14, и, следовательно, он мог быть очевидцем того, что происходило тогда в Иерусалиме и в доме матери.

Есть у него в рассказе о Гефсиманской ночи одно как будто ненужное, не поучительное, а только описательное «воспоминание»: «некий отрок, завернувшись по нагому телу покрывалом (sīndon — четырехугольный кусок полотна, вроде нашей простыни), — следовал за Ним (Иисусом), и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (14, 51—52). По очень тоже древнему сказанию этот неизвестный отрок — не кто иной, как сам Иоанн-Марк. Черточку эту, ему одному дорогую, незабвенную, вставил он в рассказ, как художник пишет в углу картины: *ipse tescit* — «сам писал».

В той быстроте — «раньше сделал, чем подумал», — с какой четырнадцатилетний мальчик вскочил ночью, может быть, прямо с постели, — не спал, слушал, что происходит в доме, — и, завернувшись по нагому телу в простыню, побежал за учениками тайком, крадучись, из Иерусалима в Гефсиманию, чтобы видеть и слышать все до конца, — в этой быстроте как будто уже слышится будущее Марково-Петрово «тотчас» — задыхающийся бег любви к Нему, к Нему одному, к Господу.

X

Эти-то воспоминания очевидца и вспыхнули в Марке с новой, чудною живостью через 40 лет в Риме, когда он слушал Петра. Что это действительно так, подтверждается и очень древним, от II века, свидетельством Канона Муратори (Canon Muratori): «**В ином же Марк и сам участвовал** и, как оно было, так и записал». <...> Если виденное и слышанное Петром Марк передал нам с такою, никогда не превзойденною живостью, то, может быть, потому, что и сам кое-что видел и слышал.

Марку в словесной «мелкой живописи» (миниатюре), кажется, нет равного. Что же это такое? Чудо искусства, как у Гомера и Данте, если не большее, потому что внезапное, — как и откуда взялось, неизвестно: Симона рыбака немногим грамотней Марк, «толмач», даже по-гречески пишущий плохо; или, в самом деле, это «продиктовано Духом Святым», как на органичных клавишах разыграно? Нет, ни то, ни другое, а естественное чудо любви: незабвенно помнящий, потому что бесконечно любящий, Святого святой очевидец. А если так, то можно сказать: другого подобного свидетеля мы не имеем ни об одном лице во всемирной истории.

XI

Марку так же, как всем слишком правдивым людям, не посчастливилось.

Кажется иногда, что первого Евангелиста недолюбливает Церковь и только за древность уважает нехотя. В до-каноническом, до-церковном по-

рядке Евангелий, по древнейшему кодексу Cantabrigiensis D, Марк, а значит, и стоящий за ним Верховный Апостол Петр, поставлены на последнее место: Матфей, Иоанн, Лука, Марк. А в порядке позднейшем, каноническом, Марк хотя и переставлен на второе, как будто более почетное место, но это, может быть, еще хуже: здесь маленького Марка спрятали между большими, Матфеем и Лукой, слишком смелого — за осторожного Матфея, слишком острого — за мягкого Луку, да исцеляет «врач возлюбленный» раны-укусы Маркова Льва. В этом-то темном углу и простоял он, как назначенный школьник, пятнадцать веков. Только свободная критика снова поставила первого свидетеля на первое место; не побоялась говорящего истину о Том, Кто сам о себе говорит: «Я есмь истина».

XII

Марка мы отчасти знаем, видим в лицо; но совсем не видим и не знаем Матфея. Первое, в церковном порядке, Евангелие принадлежит, вопреки преданию Церкви, не апостолу Матфею, а лицу неизвестному даже по имени. Может быть, меньше нашего удивились бы этому христиане первых веков. Если пишущий остался неизвестным, то едва ли не потому отчасти, что и сам того хотел. Сделал пир, созвал гостей, открыл двери дома, а сам ушел или спрятался так, что гости не видят хозяина и, кто он такой, никогда не узнают.

Это как бы полное отсутствие пишущего в писании делает в нем еще совершеннее общую всем Евангелиям прозрачность, как бы то же отсутствие воздуха, где самое далекое кажется близким, бывшее за две тысячи лет — сегодняшним.

XIII

Папий, или Пресвитер Иоанн, сообщает, как мы уже видели: «logia, слова Господни, на еврейском (арамейском) языке, собраны (записаны) были Матфеем, и каждый толковал (переводил) их потом, как умел». Если Папий хочет этим сказать — так по крайней мере слова его могут быть и действительно были поняты, — что наше Евангелие от Матфея — не греческий подлинник, а перевод с арамейского, то он ошибается, путая Q, до-синоптический источник Матфея, с ним самим.

Все, что можно сказать по самой книге, сводится к тому, что неизвестный сочинитель ее — иудео-христианин, живущий вне Палестины и пишущий для иудео-христиан с целью защитною, апологетическою против иудейских нападков, несомненно, до Иоанна и, вероятно, до Луки, но после Марка, кажется, около 80—90 годов I века, т. е. по разрушении Храма, так как в апокалипсисе Матфея (будем так называть неизвестного для краткости) конец мира уже не совпадает, как у Марка, с концом Храма. Иерусалимская или Батанейская община христиан, все еще крепко держащихся за иудейский Закон (жертвы, очищение, обрезание), стоит у Матфея перед глазами неотступно. Он и сам благочестивый раввин, верующий в Божественного Равви, не столько нового эллинского Христа, сколько древнего, Иудейского, даже арамейского, Иешуа Мессию, Царя Израиля.

Но медленно восходит и для него, как солнце из-за тучи, вселенская Церковь, Ekklesia, из-за иудейской церковной общины, qahal. В притчах Матфея о царстве небесном Церковь — школа земная этого небесного царства. Здесь же, раньше чем у всех остальных Евангелистов, появляется и самое понятие Церкви. Церковнейший из них — Матфей. И Церковь это поняла: сразу и навсегда полюбила его больше и поставила выше всех Евангелистов, выше самого Петра-Марка — на первое место.

Мудро утишает буйную львиную стремительность Марка ангел Матфея, Телец. Медленно и осторожно, как тяжелоступный вол, влечет он в веках и народах по всем колеям земным, грязным, иногда и кровавым, колесницу Господню, Церковь, и довлечет до Конца.

XIV

Марк Иисуса видит, Матфей — слышит. Столько у него речей Господних и с таким звуком «живого, неумолкающего голоса», как ни у одного из Евангелистов. Что Иисус делал, мы узнаем от Марка; что говорил, — от

Матфея. Слишком длинные речи, как Нагорная проповедь или Горе Фарисеям, не могли, конечно, целиком сохраниться в памяти слышавших; Матфей слагает их заново и, может быть, в новом порядке, из отдельных, до него записанных слов, *logia*. Но когда читаешь, — кажется, что слышишь их прямо из уст Господних, именно так и в таком порядке, как говорил их Иисус, потому что, кроме Него, никто не мог бы сказать это самое прекрасное и сильное, самое нечеловеческое, что было когда-либо сказано на языке человеческом.

XV

Новым, открытым и светлым, нетаинственным кажется, на первый взгляд, Матфеев дом по сравнению с Марковым. Но, взглядевшись, видишь и в нем до-синоптический источник Q — темное в светлом доме окно в глубокую, древнюю — может быть, древнейшую, чем у Марка, Галилейскую ночь Иисуса Неизвестного.

XVI

Лучше всех Евангелистов мы знаем Луку. Этот не прячется, созвав гостей на брачный пир, не уходит из дому; как любезный хозяин, встречает их на пороге и самому Жениху представляет — в том числе и нового гостя, едва ли даже в брачной одежде, — «сиятельнейшего» Феофила, своего покровителя, судя по титулу, *clarissimus*, важного римского чиновника, сенатора или проконсула. «Врач возлюбленный» (Кол. 4, 14), Лука — вероятно, Антиохец, так же, как сам Феофил, может быть, его домашний врач, вольноотпущенник (*Lukas* от *Lucanus* — частое для рабов уменьшительное имя), получивший римское гражданство, кажется, недавний язычник, чистейший, без капли иудейской крови, Эллин, широко открывающий двери христианства всем язычникам-Эллинам, так же, как его Учитель, Павел. Лучше всех Евангелистов, лучше Иосифа Флавия пишет он по-гречески; любит красноречие; посвящение Феофилу — совершенный греческий период, образец словесного искусства древних; подражает Фукидиду и Полибию, «отцу всемирной истории».

Первый Евангелист, всемирный, «кафолический», — Лука. Только у него семьдесят учеников Господних соответствуют семидесяти племенам в Книге Бытия — всему человечеству, так же, как двенадцать Апостолов — двенадцати коленам Израиля; и родословная Христа восходит не к первому Иудею, Аврааму, а к Всечеловеку, Адаму.

В самом начале книги шестерным синхронизмом — исторической одновременностью (Тиберий, Пилат, Ирод Филипп, Ливаний, Анна и Каиафа) — вдвигает Лука Евангелие во всемирную историю — из вечного «сегодня» — во «вчера» и «завтра», в продолжение времен, соглашаясь тем самым на отсрочку Конца. Против Маркова-Петрова «тотчас» здесь уже «не тотчас — не скоро конец» (21, 9); «человек, насадивший виноградник, отлучился на долгое время» (20, 9). Чувство неподвижной вечности заменяется чувством движения во времени; слишком страшное «есть» — успокоительным «было» и «будет»; слишком трудная победа над временем — более легкой победой над пространством. Маленькое Галилейское озеро раздвигается в великое Средиземное море. Как бы все христианство садится вместе с Лукою-Павлом на корабль, плывущий в Рим-мир. Всяду будет проповедано Евангелие, и только тогда — Конец — вечность.

XVII

Если не во всем, то во многом переход от Марка и Матфея к Луке — спуск в долину с горных высот: воздух сразу теплеет, густеет, застилается дымкой исторических далей. Запах земли слабеет. Сам Лука от нее уже далек: смешивает Палестину с Иудеей; думает, что можно пройти из Капернаума в Иерусалим «между Самарией и Галилеей»: стоит только взглянуть на карту, чтобы понять, что это не более возможно, чем пройти из Парижа в Мадрид между Германией и Францией. Вместо южных плоских глиняных или каменных крыш здесь — черепичные или кирпичные, северные, должно быть, с уклоном для стока дождевой воды; вместо открытых,

для покойников, носилок — гробы; вместо мелкой медной римской монеты — серебряная. Слишком иудейский, Марков и Матфеев спор об очищении Лукою выпущен, как ненужный и нелюбопытный Эллинам. Слов и собственных имен еврейских он избегает (ни Гефсимании, ни даже Голгофы), может быть, отчасти по классическому вкусу к общему вместо частного, к белому цвету мрамора вместо пестрых цветов.

Самый вообще классический, эллинский из всех Евангелистов — Лука. Слишком быстрые движения Марка замедляет он как бы торжественным ладом древних священнодействий. Иерихонский слепой уже не скидывает верхней одежды одним движением и не вскакивает, чтобы подойти к Иисусу. Сам Иисус в Гефсимании уже не «падает (лицом) на землю», а только «преклоняет колени». Римские воины уже не плюют Ему в лицо (что сказал бы Феофил?) и не бичуют Его. Бегство учеников пропущено (что сказала бы Церковь?). И, кажется, руку бы себе Лука отрубил, но не написал бы, как Марк, о Сыне Божьем: «вышел из Себя — сошел с ума».

Жесткое смягчает, шероховатое сглаживает, как бы древним, эллинским, и новым, церковным, елеем умащает все. Лен перед тканьем, во дни Гомера, чтобы придать складкам одежды большую мягкость и гладкость, насыщался елеем. Что-то в Луке напоминает этот «елейно-лоснящийся лен».

XVIII

Сам уже не видит и не слышит — только вспоминает, что другие видели и слышали, или только догадывается, как было — могло быть. Где-то, между Марком и Лукою, мы теряем Иисуса Человека из виду, разлучаемся с Ним навсегда или на очень долго, до второго Пришествия; перестаем знать Его «по плоти».

Третье Евангелие — наиболее «книга» из трех Синоптиков, наиболее написанное — не сказанное — не сказуемое вечно «живым, неумолкающим голосом».

XIX

Зрительный образ убийцы, говорят, запечатлевается иногда в мертвом зрачке убитого. Сила ненависти больше ли, чем сила любви? Зрительный образ любимого не запечатлевается ли иногда и в мертвом зрачке любящего?

Кажется, образ Иисуса Человека — «какой Он из Себя» — все еще говорит в зрачке Марка-Петра, и в мертвом — живой, а в зрачке Луки уже потух.

XX

Так во многом, но не во всем. Есть и у Луки темное в светлом доме окно — до-синоптический, общий с Матфеем, первоисточник, а также и свой собственный (*Sonderquelle*). Но если он его находит в чужой памяти — в предании, то, конечно, только потому, что раньше нашел в своем же собственном сердце.

Кое-что знает Лука об Иисусе, чего не знает никто из Евангелистов, никто из людей. И не слыша слышит, не видя видит. «Блаженны не видевшие», — это и о нем сказано. Знает он один, почему Господь не говорит: «блаженны нищие духом», а просто: «блаженны нищие» и за что «низложит сильных (царей) с престолов и вознесет смиренных, алчущих насытит, а богатых отпустит ни с чем» (1, 52—53). Знает, чего тогда не знал да и теперь, кажется, не знает никто, — чем дороже пастуху одна пропавшая овца остальных девяноста девяти; и почему об одном кающемся грешнике больше радости на небесах, чем о девяноста девяти праведниках; и почему только для блудного сына отец заколает тельца; и почему только блудница готовит к погребению тело Господне и раньше всех увидит Его, воскресшего; и почему будет с Ним в раю первый из людей — разбойник.

XXI

Странная любовь у Луки к «падшим и отверженным личностям», — удивляется кто-то из критиков, как будто у самого Иисуса не такая же

странная любовь. Лучше понял Данте: «scriba mansuetudinis Christi, милосердия Христова писец», Лука.

Мир на милости созиждется.

Этот чудно-подлинный аграфон — как будто прямо из Луки — из уст Господних.

XXII

«Много говорит у Луки Иисус на кресте, а у Марка — молчит; не вернее ли так?» — спрашивает тот же критик. Может быть, и вернее; но, если бы Лука не подслушал, пусть не ухом, а только сердцем: «Ныне же будешь со Мною в раю», — насколько беднее и страшнее был бы наш бедный и страшный мир!

«Радуйся, Благодатная», — он и это подслушал; знает он один, что значит «Матерь Божия». Трое Евангелистов знают Отца и Сына; только один Лука знает Мать.

XXIII

Как же не сказать: если бы не было Луки, то и христианства бы не было? Это, впрочем, можно бы сказать о каждом из четырех Евангелистов; каждого читаешь и думаешь: «Вот кто мне ближе всех». Но, может быть, в самом деле, нам, очень грешным, — еще не плакавшим блудницам, еще не распятым разбойникам, — ближе всех Лука.

4

Иоанн

I

Жил в Эфесе во дни Траяна старец такой древний, что не только ровесники его, но и дети и внуки их вымерли давно, а правнуки уже не помнили, кто он такой; называли его просто Иоанном или Старцем, Presbyteros, и думали, что это тот самый Иоанн, сын Заведеев, один из Двенадцати, «которого любил Иисус», который возлежал на груди Его и о котором по воскресении Своем Он сказал Петру так загадочно: «Если Я хочу, чтоб он пребыл, пока Я приду, что тебе до того?» (Ио. 21, 22).

Все это знали не из Четвертого Евангелия — его тогда еще не было, — а из устного предания, которому верили не меньше, а иногда и больше, чем писаным Евангелиям. Думали, что так оно и будет: старец Иоанн не умрет до второго Пришествия; и этого последнего «слышателя», «зрителя», «осознателя» Слова берегли, как зеницу ока; чем и как почтить его, не знали, облакали в драгоценные ризы и навешивали на лоб его Мельхиседека, царя-первосвященника, не рожденного, не умершего, таинственный знак, золотую бляху-звезду, Petalon, с Неизреченным именем. А все-таки хорошенько не знали, кто он такой, — тот ли самый ученик, «которого любил Иисус», или не тот, и прямо о том спросить его не смели; когда же обиняками спрашивали, он отвечал так, что казалось, он этого и сам хорошенько не знает, не помнит от слишком глубокой старости.

II

Когда он ослабел и уже не мог ходить, ученики носили его на руках в собрания верующих, а когда те просили наставить или вспомнить что-нибудь о Господе, он только повторял все одно и то же, с одной и той же улыбкой, одним и тем же голосом:

— Дети, любите друг друга, любите друг друга!

Это, наконец, так наскучило всем, что ему однажды сказали:

— Что это, учитель, ты повторяешь все одно и то же?

Он помолчал, подумал и сказал:

— Так Господь велел, и этого одного, если только исполнить, — довольно...

И опять:

— Дети, любите друг друга!

А когда он все-таки умер, был плач в Эфесе, и тут же над гробом его начали говорить, что он не умер, а только спит; и многие слышали, как дышит в гробу; и потом, когда уже похоронили его, слышали, припадая ухом к земле, что и в ней дышит он ровно и сладко; как дитя в колыбели. И твердо знали, что слово Господне исполнится: старец Иоанн не умрет до второго Пришествия.

Когда же, вскоре после смерти его, появилось в Эфесе «Евангелие от Иоанна», никто из тамошних братьев не сомневался, что оно действительно написано апостолом Иоанном, одним из Двенадцати, самим «учеником, которого любил Иисус». Но в других церквах в этом усомнились многие, начали спорить, соблазняться; чем дальше, тем хуже, и замолчали только тогда, когда, уже в конце IV века, Церковь Вселенская признала «Евангелие от Иоанна» подлинным и ввела его в Канон.

Спор потух на много веков, но в XVI — XVII веках, на заре свободной критики, вспыхнул с новою силою и горит, все разгораясь, до наших дней и, кажется, не потухнет уже никогда. Спор об Иоанне так же как он сам, — сколько бы ни хоронили его, лежит в гробу живой, — ждет пришествия Господа.

III

«Спор неразрешим, потому что зависит не от своего предмета, а от точки зрения спорящих», — верно и глубоко заметил Ренан. Или еще вернее, глубже: спор зависит от воли спорящих.

Кто последний и как будто противоречащий всем остальным свидетель о человеке Иисусе, очевидец Слова, ставшего плотью? Тот ли, кто возлежал на груди Его и слышал, как бьется сердце Его? Этому одни очень хотят, а другие не хотят; очень нужно одним, чтоб это было, а другим — чтоб этого не было. И сколько бы ни являлось исторических доказательств в пользу тех или других, спор не прекратится; люди так же не могут оставить его, как Сизиф не может не вскатывать камня на гору. Спор об Иоанне — «величайшая загадка христианства», а может быть, и загадка самого Христа.

IV

«Самое нежное из всех Евангелий, *das zarteste Evangelium...* Я бы отдал за него все остальные и большую часть Нового Завета в придачу», — говаривал Лютер, сильно, но не убедительно; всякий христианин мог бы сказать еще сильнее: «А я бы не отдал».

«Старцы сказывали мне, — сообщает Климент Александрийский («Старцы», «Пресвитеры» здесь в том же смысле, как у Папия: живые звенья в цепи предания, «живого неумолкающего голоса» отзвуки; те, кто друг друга спрашивают и отвечают друг другу, из века в век, из рода в род: «Видели?» — «Видели». — «Слышали?» — «Слышали»). — Старцы сказывали мне, что Иоанн, последний из Евангелистов, видя явленное в прочих Евангелиях *плотское*, побуждаемый к тому братьями и вдохновляемый Духом Святым, написал Евангелие *духовное*».

Как бы мы ни относились к исторической ценности этого свидетельства, мы должны признать, что вопрос о «грех и одном», о Синоптиках и IV Евангелии, здесь не только не разрешен, но и не поставлен как следует. Ведь для самого Климента, а может быть, и для стоящих за ним «Пресвитеров» «плотский» у Синоптиков Христос не бездушен, а «духовный» — у Иоанна — не бесплотен. Как же Тот относится к Этому? Два ли это Христа или один? Страшный вопрос и как будто нелепый. Слишком легко на него ответить: «Плотское не противоречит духовному; дух и плоть — одно, в одном Христе». Но почему же Климент и, если верить ему, то сам Иоанн, противопоставляет своего «духовного» Христа «плотскому» — Синоптиков? И мог ли возлежавший на груди Господа, слышавший, как бьется сердце Его, свидетельствовать о Нем так, чтобы возник такой вопрос? Это и значит: загадка Иоанна — может быть, загадка самого Христа.

«Лжет, лжет! Недостоин быть в Церкви!» — вопят, как одержимые, в конце II века еретики-алоги, «бессловесники», Слова-Логоса Иоаннова

противники. И так же почти волят «алоги» XX века, все, кто хотел бы принять Синоптиков, отвергнув Иоанна, — пройти мимо него ко Христу. Но «если христианство все еще так крепко держится за IV Евангелие, то не потому ли, что явленный в нем лик Христа слишком сросся не только с христианским догматом, но и с простейшим, глубочайшим, христианским опытом?» — спрашивает один из очень левых и свободных критиков XX века.

Сколько раз хотели покончить с Иоанном, но ведь и с самим Христом хотели покончить сколько раз. Кажется, однако, ни с тем и ни с Этим не покончат никогда.

V

Самый сильный довод против ап. Иоанна как творца IV Евангелия — слишком ранняя мученическая смерть его, предсказанная самим Господом у двух Синоптиков, Матфея и Марка: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься», — говорит Иисус двум сыновьям Заведеевым, Иоанну и Иакову (Мт. 20, 20—24, — Мк. 10, 35—41). Не может быть никакого сомнения, что «чаша» эта и «крещение» — мученическая смерть обоих. Но если первая половина слова Господня об одном из них точно исполнилась, как мы знаем из Деяний Апостолов (12, 2), то слишком невероятно, чтобы вторая половина того же слова — о другом брате — осталась неисполненной. И, уж во всяком случае, это слишком ясное слово не отменяется другим, более темным, — о «пребывании» того же Иоанна до второго пришествия (Ио. 21, 22), так как здесь же самим «евангелистом Иоанном» или говорящим от его лица указывается, что это «пребывание» вовсе не означает физического, на земле, бессмертия: «Иисус не сказал ему, что не умрет» (21, 22).

Надо было выбрать между двумя словами, ясным и темным, и Церковь, чтобы не отказаться от преданий о тождестве двух Иоаннов, Пресвитера и Апостола, скрепя сердце, отвергла ясное слово и выбрала темное. Но слишком понятно, что здесь уже в само Евангелие корнями уходящий спор этим не был и, вероятно, никогда не будет потушен.

VI

Против тождества евангелиста Иоанна с Иоанном, сыном Заведеевым, одним из Двенадцати, довод внутренний, в самом Евангелии, может быть, сильнейший.

Первое после Иисуса лицо на всем протяжении IV Евангелия — ни разу не названный по имени, скрытый под слишком прозрачною маскою и тем больше выставляемый на вид «ученик, которого любил Иисус», апостол Иоанн, сын Заведеев. Мог ли он говорить о самом себе так упорно, настойчиво, к стати и некстати: «Я ученик, которого любил Иисус»? Надо быть лишенным всякого слуха к душе человеческой, чтобы не услышать в этом нестерпимо режущего, фальшивого звука. Стоит лишь сравнить неутолимое смирение Петра — чем себя унизить, как стереться, провалиться сквозь землю, не знает, только бы утолить боль угрызения, — стоит лишь сравнить то с этим, самодовольным: «Я ученик, которого любил Иисус», чтобы почувствовать, как это невозможно. Каждый из нас, поставив себя на место Иоанна, скажет: «Я бы не мог». Почему же мы думаем, что он мог?

Кажется, и этого одного, внутреннего, довода достаточно, чтобы решить окончательно: IV Евангелие написано кем угодно, только не Апостолом Иоанном.

VII

Но если не им, то кем же?

Лучший ключ к загадке — все у того же, пусть «бестолкового», но для нас древнейшего, единственного и к Пресвитеру Иоанну, а может быть, и к самому Апостолу Иоанну ближайшего свидетеля, Папия.

Говоря о своих беседах с живыми очевидцами и слушателями Слова, Папий различает двух Иоаннов, двух учеников Господних. Об одном из них

сказано, среди других Апостолов, в прошлом времени: «говорил», <...> как об умершем; о другом — «Пресвитер Иоанн» — среди «учеников Господних» (не Апостолов), в настоящем времени, как о живом: «говорят» <...>. Слишком ясно, что это два лица: живой Пресвитер Иоанн и умерший Апостол Иоанн. Так именно понял историк церкви Евсевий, и, кажется, иначе нельзя понять.

Поликрат, епископ Эфесский (190 г.), различает этих двух Иоаннов уже не так ясно, когда утверждает в письме к папе Виктору, что «два великих светила почили в Азии: одно из них — (ап.) Филипп, а другое — Иоанн, возлежавший на груди Господа». Помнит и Дионисий Александрийский, уже в III веке, что «в Эфесе находятся два гроба двух Иоаннов», разумея, конечно, Пресвитера и Апостола.

«Старцем», «Пресвитером» просто, без всякого имени, называет себя и пишущий II и III «Послание Иоанна» — «Апостола», по церковному преданию, — думая и ошибаясь в этом уже для своего времени, что одного этого прозвища довольно, чтобы братья всех церковей поняли, о ком идет речь.

VIII

Два Иоанна, два брата-близнеца с очень похожими лицами, в полутемной комнате — Эфесской общине конца I века. Если уже в середине II века их не различают и принимают одного за другого, то тем более — в XX веке. Мы знаем, что один из них — тот самый — тело, а другой, не тот, — тень; но какой из двух настоящий, мы не знаем и, сколько бы ни катали Сизифов камень, вероятно, никогда не узнаем.

Только внутреннее опять свидетельство самого Евангелия кидает внезапный луч света в полутемную комнату. Когда мы читаем: «ученик, которого любил Иисус», то слишком естественно возникает подозрение все того же «музыкального слуха», что пишущий — не тот, за кого он себя выдает; что он только ссылается на «любимого ученика Господня» как на «свидетеля». «И **видевший** — (не пишущий, а кто-то другой) — засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили» (Ио. 19, 35). Этого-то третьего лица, «ученика, которого любил Иисус», высоким покровом и осеняет себя «Евангелист Иоанн»; на его-то непреложное свидетельство как «очевидца» он и ссылается, потому, конечно, что сам — **не очевидец**. Будь пишущий этим третьим лицом, — предположить, что он выдвигает себя на первое место, скрываясь под слишком прозрачною маскою — то «я», то «не я», — было бы еще невозможнее, нестерпимее для «музыкального слуха», чем если бы он это делал с открытым лицом.

Как ни призрачно для нас мерцают, перемежаются и здесь два схожих, слабо освещенных лица, — нам все-таки ясно, что это не одно лицо, а два.

IX

И вот сама собою возникает простейшая, но потому и труднейшая гипотеза о двух Евангелистах Иоаннах, Пресвитере и Апостоле.

Может быть, «ученик, которого любил Иисус», имел обыкновение рассказывать ближайшим ученикам своим жизнь Иисуса не совсем так, как делали это «Батанейские люди предания», те, кем записаны доксиоптические логія; может быть, кое-что знал он, чего не знали или что хуже знали те, — значительную часть Иисусова служения, протекшую не в Галилее, а в Иудее; знал и ближайших к Нему лиц и подробности жизни Его, которых опять-таки не знали или хуже знали те.

Верно — может быть, вернее Синоптиков, — угадывает Иоанн, чего хотел Иисус. Что Он делал, мы узнаем от Марка, что говорил — от Матфея; что чувствовал — от Луки; а чего хотел — от Иоанна, и, конечно, самое первичное, подлинное — в этом — в воле. Вот почему Иоанн возвращает нас, как это ни странно звучит, к наиболее исторически-подлинному Иисусу — к Тому же, Кто и у Марка-Петра; к первому свидетелю возвращает нас — последний; Иоанн, как никто из Евангелистов, соединяет

«прославленного» Христа небесного, с Иисусом **земным** на основании опыта, сделанного, вероятно, в непосредственной и единственной к этому земному Иисусу близости.

X

Павел, если не сам для себя, то в своем церковном, будущем действии, отторгает Иисуса земного от Христа небесного; Иоанн соединяет их. Павел не знает, не хочет знать «Христа во плоти», — так по крайней мере понят он опять-таки в своем церковном действии; Иоанн — хочет. Павел в этом смысле ближе к докетам, «каженникам», прошлым и настоящим, нежели Иоанн, всюю силою прикрепляющийся к плоти Христовой («возлежал на груди Господа»). «Слово стало **плотью**», — здесь для Иоанна не так, как для нас, главное ударение не на «Слове», а на «плоти»: «**Плотью** стало Слово». В этом передвижении слов — передвижение, превращение всей христианской «полярности»: где плюс, там минус, и наоборот. Это, впрочем, сказать и даже понять сравнительно легко, но **сделать** очень трудно: Тут передвижение, *arokatasis*, целых космических порядков, эонов; нужно для этого, чтобы «силы небесные поколебались» — «передвинулись».

«Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста» (I Ио. 4, 3). С большою силою нельзя сказать: «Я знаю — знайте и вы Христа по плоти».

В том-то и заключается для Иоанна неполнота Синоптиков, что они недостаточно открывают — как это опять ни странно звучит — Иисуса во Христе, Человека в Боге. И вот почему вся полнота христианства, плерома его, действительно, — только в IV Евангелии.

XI

Но Иоанн все-таки ближе к Синоптикам, чем это может казаться.

Стоит только сравнить слово Господне у Матфея, 11, 27: «Все предано Мне Отцем, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть», — с Иоанновым, 14, 6: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», — чтобы увидеть, что здесь, «на почве Синоптиков, болид Иоаннова неба». Кто у кого это взял, Иоанн у Синоптиков или они — у него? Это так непохоже на них; Иисус говорит здесь, у Матфея, таким Иоанновым голосом, что левые критики решают с легкостью: «Так не мог говорить Иисус: это позднейшая вставка». Почему же не мог? Не потому ли, что для новых Алогов, «Бессловесников», так же несомненно, как для древних, что Иоанн «лжет»?

«Если дело идет о том, чтобы знать, что Иисус говорил, то IV Евангелие не имеет никакой цены, но оно выше Синоптиков по изображению того, что Он делал», — полагает Ренан, как будто можно отделить в человеке и тем более таком человеке, как Иисус, то, что Он говорит, от того, что Он делает.

XII

Двух Иоаннов в одном Евангелии мы глазами не видим, но как осязаем — **видим** кончиками пальцев сквозь ткань два завернутых в нее предмета, — так и этих двух.

Два человека: один — тот, которого мы называем Апостолом Иоанном, — говорит; а другой — Пресвитер Иоанн — слушает; тот вспоминает, этот запоминает и, может быть, записывает тотчас, или потом, или со слов его другие запишут; но, сколько бы ни было дальнейших передаточных лиц, — первых, главных, два.

Два свидетеля — более близкий и более далекий. Тот, первый, уроженец Палестины, не мог знать или забыть, что людям многоводного Сихема *Sychar* незачем ходить за водой к колодцу Иакова, далеко за город, или что на Масличной горе пальмы не растут; но второй, в Эфесе, мог предпochсть для вшествия в Иерусалим Царя уже не Израиля, а мира, классические «пальмы победы» — смиренным Иудейским зеленым веткам и травам, *stibadas* (Мк. 11, 8); эти живые, весенние, с пахнущими клейкими

листочками, насколько подлиннее тех мертвых, безуханных! Первый не мог забыть, что не «Моисей дал Иудеям обрезание» и что Иудейские первосвященники ежегодно не сменяются. Только первый помнит — видит глазами — перед судейским креслом Пилата мозаичный помост, «лифостротон» — «гаваффу» (и здесь сквозь греческий перевод — арамейский подлинник, Ио. 19, 13). Вот по таким-то черточкам и видно, что все пишется здесь, говорится «не для того, чтобы доказать, а чтобы рассказать» <...>. И только у первого, в бесконечных, нам уже почти непонятных и как будто ненужных, «талмудических», спорах с Иерусалимскими книжниками, sorhegim, сам Иисус, так же как у Матфея, — настоящий Софер, Иудейский Rabbi Jeschua.

Только первый мог сохранить и чудный рассказ об Иисусовых братьях — «целое маленькое сокровище для историка», как верно замечает Ренан. Эти, у Иоанна, когда искушают Брата так осторожно-лукаво и холодно-язвительно: «Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (7, 1—8), — может быть, хуже тех, у Марка, когда они просто и грубо, как «мужики» Галилейские, хотят «наложить на Него руки», связать «сумасшедшего» (3, 21). Это, как ослепительная вспышка магния в темной комнате или зарница в темной ночи, кидает внезапный, обратный свет на «тридцать три года», от Рождества до Крещения, — самые темные для нас, неизвестные годы Иисуса Неизвестного.

XIII

Или, может быть, еще драгоценнее — первая встреча ученика с Учителем «в Вифаваре» — (в древнейших рукописях, «Вифания», Bethania), — где крестил Иоанн:

На другой день опять стоял Иоанн (Креститель) и двое из учеников его.

И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.

Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом.

Иисус же, обернувшись и увидев идущих, говорит им: что вам надобно?

Они сказали Ему: Равви! (что значит «учитель»), где живешь?

Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа (Ио. 1, 35—39).

Кто мог бы все это знать, кроме того, кто сам это видел и кому нужно было это запомнить, — кто сам это пережил? В этом одном: «около десятого часа» (не по часам же справлялся нарочно, а по солнцу, привычно-нечаянно, как Галилейский рыбак), в этом одном запечатлелось для него все навсегда, неизгладимо, с «фотографической», как мы сказали бы, четкостью: первый, вечеряющего солнца склон («десятый час» от восхода — четвертый полудни); быстрые, желтые, в зеленых тростниковых и ивовых зарослях воды Иордана; плоские, белые, как «хлебы Испытания», камни Иудейской пустыни; и, может быть, в солнечном луче, из-за грозовой тучи, как из «отверстого неба», слетающий голубь; а главное — Его, Его лицо, и даже не лицо, а только глаза, только взгляд, когда, услышав сзади Себя шаги, Он вдруг на ходу обернулся, остановился и взглянул сначала на обоих, Иоанна и Андрея, а потом на одного Иоанна, и в первый раз глаза их встретились; может быть, с этим-то первым взглядом Иисус и полюбил его, так же как того «богатого юношу» (Мк. 10, 17—24), но и совсем, совсем иначе. Как же было всего этого не запомнить, не сохранить — для кого? для всех людей, до конца времен? — нет, для себя, для себя одного, и еще, может быть, для Того, Который тоже помнит всегда.

Зрительный образ Любимого как запечатлелся тогда живой в живом зрачке любящего, так и вспыхнет потом в мертвом — живой.

В этом-то зрительном образе и сходится Марк-Петр с Иоанном, первый свидетель — с последним.

XIV

Может ли один человек говорить двумя голосами, такими разными, как Иисус у Иоанна и у Синоптиков? Арфа может ли звучать, как флейта? Вот главный и, в сущности, единственный довод скептиков против «историчности» Иоанна. Прямо ответим на прямой вопрос: может. Если всякий человек может не только говорить голосами разными с разными людьми и в разных обстоятельствах, но и быть разным, как будто противоречащим, противоположным самому себе, на самого себя непохожим, новым, неожиданным, неузнаваемым, то почему же этого не может человек Иисус? Он, всего человеческого полнота, плерома, не должен ли быть разнообразнейшим, согласно-противоположнейшим? Мог ли Он говорить с Галилейскими «толпами», *ochloí*, тем же голосом, как наедине с учениками (иногда, «в темноте», «на ухо»); или ночью с Никодимом так же, как днем с фарисеями; мог ли Он сказать Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин» (Мт. 16, 17) тем же голосом, как Иуде: «Целованием ли предаешь Сына человеческого?» (Лк. 22, 48).

Что же из того, что Иудейская арфа не так звучит, как свирель Галилейская? Там, у Синоптиков, слово Его человечески-просто, всегда кратко (даже длинные речи у Матфея сложены из отдельных кратких слов); всегда ясно; иногда едко, сухо-солоно («соль добрая вещь»; «соль имейте в себе»). А здесь, в IV Евангелии, длинно, сложно; иногда как будто темно и туманно; текуче, как драгоценное миро, и амброзийно-сладостно. Там, как бы в самой Галилее, — солончаковой пустыне, у Мертвого моря, сухой ветерок; а здесь, как бы в самой Иудее, — райских лугов Галилейских росные ладаны. Но и здесь, и там одинаково: «Никогда человек не говорил так, как этот Человек» (Ио. 7, 46). Вот это-то «никогда», эта единственность, ни с каким человеческим словом несоизмеримость, и есть общий признак слов Господних у Иоанна и у Синоптиков, — подлинности равной на них печать. А будет или не будет для нас признак этот убедителен, уже зависит от остроты или тупости нашего «музыкального слуха».

«Не бес ли в Тебе?» — у Иоанна (7, 20); «сошел с ума» — у Марка (3, 21) — это, кажется, будет всегда первое, самое глубокое, искреннее, что могут сказать люди, может сказать мир, как он есть, о словах человека Иисуса. «Какие тяжкие, жестокие слова, *sklêroí!* Кто может это слушать?» (Ио. 6, 60). Люди так не говорят; не могут, не должны говорить; этого нельзя вынести: от мировой текучести длинных в IV Евангелии, как бы «эллинских», речей, так же как от соленой сухости кратких у Синоптиков арамейских *logia* — это впечатление совершенно одинаково.

XV

Крайняя степень нечеловеческой единственности — невыносимости, невозможности для человеческого слуха (Бетховен оглох, чтобы услышать, может быть, нечто подобное) — достигается, как верно подметил Велл-гаузен, в Первосвященнической молитве последней земной речи Господа (Ио. 17).

Как бы однозвучный в страшно пустом и светлом небе «колокольный звон, где составные части одного аккорда, сочетаясь в каком угодно порядке, то наплывают, поднимаются, как волны прилива, то падают», и опять поднимаются — все выше и выше, к самому небу.

Три составные части аккорда: первая — «Ты дал Ему». — «Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную...» — «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне, Я передал им...» — «Я молю о тех, которых Ты дал Мне»...

К этой первой части присоединяется и сплетается с нею вторая: «прославь Меня». — «Отче! прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя...» — «Я прославил Тебя...» — «И ныне прославь Меня...»

Третья часть: «послал Меня». — «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир...» — «Да познает мир, что Ты послал Меня...» — «И сии познали, что Ты послал Меня...»

И, наконец, все три части сливаются в один аккорд — в соединяющее небо с землей острие пирамиды — высшую, когда-либо на земле словом земным достигнутую точку:

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, как и они да будут в Нас едино, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет.

И Я в них (Ио. 17, 21, 26).

Колокол затих; нет больше звуков — все умерли в страшной — страшной для нас — тишине, как в белом свете солнца умирают все цвета земли.

Но и в тишине волны все еще растут, поднимаются, выше и выше, к самому небу — «к той совершенной радости», — «радость ваша будет совершенна» (Ио. 15, 11), — к той солнечной дымке палящих лучей, где дневные звезды горят светлей ночных, как Божества.

В эфире чистом и незримом.

XVI

Это самое святое, что есть на земле, и самое тихое; тут, может быть, тишина всего невыносимее, невозможнее для нас. Сравнить это с буйным, а иногда и грешным Дионисовым экстазом было бы не только грубокощунственно, но и просто неверно. А если бы и можно было сопоставить в чем-то это с тем, то не безусловно, религиозно, а лишь очень условно, исторически.

«Вышел из себя» — <...> говорили о посвященном в Дионисовы таинства — тем же словом, как у Марка братья говорят об Иисусе (3, 21). *Exestê* — *extasis*, кажется, греческий перевод того арамейского слова, *messugge*, «исступленный», «сумасшедший», каким иногда ругалась безбожная чернь над святыми пророками Израиля, *pebjim*, потому что «исступление», «выхождение из себя» и есть начало всех «экстазов», святых и грешных. Это хорошо знали в Дионисовых таинствах.

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградь, —

говорит Господь над чашей вина, по Иоанну (15, 1), — Вина-Крови, по Синоптикам. Что и это значит, поняли бы совсем или отчасти, верно или неверно в Дионисовых таинствах.

«И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мт. 26, 30). Песнь воспели Пасхальную, громовую *Hallela*, Аллилуйю, — исступленно-радостную песнь Исхода, ту, о которой говорит Талмуд: «С маслину — Пасха, а Галлела ломает кровли домов». Та же радостная песнь, но иного Исхода, большего — духа из тела, «Я» из «Не-я», — звучала и в Дионисовых таинствах.

И, наконец, главное — исступляющее однообразие движений в Дионисовых плясках — повторение все тех же звуков в песнях — однозвучность «колокольного звона»: «Что это, учитель, ты повторяешь все одно и то же?»

XVII

В апокрифических «деяниях Иоанна», Левкия Харина (*Leukios Charinos*), Валентиновой школы гностика, от конца II века, значит, одно-два поколения после IV Евангелия и, кажется, из того же круга учеников Иоанновых в Эфесе, где родилось это Евангелие, — Иисус говорит Двенадцати на Тайной Вечере:

Прежде чем буду Я предан,
песнь Отцу воспоем...
И в круг велел нам стать.
Когда же взяли мы за руки,
Он, встав в середине круга,
сказал: отвечайте: Аминь.
И воспел говоря:
Отче! слава Тебе.

Мы же ходили по кругу, отвечая:

Слава Тебе, Слово. — Аминь.
Слава Тебе, Дух. — Аминь.

Быть спасенным хочу и спасти. — Аминь.
 Быть ядущим хочу и ядомым. — Аминь.
 Буду играть на свирели, — пляшите. — Аминь.
 Плакать буду, — рыдайте. — Аминь.
 Восьмерица Единая с нами поет. — Аминь.
 Двенадцатерица пляшет с нами. — Аминь.
 Пляшет в небе все, что есть. — Аминь.
 Кто не пляшет, не знает свершенья. — Аминь.

В звонкой меди латыни (у бл. Августина, о Присциллианских Тайных вечерах) это еще «колокольнее», однозвучнее <...>.

И опять в «Деяниях Иоанна»:

Плящущий со Мною, смотри на себя —
 во Мне, и, видя, что Я творю, молчи...
 В пляске познай, что страданием твоим
 человеческим хочу Я страдать...
 Кто Я, узнаешь, когда отойду.
 Я не тот, кем кажусь.

Это и значит: «Я — Неизвестный».

XVIII

Может быть, нечто подобное, хотя и совсем иное (кто же поверит, чтобы ученики могли плясать на Тайной Вечере?), более неизвестное, страшное для нас, потому что тихое, как то ученику, возлежавшему на груди Иисуса, чуть слышное биение сердца Его — тихое, но ломающее уже не кровли домов, а самое небо, — может быть, нечто подобное действительно происходило в ту ночь в «устланной коврами высокой горнице», анагайоне, в верхнем жилье Иерусалимского дома, где, стоя у двери, жадно подслушивал и подглядывал хозяйкин сын, Иоанн-Марк.

Два свидетеля: этот четырнадцатилетний мальчик, вскочивший прямо с постели, завернутый в одну простыню по голому телу, Иоанн-Марк, и тот столетний старец, закутанный в драгоценные ризы, первосвященник, с таинственно на челе мерцающей золотой бляхой, пэталон, Иоанн Пресвитер. Два свидетельства — чем противоположно-согласнее, тем правдивее. Только одно из них писано не рукой очевидца, но и в нем бьется сердце того, кто видел. Если же нам и этого мало, то, может быть, только потому, что для нас Евангелие — уже мертвая буква, а не «живой неумолкающий голос», и мы уже не знаем, что значит:

Вот, Я с вами во все дни, до окончания века. Аминь. (Мт. 28, 20).

По ту сторону Евангелия

I

Только благодаря Канону мы еще имеем Евангелие. Надо было закопать его в броню от скольких вражьих стрел — ложных гнозисов, чудовищных ересей; в каменное русло водоема надо было отвести живые воды источника, чтобы не затоптало его человеческое стадо, не сделало из них, страшно сказать, мутную лужу «Апокрифов» (в новом, конечно, церковном смысле, — «ложных Евангелий»); надо было нежнейший в мире цветочек оградить от всех бурь земных скалою Петра, чтобы самое вечное в мире, но и самое легкое — что легче Духа? — не рассеялось по ветру, как пух одуванчика.

Это и сделал Канон. Круг его замкнут: «пятое Евангелие» никем никогда не напишется, а четыре дошли до нас и, вероятно, дойдут до конца времен, как они есть.

Но если воля Канона — не двигаться, не изменяться, быть всегда тем, что он есть, а воля Евангелия — вечное изменение, движение к будуще-

му, то благодаря Канону мы уже не имеем Евангелия. Вот один из многих парадоксов, кажущихся противоречий самого Евангелия.

Логика Канона доведена до конца в церкви Средних веков, когда запрещено было читать Слово Божие где-либо, кроме Церкви, и на каком-либо ином языке, кроме церковного, латинского, так что мир остался, в точном смысле, без Евангелия.

II

Рост человеческого духа не остановился в IV веке, когда движущая сила Духа — Евангелие — заключена была в неподвижный Канон. Дух возрастал, и слишком для него узкая форма Канона давала трещины. Вырос дух из Канона, как человек вырастает из детских одежд. Старые мехи Канона рвались от нового, в самом Евангелии бродящего, вина свободы.

Свято хранил Канон Евангелие от разрушительных движений мира: но если дело Евангелия — спасение мира, то оно совершается за неподвижной чертой Канона, там, где начинается движение Евангелия к миру и мира — к Евангелию.

Истина сделает вас свободными (Ио. 8, 32), —

этим словом Господним освящается, может быть, сейчас, как никогда, свобода человеческого духа в движении к Истине — свобода Критики, потому что в яростной сейчас, тоже как никогда, схватке лжи с истиной — врагов христианства с Евангелием — нужнее, чем брони Канона, меч Критики — Апологетики (это два лезвия одного меча для верующих в истину Евангелия).

Тело Евангелия расковать от брони Канона, лик Господень — от церковных риз так нечеловечески трудно и страшно, если только помнить, Чье это тело и Чей это лик, что одной человеческой силой этого сделать нельзя; но это уже делается самим Евангелием — вечно в нем дышащим Духом свободы.

III

В мнимом противоречии, действительном **противоположном согласии**, *concordia discors*, Одного и Трех — Иоанна и Синоптиков, заключаются, как мы уже видели, все движущие силы, вечный полет Евангелия. Это и в предчувствии Церкви угадано: Иоанн IV Евангелия — Иоанн «Откровения». Но чтобы не только самому увидеть — чтобы и другим показать это согласие двух свидетелей, первого, Марка-Петра, и последнего, Иоанна, надо снова свести их на «очную ставку», возобновить нерешенный спор этих двух, как будто противоположных, свидетелей, чего, как мы тоже видели, сделать нельзя, оставаясь в черте Канона; а только мы делаем шаг за черту, мы уже лицом к лицу с Иисусом Неизвестным Неизвестного Евангелия. Есть ли что-нибудь за чертой или нет ничего — пустота, Киммерийская ночь, тьма крошечная? Страшен и чуден переход евангельской критики за черту Канона, как первого, нашей гемисферы, пловца переход за черту экватора: нового неба новые звезды видит он и глазам своим не верит, не понимает, и долго еще, может быть, не поймет, что это иные звезды того же неба.

Аггарна, «не записанные» в Евангелии, в Канон не вошедшие слова Господни — эти, в нашей гемисфере невидимые, таинственно из-за горизонта Евангелия восходящие, того же неба иные звезды. А Южного Креста созвездие — обе гемисферы соединяющий знак — таинственнее всех: «Иисус вчера и сегодня, и во веки тот же» (Евр. 13, 8).

IV

Многое еще имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить (Ио. 16, 12).

Аггарон и есть это «многое», Им тогда еще не сказанное и потом не записанное в Евангелии.

Много еще других (чудес) сотворил Иисус, о которых не написано в книге сей (Ио. 20, 30).

Это в предпоследней главе Иоанна, и теми же почти словами — в последней:

Многое еще другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, миру не вместить бы написанных книг (21, 25).

«Многое сотворил» — значит, и сказал многое. Речь здесь, конечно, идет не о вещественном множестве ненаписанных книг, а о духовной мере одной, в мире не вмещаемой Книги, «Ненаписанного Евангелия» — Аграфы.

«Око душевное да устремляется к внутреннему свету открывающейся в Писании незаписанной истины», — учит св. Климент Александрийский находить Аграфу в самом Евангелии.

«Слово Божие говорил Иисус ученикам Своим (иногда) особо (в тайне) и большею частью в уединении; кое-что из этого осталось незаписанным, потому что ученики знали, что записывать и открывать всего не должно», — сообщает Ориген. И опять Климент: «Господь, по воскресении Своём, передал тайное знание (гнозис) Иакову Праведному, Иоанну и Петру; эти же передали прочим Апостолам (Двенадцати), а те — Семидесяти».

Все записанные в Евангелии слова Господни можно прочесть в два-три часа, а Иисус учил не меньше полутора лет, по Синоптикам, не меньше двух-трех — по Иоанну; сколько же осталось незаписанных слов! И сколько потеряно, потому что не нашло отклика в слышавших, — пало при дороге или на каменистую почву. Вот из этого-то, может быть, кое-что и сохранилось в Аграфках.

V

«Нам невозможно сказать всего, что мы видели и слышали от Господа, — вспоминает в «Деяниях Иоанна» Левкий Харин, свидетель II века, может быть, из круга Эфесских учеников Иоанна Пресвитера. — (Многие) дивные и великие дела Господни должны быть до времени умолчаны, потому что неизреченны: ни говорить о них, ни слышать нельзя». — «Многое же еще и другое я знаю, чего не умею сказать так, как Он хочет».

«Многие тайны Ты нам открыл; меня же избрал из всех учеников и сказал мне три слова, ими же я пламенею, но другим сказать не могу», — вспоминает и Фома Неверный, Фома Близнец, по одному преданию, тоже очень древнему, родной брат, «близнец Христов», *didymos tou Christou*, «принявший от Него слова сокровенные».

Я — Тот, кого ты не видишь,
чей голос только слышишь...
Я не тем казался, чем был. —
Я не то, чем кажусь.

говорил сам Иисус, кажется, в том же круге Эфесских учеников Пресвитера Иоанна.

Те, кто со Мной,
Меня не поняли.

Как подлинно это слово, если не по звуку, то по смыслу, видно опять из Евангелия:

Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? (Мк. 8, 17—18).

Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. (Лк. 18, 34).

VI

Мы должны помнить, что, прежде чем отлиться в форму, сделаться «Писанием», все Евангелие было «Незаписанным Словом», *Agraphon*, — расплавленным металлом. Это нам очень трудно себе представить, но без

этого нельзя понять, что такое Аграфы, эти через края формы переливающиеся капли все еще кипящего металла; нам трудно представить себе, что между Аграфом и Апокрифом такая же разница, как между Евангелием и Апокрифом (конечно, не в древнем смысле «утаенного», а в новом — «ложного» Евангелия); трудно поверить, что такие подлиннейшие из подлинных слова Господни, как «всякая жертва солью осолится» (Мк. 9, 94) и «не — знаете, какого вы духа» (Лк. 9, 55—56), не «каноничны», исключены из евангельского текста, принятого в IV веке, *Vulgata*, но засвидетельствованы древнейшими текстами от 140 г., *Cantabrigienses*, и только, вопреки Канону, через италийские Кодексы (*Italocodices*) вошли в наш текст. Так все еще взрывается в самом Евангелии форма Канона кипящим металлом Аграфов.

Чудный рассказ Иоанна о жене прелюбодейной (8, 1—11), — тоже исключенный некогда из Канона, Аграф, — в рукописях до середины IV века отсутствует, и еще бл. Августин считает его Апокрифом, потому что в нем будто бы разрешается женщинам «безнаказанность прелюбодейная» <...> и «слишком тяжелый грех слишком легко прощается». Церковь, вопреки Августину, вопреки Канону, себе самой вопреки, сохранила этот рассказ, не побоявшись милосердия Господня, и хорошо, конечно, сделала.

Вот по таким едва не потерянным для нас жемчужинам видно, какие могли уцелеть сокровища в Аграфах.

Чем бы ни было дошедшее до нас в жалких обломках «Евангелие от Евреев», откуда, вероятно, заимствован и этот рассказ о жене прелюбодейной, — второй ли это Матфей, отличный от нашего, или только первая к нему ступень, или, наконец, совсем от него независимое Иудейское предание, — но если, как это тоже вероятно, «Евангелие от Евреев» появилось, одно из всех, в родной земле Иисуса, Палестине, около 90-х годов I века, почти одновременно с нашим Лукой и Иоанном, то в нем могло сохраниться не менее исторически подлинное свидетельство, чем в тех. Так уже целое Евангелие — Аграф.

Около 200 г. Серапион Антихийский сначала разрешил «Евангелие от Петра», а потом запретил его, узнав, что оно «заражено ересью Гностиков»; сразу, значит, не подумал: «Четыре Евангелия, пятого быть не может». Следовательно, в начале III-го, в конце II века не был еще установлен, в позднейшем смысле, Канон; расплавленный металл Евангелия еще кипел.

VII

Как дошли до нас Аграфы?

Вероятно, многие древние Кодексы, подобные спасшимся только чудом *Cantabrigiensis D* и *Syrus-Sinaiticus*, хранились в монастырских книгохранилищах до конца IV века, когда установлен был Канон (в 382 г. при папе Дамазе), а затем уничтожены. Из них-то св. отцы и черпают Аграфы. Так, Афанасий Синайский пользуется *Cod. Sinaiticus*, а Макарий Великий — кодексами, хранившимися в киновиях Скетийской пустыни. Вот почему в Святоотеческой письменности «неканонические» слова Господни еще не различаются от канонических.

Только вместе с Каноном родился и рос в веках страх незаписанного в Евангелии, «не-канонического», так что в XVI веке протестантский богослов Бэза (*Beza*), найдя в Лионском монастыре Св. Иринея *Codex iudeo-xristianicus* архетип 140 года, — следовательно, на 250 лет древнее Канона, — со многими Аграфами, так испугался, что отослал его потихоньку в Кембриджский университет с надписью: «Лучше скрыть, чем обнаруживать»; там он и скрывался двести лет, как свеча под сосудом.

Эта свеча — Аграф — и в наши дни из-под сосуда не вынута как следует, может быть, потому, что тайны Божьей людям нельзя открыть, — сама открывается.

«Лучше оставим в покое все Аграфы», — советует кто-то из свободнейших критиков; и даже такой великий ученый, как Гарнак, не сомневающийся в исторической подлинности многих Аграфов, когда дело доходит до «существа христианства», о них молчит, скрывает их, как старый Бэза: «Лучше скрыть, чем обнаружить».

VIII

В конце прошлого века на краю Ливийской пустыни, там, где был древний египетский город Оксирих (Oxyrhynchos), найдены в одном христианском гробу II — III века три полуистлевших клочка папируса, должно быть, от ладанки, которую покойник носил на груди и завещал положить с собою в гроб. Чудом сохранились на этих клочках 42 строки греческого письма, с шестью Аграфами и началом седьмого. Как знать, не будут ли когда-нибудь найдены и другие такие же в той же святой земле, о которой сказано: «Сына Моего воззову от Египта» (Ос. 11, 1)? «Знающим» будут эти клочки дороже всех сокровищ мира.

Эти только что узнанные — сказанные — слова Господни сдувают с наших глаз, как бы дыханием Божественных Уст, пыль тысячелетней привычки — **неудивления** — главное, что мешает нам видеть Евангелие. Точно вдруг слепой прозревает, видит и удивляется — ужасается. Вот когда понимаешь, что значит:

К высшему Познанию (Гнозису) Первая ступень — удивление. — Ищущий да не покоится... пока не найдет; а найдя, удивится; удивившись, восцарствует; восцарствовав, упокоится.

Вместо «удивится», по другому чтению, «ужаснется», и это, пожалуй, вернее: ужасу подобно удивление первого, увидевшего иные звезды пловца.

IX

Умными будьте менялами, —

это слово блаженного Нищего о таких же несчастных, как мы, только маленьких, тогдашних, «биржевых дельцах» и «спекулянтах», уличных «банкирах» (trapezitai от trapeza, «стол», «прилавок», итальянская банка Средних веков — будущий «Банк»), эту Геннисаретскую «соленую рыбку» жадно проглотил наш скаредный век. В подлинности слова никто не сомневается, и, в самом деле, сразу чувствуется она по слишком знакомой нам из Евангелия «соленой сухости» арамейских logia.

X

Вот, может быть, лучший эпитаф ко всем остальным Аграфам: умными мы будем менялами, чтобы избежать двух одинаково страшных и возможных здесь ошибок: медь принять за золото, а золото — за медь. Кажется даже, вторая ошибка для таких «менял», как мы, легче первой.

С немощными Я изнемогал, с алчущими алкал, с жаждущими жаждал.

Если бы кто-нибудь спросил Его: «Господи, мог ли Ты это сказать? — Он, может быть, ответил бы с умной — да, не только с божественно-мудрой, но и человечески умной, простой, веселой улыбкой: «Ну конечно, мог! Скажите это за Меня». Вот и сказали, и хорошо сделали — так хорошо, что не различишь, Сам ли Он говорит или за Него это сказано.

XI

«Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником», — так у Луки (17, 37), уже стынущий металл, а в Аграфе — еще кипящий:

Кто не несет креста своего, тот Мне не брат.

Это второе насколько «удивительнее» — «ужаснее» первого, подлиннее, огненнее, ближе к сердцу Господню:

Близ Меня — близ огня; далеко от Меня — далеко от царства.

Там высший требует, а здесь просит Равный. И это — как новый огонь на старый ожог; заживет и этот, но не так-то легко, и, может быть, «узнавшему» — «обожженному» как следует — этого хватит на всю жизнь.

Стоит лишь сравнить эти два слова — то, записанное в Евангелии, о несении креста учеником, и это, незаписанное, о несении братом, — чтобы почувствовать, с какой внутренней свободой в передаче подлинных слов Господних достигается недостижимое, чтобы услышать рядом с человеческим дыханием дыхание Духа Божьего; чтобы увидеть, как тихо зреет слово Его под Его же взором, — райский плод под лучом незакатного солнца.

XII

Кто видел брата, тот видел Бога.

«Господи, мог ли Ты это сказать?» — «Только это Я и говорил всегда».

Радуйтесь только тогда, когда видите брата вашего в радости (в милости Божьей). — Брата должно прощать семьдесят семь раз... ибо у самих пророков, помазанных Духом Святым, грешные речи найдены.

По общему правилу Евангельской критики: чем для нас невероятнее, тем подлиннее, — и это подлинно, потому что вторая часть слова, о Духе, «невероятная».

В чем вас застигну,
в том и буду судить.

Трудно поверить, что слова этого нет в Евангелии, так оно памятно-подлинно, может быть, потому, что Им Самим в человеческом сердце написано. Раз услышав, уже никогда не забудешь этого страшного слова, а если, живя, и забудешь, то, умирая, вспомнишь.

XIII

Первое прошение молитвы Господней в Евангелии: «Да святится имя Твое», — так «пыльно-привычно» для нас, что уже почти ничего не значит; произнося его устами, мы уже не слышим сердцем, как шага своего в пыли. Но Аграфом сдунута пыль:

Да снидет на нас и очистит нас Дух Святой.

Вынута свеча из-под сосуда, и новым светом озарилась вся молитва. Третье, главное прошение:

Да придет царствие Твое,

только теперь получает новый, «удивляющий» смысл: это уже не первое, бывшее царство Отца, не второе, настоящее, — Сына, а третье, будущее, — Духа.

Пыль сметена с дороги человечества, всемирной истории, дыханием Духа, и громового шага Его кто не услышит?

XIV

Матерь Моя — Дух Святой.

Этим таинственным словом-шепотом «в темноте, на ухо», — может быть, только среди избранных, Трех из Двенадцати, начинает Иисус в «Евангелии от Евреев» рассказ об Искушении (кто, в самом деле, кроме Него, мог бы это знать и рассказать?).

Судя по тому, что слово это внятно если не сердцу, то хоть уху человеческому только на родном языке Иисуса, арамейском, потому что только в нем слово *Rucha*, «Дух», не мужского рода, как по-латыни, и не среднего, как по-гречески, а женского, Аграф этот один из древнейших и подлиннейших арамейских *logia*. Но что с ним делать, мы не знаем, хотя он и касается основного христианского догмата — опыта — Троицы. Мы не знаем, но, может быть, знают старые старушки и маленькие дети, просто молящиеся Матери,

Теплой Заступнице мира холодного.

Сын говорит всегда об Отце и только здесь — о Матери. «Семя Жены сотрет главу Змия», — это Первоевангелие, Перворелигию всего человечества — религию Матери — Сын освящает; Новый Завет соединяет с Ветхим — только здесь; только здесь, вне Канона, как будто вне Церкви (но, может быть, Церковь шире, чем ей самой кажется), завершается догмат о Троице: Отец, Сын и Матерь-Дух.

И новым светом, еще сильнее, озаряется главное прошение молитвы Господней — о Царстве: первое царство — Отца, второе — Сына, третье — Духа-Матери.

XV

Что такое голод, знает только тот, кто сам голодал; он и поймет, почему «нищие Божьи», Эбиониты, молятся о хлебе не совсем так, как мы: не «хлеб наш насущный», а «хлеб наш завтрашний дай нам сегодня». Может быть, оба слова одинаково подлинны; кто как может, тот так и молился. Первое, конечно, выше, небеснее; второе ниже, но зато и ближе к земле, милосерднее.

Компасная стрелка христианства в этом втором слове чуть передвинулась или только невидимо дрогнула, и весь климат в христианстве вдруг изменился, тоже передвинулся от полюса к экватору.

Нищим, голодным так лучше молиться, и этому научить их мог лишь Тот, Кто сам был нищ и голоден: «с алчущими алкал, с жаждущими жаждал».

XVI

Ухом одним слушаешь меня, а другое закрыл.

Ухом небесным слушаем, а земное закрыли, потому и не услышали:

Просите о великом, и приложится малое; просите о небесном, и земное приложится.

Кант не знает, но, может быть, знает Гете, что без Христа и его бы, «великого язычника», не было. «Что такое культура, Иисус и не слышал», — думает Ницше, а протестантский пастор Науман, основатель «христианского социализма», однажды на скверной Палестинской дороге подумал: «Как же Иисус, ходивший и ездивший по таким дорогам, ничего не сделал, чтобы их исправить?» и «разочаровался» в Нем, как «в земном, на земных путях, помощнике человечества». Но если мы сейчас летаем через Атлантику, то, может быть, потому, что просили когда-то о «великом, небесном», и приложилось нам это «малое, земное»; и если снова не будем просить о том, отнимется у нас и это: снова поползем, как черви.

XVII

Только ли на небе Христос? Нет, и на земле:

Камень подыми, найдешь Меня; древо разруби, — Я в нем.

Им создано все; как же не быть Ему во всем?

Как же говорят влекущие нас к себе, будто Царствие (Божие) только на небе? Вот уличают их птицы небесные, и всякая тварь подземная, и всякая тварь земная, и рыба морская: все влекут нас в Царство (Божие).

Вот что значит у Марка: «Был со зверями, и Ангелы служили Ему» (Мк. 1, 13).

XVIII

Был среди вас, с детьми, и вы не узнали Меня. Ищущий Меня найдет среди семилетних детей, ибо Я, в четырнадцатом Зоне скрывающийся, открываюсь детям.

Это знакомый нам евангельский цветок; но сдунута пыль с него, и вновь задышал он такую райскою свежестью, что кажется — совсем другой, только что расцветший, невиданный.

XIX

Много в Евангелии горьких, слишком как будто для Христа человеческих, тем-то, однако, для нас и подлинных слов. Но есть ли горше, подлиннее этого:

В мире Я был, и явился людям во плоти, и всех нашел пьяными, никого — жаждущими. И скорбит душа Моя о сынах человеческих.

И другое, такое же подлинное, горькое:

Сущего с вами, живого, Меня вы отвергли, и слагаете басни о мертвых.

Как это страшно похоже на нас!

XX

Кажется, из ожерелья Евангельских Блаженств выпали две жемчужины и на дороге подобраны нищими:

Должно добру придти в мир, и блажен, через кого приходит добро.

Блаженны о погибели неверных скорбящие.

«Дети» роняют хлеб под стол, и там подбирают его «псы» — «неверные». Вот слово Господне из Корана:

Люди, помогайте Богу, как Сын Марии сказал: кто Мне в Боге помощник? И ученики сказали: мы.

Людям помогает Бог — это знают «верные»; Богу помогают люди — это знают «неверные». Вот почему «кто не несет креста своего, тот Мне не брат»: «люди, помогайте Богу», братья — Брату. «Дети» это забыли: помнят «псы». Как же Ему не сказать: «Веры такой не нашел Я и в Израиле» (Мт. 8, 10)?

«Смрад какой!» — сказали ученики, проходя мимо собачьей падали. «Зубы как белы!» — сказал Иисус.

Это только мусульманская легенда — не Аграф; но кто ее сложил, тот знал о Христе что-то, что-то в Нем любил, чего мы уже не знаем, не любим; точно глазами в глаза Его заглянул и увидел, как Он смотрит на все и чего ищет во всем: уж если в падали это нашел, то что же найдет в живом.

«Смрад какой!» — скажут и о нашей падали, а Он что-то о нашей красоте скажет — и мы воскреснем.

XXI

Иисус — мир да будет над Ним — говорит: мир сей мост; проходи по нем и не строй себе дома.

Это арабская надпись на воротах рухнувшего моста в развалинах каким-то монгольским императором в славу свою построенного и запустевшего города в непроходимой пустыне Северной Индии. Слово это хотя и не подлинно, но если не ухом, то сердцем как будто из Нагорной проповеди верно подслушано. Ветром каким эта пыль Галилейского цветка занесена в Индию, если не Его же уст дыханием — Духом? Скольких сердец, любивших Его, от Него до этой надписи должна была протянуться огненная цепь! И не значит ли это, что «живой, неумолкающий голос» Его из рода в род, из века в век: «Видели?» — «Видели», — «Слыша-

ли?» — «Слышали», — не только в христианстве, в Церкви, звучал, но и во всем человечестве? Не значит ли это, что единая Вселенская Церковь невидимая, больше, чем кажется нам, — чем, может быть, ей самой кажется?

XXII

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мт. 18, 20), —

вот основа видимой Церкви в Евангелии, а вот и невидимой — на полустлевшем клочке папируса, найденном на краю Ливийской пустыни, — может быть, гробовой ладанке:

Там, где двое... они не без Бога; и где человек один, — Я с ним.

Если именно сейчас, как никогда, мы одни, то это — самое драгоценное, подлинное, как бы только что сегодня сказанное, прямо из уст Его услышанное слово. Каждый из нас не ляжет ли в гроб и не встанет ли из гроба с этой ладанкой: «Я — один, но Ты со мной»?

XXIII

Косточки довольно палеонтологичны, чтобы восстановить допотопное животное — исчезнувший мир; звездного луча довольно спектральному анализу, чтобы зажечь потухшее солнце: может быть, и Аграфы довольно будут евангельской критике, чтобы осветить самое темное в жизни и в лице Иисуса Неизвестного.

А сейчас кажется иногда, и слава Богу, что этого почти никто не знает, что этой Божьей тайны нельзя людям открыть, пока сама не откроется. Самый свежий родник — тот, из которого никто еще не пил: такая свежесть в Аграфях; первый поцелуй любви сладчайший: такая сладость в Аграфях. А все-таки страшно: точно в темноте нам шепчет на ухо Он сам.

Если Он «всегда с нами до скончания века», то, конечно, не молчит, а говорит, и это всегдашнее слово Его — Аграф. Сердце человека — тоже «незаписанное слово Господне», и того, в Евангелии, может быть, нельзя прочесть без этого.

Тем же будет когда-нибудь Аграф для евангельской критики, чем «до-синоптический источник» был для Синоптиков, — темным, в светлом доме, окном в ночь Иисуса Неизвестного.

С мертвой точки сдвинется евангельская критика, а может быть, и все христианство, только тогда, когда заглянет за черту Евангелия, туда, где последний свидетель соглашается с первым, Иоанн — с Марком, где вместо четырех Евангелий — одно, «от Иисуса», и где среди восходящих из-за горизонта невидимых звезд таинственнее всех мерцает созвездие Креста — оба неба, дневное и ночное, соединяющий знак:

Иисус вчера и сегодня и во веки тот же (Евр. 13, 8),

тот же всегда и везде — по сю и по ту сторону Евангелия.

XXIV

Девять зеркал: видимых нам — четыре — наши Евангелия, и пять невидимых: общий для Матфея и Луки до-синоптический источник, **Q**, «два особых» (*Sonderquelle*), по одному у каждого из них; нижний слой, **A**, четвертого Евангелия, и, наконец, самое темное, близкое к нам, зеркало — Аграфы. Девять зеркал поставлены друг против друга так, что одно в другом отражается: одно зеркало, Марка, — в четырех — Матфея и Луки — двух видимых и двух невидимых, и все эти пять зеркал — в одном невидимом — **Q**; и все эти шесть в двух зеркалах Иоанна — в видимом — **B** и невидимом — **A**; и, наконец, все эти восемь — в девятом, самом глубоком и таинственном, — в Аграфях.

С каждым новым отражением возрастает сложность сочетаний в геометрической прогрессии, что делает простейшую книгу, Евангелие, слож-

нейшею. Друг в друге отражаясь, углубляют друг друга до бесконечности; противоположнейших светов лучи пересекаются, преломляются, и между ними всеми — Он. Только так и могло быть изображено Лицо Неизобразимое. Если ни для какого другого лица во всемирной истории мы не имеем ничего подобного, то лицо и жизнь Иисуса мы лучше знаем или могли бы знать, чем жизнь кого бы то ни было во всемирной истории.

XXV

И вот, все-таки: <...> «жизнь Иисуса Христа не может быть написана». С этой старинною, 70-х годов, но все еще как будто не устаревшею тезою Гарнака соглашается в наши дни Вельгаузен: мы узнаем об Иисусе, даже у Марка, только **необыкновенное**, а **повседневное** — откуда Он, кто Его родители, в какое время, где, чем и как Он жил, — нам остается неизвестным. Но, во-первых, все большее и лучшее знание тогдашней религиозно-бытовой иудейской среды позволяет нам заглянуть и в кое-что повседневное в жизни Иисуса, пусть малое, но важное. Во-вторых, сам Иисус так «необыкновенен», — с этим и Вельгаузен согласится, — что, может быть, неразумно сетовать на то, что и от свидетелей жизни Его мы узнаем больше необыкновенного, чем повседневного. И, наконец, в третьих: только необыкновенное мы знаем об Эдипе, Гамлете, Фаусте (I-й части); о двух последних — по нескольким месяцам, о первом — по нескольким часам жизни, но знание наше так глубоко, что, будь у нас нужный к тому поэтический — пророческий — дар, мы могли бы по этому видимому сегменту восстановить весь невидимый круг, рассказать всю их жизнь. Только «необыкновенное» мы узнаем и об Иисусе, по крайней мере по целому году, а может быть, и по двум, даже трем годам жизни Его; почему же мы не могли бы, будь у нас нужный дар, восстановить и по этому сегменту полный круг — всю Его жизнь?

Тезу Гарнака сильнее защищает Юлихер. «Только то, каким Иисус казался первой общине верующих, мы можем знать из Евангелий, но не то, каким Он действительно был; так далеко наш взгляд не проникает: горными высотами — первообщинною верою — замкнут для нас евангельский горизонт навсегда». Нет, не навсегда: все «пререкаемые знамения» (Лк. 2, 35), все «недоумения», «соблазны», *scandala* («блажен, кто не соблазнится о Мне», Мт. 11, 6), может быть, не только действующих лиц в Евангелии, но и самих Евангелистов, суть трещины в этой, как будто глухой, стене предания: сквозь них-то мы за нее и заглядываем или могли бы заглянуть в то, чем Иисус не только казался, но и действительно был.

XXVI

К тезе Гарнака, чтобы осталась она и сейчас неопровергнутой, надо бы прибавить одно только слово «нами»: нами жизнь Иисуса Христа не может быть написана. Главная здесь трудность познания вовсе не в нашем историческом, внешнем, а в религиозном, **внутреннем опыте**.

«Первые дни творения, когда земля была расплавлена творящим огнем, так же непредставимы для нас на нынешней охладелой земле, как первичные религиозные опыты, решавшие судьбы человечества», — замечает о первохристианстве Ренан, которого едва ли кто заподозрит в излишней церковной апологетике.

Всякое знание опытно. Но для первохристианства вообще, а для раскаленнейшего центра его — жизни человека Иисуса — тем более, у нас нет опыта, ни количественно, ни качественно равного и соответственного тому, что мы хотели бы знать. Мы себя и других обманываем, рассказывая об этой Жизни, как путешественники — о стране, в которой никогда не бывали.

Кажется, Гете больше любит христианство, чем Евангелие, и Евангелие — больше, чем Христа, но вот и он знает, что, «сколько бы ни возвышался дух человеческий, это (жизнь и личность Христа) никогда не будет превзойдено».

Два глубоких исследователя и свободнейших евангельских критика наших дней, Гарнак и Буссе, друг от друга независимо, теми же почти словами, говорят о жизни Христа: «Божеское здесь явилось в такой чистоте.

как только могло явиться на земле» (Гарнак); «Бог никогда, ни в одной человеческой жизни, не был такою живою действительностью, как здесь» (Буссэ).

Вспомним также Маркиона Гностика; многое, может быть, простится ему за эти слова: «О, чудо чудес, удивление бесконечное! Людям ничего нельзя сказать, ничего подумать нельзя, что превзошло бы Евангелие; в мире нет ничего, с чем можно бы его сравнить». Если это верно о Евангелии — все-таки бледной тени Христа, то насколько вернее о Нем самом.

XXVII

Главная трудность для нас, чтобы даже не рассказать, а только увидеть жизнь Христа, в том и заключается, что она **ни с чем не сравнима**. Знание — сравнение; чтобы узнать что-нибудь как следует, мы должны сравнивать то, что узнаем сейчас, с тем, что знали прежде. Но жизнь Христа так ни на что не похожа, несоизмерима ни с чем, что мы знали, знаем и можем узнать, так необычайна, единственна, что нам ее не с чем сравнить. Весь наш всемирно-исторический опыт здесь изменяет нам, и, оставаясь в пределах его, мы должны признать, хотя по-иному, чем Гарнак, что жизнь Христа, в самом деле, непознаваема, «неописуема», *scribi nequit*.

Если же, вопреки недостатку опыта, мы захотели бы все-таки сделать эту жизнь предметом знания, включить ее в историю, нам пришлось бы, исходя не из верного, хотя и недостаточного опыта, что жизнь Иисуса — воистину **человеческая**, а из неверного, что она **человеческая только**, и, доводя до конца логику этого неверного опыта, согласиться кое с кем из крайне левых критиков, что жизнь Иисуса — жизнь «сумасшедшего» («Вышел из Себя» — «сошел с ума», как думают братья Его, Мк. 3, 21) или, еще хуже, согласиться с Ренаном, что вся эта жизнь «роковая ошибка», что Величайший в мире так обманул Себя и мир, как никто никогда не обманывал; или, наконец, что хуже всего, согласиться с Цельзом, что Иисус «жалкою смертью кончил презренную жизнь».

Чтобы избавиться от всех этих нелепых и кощунственных выводов, мы вынуждены признать, что жизнь Иисуса — **не только человеческая жизнь**, а что-то большее — может быть, то самое, что выражено в первых о ней словах первого ее свидетеля Марка — Петра:

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия.

XXVIII

Но, зная, что у нас самих нет опыта для «Жизни Христа», мы знаем или могли бы знать, что у кого-то он **был**.

«Мученики», *martyrioi*, значит «исповедники», «свидетели» — конечно, Христа. Может быть, они-то и обладают этим, нам недостающим, опытом; они-то, может быть, и знают о жизни Христа, чего мы не знаем.

Знает о ней св. Юстин Мученик, говорящий римскому кесарю с бóльшим достоинством, чем Брут: «Можете нас убивать, но повредить нам не можете». Знает св. Игнатий Антиохийский (около 107 г.), когда, идя на арену Колизея, молится: «Я, пшеница Господня, смолотая зубами хищных зверей, хлебом Твоим, Господи, да буду!» Знают и Мученики Лионские, 177 года: если бы так твердо не поверили они, что все частицы брошенного в Рону пепла от их сожженных тел Бог соберет, в воскресение мертвых, и образует из них точно такие же тела, какие были у них при жизни, но уже «прославленные»; если бы жгущий их огонь, терзающее железо не были для них менее действительны, осязательны, чем тело воскресшего Господа, то, как знать, перенесли ли бы они муки свои с такою твердостью, что на следующий день сами палачи, обратившись ко Христу, пошли за Него на те же муки?

Может быть, для этих «очевидцев», «свидетелей», жизнь Христа озаряется молниейными светом до таких глубин, как ни одна из человеческих жизней: может быть, она для них действительней, памятной, известнее, чем их собственная жизнь.

Все это значит, чтобы лучше узнать жизнь Христа, надо лучше жить; как проживем, так и узнаем. «Знал бы себя — знал бы Тебя» <...>. Каж-

дым злым делом мы доказываем — «исповедуем», — что Христа не было; каждым добрым — что Он был. Чтобы по-новому прочесть Евангелие, надо по-новому жить.

XXIX

«Ты изменяешься — значит, ты не истина», — утверждает Боссюэт неизменность — неподвижность Канона и Догмата. Можно бы ему возразить: «Ты не изменяешься — значит, ты не жизнь». Вечно изменяется Евангелие, потому что вечно живет. Сколько веков, народов и даже сколько людей — столько Евангелий. Каждый читает — пишет его — верно или неверно, глупо или мудро, грешно или свято, — но по-своему, по-новому. И во всех — одно Евангелие, как во всех каплях росы солнце одно.

Кто откроет Евангелие, для того уже все книги закроются; кто начнет думать об этом, тот уже не будет думать ни о чем другом и ничего не потеряет, потому что все мысли — от этого и к этому. Пресно всё после этой соли; скучны все человеческие трагедии после этой «Божественной Комедии». И если наш мир, вопреки всем своим страшным плоскостям, все-таки страшно глубок, свят, то потому только, что в мире был Он.

XXX

Жуан Серралонга, испанский бандит, подойдя к виселице, сказал палачу: «Я буду читать **Верую**, а ты смотри, не накидывай мне петли на шею, пока я не прочту: верую в воскресение мертвых». Может быть, этот разбойник так же, как тот, на кресте, что-то знал об Иисусе, чего не знают многие неверующие и даже верующие исследователи «жизни Христа». Может быть, многие из нас могли бы что-то узнать об этой жизни только так, с петлей на шее.

«В смертной муке Моей Я думал о тебе; капли крови Моей Я пролил за тебя». Это услышав, можно ли сесть за стол, взять перо и начать писать «Жизнь Христа»?

И псы под столом едят крохи у детей.

Может быть, многие из нас могли бы подойти к жизни Христа только так: дети уронят — псы подберут.

Был со зверями, и ангелы служили Ему (Мк. 1, 13).

Может быть, и в зверином зрачке лицо Его отражается, как в ангельском, и в обоих Он узнает Себя.

XXXI

Как смотреть на Него нечистыми глазами? как говорить о Нем нечистыми устами? как любить Его нечистым сердцем?

Приходит к Нему прокаженный и, падая перед Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, сжалившись над ним, простер руку Свою, коснулся его и сказал ему: хочю, очистишь (Мк. 1, 40—42).

Только так, как прокаженные, мы можем прикоснуться к Нему. Может быть, что-то знают о Нем грешные, чего не знают святые, что-то знают погибающие, чего не знают спасенные. Если тот прокаженный знал, то, может быть, и мы.

XXXII

Есть у нас для этого знания одно, может быть, нам самим неизвестное и нежеланное, но перед веками христианства неотъемлемое преимущество: сходство в одной, религиозно все решающей точке нашего времени с тем, когда жил Иисус: мир никогда еще не погибал и, сам того не зная, не ждал спасения так, как тогда — и теперь; мир еще никогда не чувствовал в себе такой зияющей пустоты, в которую вот-вот провалится все. Те же и теперь, как тогда, наступающие внезапно муки родов; тот же никем не

услышанный глаз вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу!» Та же секира при корне дерев; та же находящая на мир невидимая сеть; тот же крадущийся вор в ночи — день Господень; то же на грозно-черном и все чернеющем, грозеющем небе, тем же огнем написанное слово: **Конец**.

Пусть о Конце никто еще не думает, но чувство Конца уже в крови у всех, как медленный яд заразы. И если Евангелие есть книга о Конце, — «Я есмь первый и последний, начало и конец», — то и мы, люди Конца, к ужасу нашему или радости, может быть, ближе к Евангелию, чем думаем. Пусть никто не прочтет его, но если бы прочли, то могли бы рассказать «Жизнь Иисуса», как никто никогда не рассказывал.

XXXIII

— А мир-то все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и, как знать, не останется ли Он в ужасном одиночестве? — говорил мне намедни умный и тонкий человек, до мозга костей отравленный чувством Конца, но, кажется, сам того еще не знающий, хотя постоянно уже думающий о Христе или только кружащийся около Него и обжигающийся, как ночной мотылек о пламя свечи; говорил, как будто немного стыдясь чего-то, — может быть, смутно чувствуя, что говорит просто пошлость. Строго, впрочем, судить его за это нельзя: многие сейчас думают так, — можно даже сказать, почти все люди мира сего, отчего эта мысль не становится, конечно, ни умнее, ни благороднее; может быть, думает так и кое-кто из самих христиан, а если молчит, то едва ли тоже от слишком большого ума и благородства.

Спорить с этим очень трудно, потому что для этого надо стать на почву противника, а этого сделать нельзя, самому не оглупев.

Суд большинства признать над Истиной, да еще в религии, кажется, последней и единственной области, этому суду не подвластной; согласиться, что по приговору большинства истина может сделаться ложью, а ложь — истиной — есть ли, в самом деле, что-нибудь глупее этого?

XXXIV

Сколько сейчас людей против и сколько за Христа, мы не знаем, потому что для веры нет статистики; здесь все решается не количеством, а качеством: «Один для меня десять тысяч, если он лучший», по Гераклиту и по Христу. Но если бы мы даже знали, что сейчас против Христа почти все, а за Него почти никто, — этим ли бы решался для нас вопрос, быть нам за или против Христа?

Когда я напомнил об этом моему собеседнику, он застыдился как будто немного побольше, но, увы, стыдом людей не проймешь, особенно в такие дни, как наши.

Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8).

Если Он сам об этом спрашивал, то потому, конечно, что знал сам, что мир может пойти и не туда, куда Он зовет, и что Он может остаться в «ужасном одиночестве». Но вот все-таки:

Я победил мир (Ио. 16, 33).

В том-то и сила Его, что Он не только раз, на кресте, победил, но и потом сколько раз побеждал и всегда побеждает мир «в ужасном одиночестве», **один против всех**. И если в чем-нибудь, то именно в этом христианство подобно Христу: можно сказать, только и делало и делает, что побеждает одно против всех; погибая, спасается. Вот где не страшно сказать: чем хуже, тем лучше. Только ветром гонений уголь христианства раздувается в пламя, и это до того, что кажется иногда, что не быть гонимым значит для него совсем не быть. Мнимое благополучие, равнодушная благосклонность — самое для него страшное. «Благополучие» длилось века, но, слава Богу, кончается — вот-вот кончится, и христианство вернется в свое естественное состояние — войну одного против всех.

XXXV

Дьявол служит Богу наперекор себе, как однажды признался Фаусту Мефистофель, один из очень умных дьяволов:

Я — часть той Силы,
Что вечно делает добро, желая зла.

В главном все же не признался: что для него невольное служение Богу — ад.

Русские коммунисты, маленькие дьяволы, «антихристы», служат сейчас Христу, как давно никто не служил. Снять с Евангелия пыль веков — привычку; сделать его новым, как будто вчера написанным, таким «ужасным» — «удивительным», каким не было оно с первых дней христианства, — дело это, самое нужное сейчас для Евангелия, русские коммунисты делают так, что лучше нельзя, отучая людей от Евангелия, пряча его, запрещая, истребляя. Если бы только знали они, что делают, — но не узнают до конца своего. Только такие маленькие, глупые дьяволы, как эти (умны, хитры во всем, кроме этого), могут надеяться истребить Евангелие так, чтобы оно исчезло из памяти людской навсегда. Тот, настоящий, большой дьявол — Антихрист — будет поумнее: «Христу подобен во всем».

Нет, люди не забудут Евангелия; вспомнят — прочтут, мы себе и представить не можем, какими глазами, с каким удивлением и ужасом; и какой будет взрыв любви ко Христу. Был ли такой с тех дней, когда Он жил на земле?

Может быть, взрыв начнет Россия, — кончит мир.

XXXVI

Но если даже все будет не так или не так скоро, как мы думаем, — может ли быть христианству хуже, чем сейчас, — не в его глазах, конечно (в его — «чем хуже, тем лучше»), а в глазах его врагов? Может быть, и может, но что из того?

Ах, бедный друг мой, ночной мотылек, обжигающийся о пламя свечи, вы только подумайте: если нам суждено увидеть новую победу над христианством человеческой пошлости и глупости, а самого Христа в еще более «ужасном одиночестве», то кем надо быть, чтобы покинуть Его в такую минуту; не понять, что ребенку понятно: все Его покинули, предали, — Он один, — тут-то с Ним и быть; тут-то Его любить и верить в Него; кинуться к нему навстречу, Царю Сиона кроткому, ветви с дерев и одежды свои постлать перед Ним по дороге и, если люди молчат, то с камнями вопить:

**Осанна! Благословен Грядущий
во имя Господне!**

(Продолжение следует.)



Юрий ПИВОВАРОВ, Андрей ФУРСОВ

КПСС: состоялся ли суд истории?

Сегодня, когда нынешний, двенадцатый номер журнала вышел из печати, решение Конституционного суда Российской Федерации по вопросу о проверке конституционности указов Президента Б. Н. Ельцина уже обнародовано. И сам ход слушаний этого дела, и вердикт суда, по-видимому, будут еще долго осмысливаться и анализироваться. Однако если позиции сторон были широко представлены в средствах массовой информации, то мнения экспертов оставались преимущественно за кадром. Между тем некоторые из экспертиз представляют собой системное, целостное видение коммунистического общества и выходят за рамки конкретных задач, стоявших перед экспертами.

Публикуемая ниже работа принадлежит перу двух экспертов Конституционного суда. Авторы приносят благодарность Г. А. Антонову, С. В. Лёзову, В. Н. Листовской, М. Е. Петросян, чьи материалы были использованы при подготовке рекомендаций для Конституционного суда.

Слушания в Конституционном суде начались как рассмотрение исков группы народных депутатов. Однако постепенно этот процесс превратился в слушания по поводу самой КПСС.

Поначалу слушания вызвали в обществе большой интерес. Но постепенно нарастало разочарование, которое сменилось почти полным безразличием. Почему же этот процесс, которому приписывали значение «второго Нюрнберга», по сути своей вылился в некое подобие товарищеского суда, только очень затянувшегося? Да и зашедшего в тупик, что, кстати, давно стало ясно даже участвующим в суде сторонам.

Вот этот тупик и представляется одним из самых важных результатов шестимесячного «сидения на Ильинике». Важных и — естественных, поскольку отражает ситуацию в нашей стране. Тупиковость эта проявляется и в том, что у общества нет адекватных представлений о самом себе и о своей истории. Соответственно, и о социальной природе КПСС.

Участвуя в этом процессе в качестве экспертов, мы оказались перед необходимостью ответить на следующие вопросы:

1. Что такое КПСС? Если КПСС является партией, то возможна постановка вопроса о конституционности Указов Президента. Если же КПСС не партия, то вопрос отпадает сам собой.

2. Если КПСС не является партией, то возникает вопрос: что есть КПСС?

3. Чем была КПСС в советской системе в соответствии с правом, характерным для этой системы? Этот вопрос особенно важен потому, что одна из центральных проблем всех дискуссий о судьбе КПСС — проблема ее имущества. Иными словами, необходимо ответить на вопрос, на каком юридическом основании КПСС владела имуществом.

Ответы на эти три вопроса предполагают понимание того, чем была коммунистическая система в целом.

В Указе Президента «О деятельности КПСС и КП РСФСР» говорится: «События 19—21 августа высветили со всей очевидностью тот факт, что КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм формирования и реализации политической власти путем сращивания с государственными структурами или их прямым подчинением КПСС».

Итак, утверждается, что КПСС никогда не была партией, а представляла собой особый механизм формирования и реализации власти. Но, по нашему мнению, власти не политической.

Употребление в Указе, а также научной литературе и публицистике таких терминов, как «политическая власть», «политическая партия», «государство», «государственные структуры», «политическая система», «политика», «право» и т. д., для описания и характеристики того социального порядка, который существовал на территории бывшей Российской империи (почти всей) с октября 1917 г. по август 1991 г., не адекватно реальному содержанию этого порядка. Более того, искажает его. Примером такого искажения может служить утвер-

ждение в Указе, что КПСС — это механизм формирования и осуществления именно *политической* власти, срощейся с якобы государственными структурами или прямо подчинившей их себе. На самом деле здесь не было ни партий, ни государства, ни политики, ни права. Что же здесь было? Описание реального содержания того строя, который мы будем именовать Коммунистическим Порядком (КП), позволит понять как то, чем была КПСС, так и то, чем она не являлась.

Что такое КП? Каковы характерные для него формы власти и собственности? Если капитализму присущи дифференциация общества на экономическую, социальную, политическую и идеологическую сферы, наличие государства и гражданского общества, публичного и частного права и, наконец, частной собственности, то коммунизм, по определению, есть отрицание всего этого. Уничтожив частную собственность и гражданское общество, отменив одновременно публичное и частное право, большевики, захватив политическую власть и овладев государством, по сути, уничтожили как политику, так и государство. Власть утратила свой дифференцированно-специфический и частичный характер и превратилась во всеохватывающую социально однородную власть, единственная опора которой — насилие. Так суть коммунистической власти понимали и сами большевики.

Социально однородная власть — власть функциональная. Это значит, что она не связана непосредственно ни с какой особой содержательной структурой и потому может легко внедряться в любую структуру, устрояя ее специфическое содержание и превращая ее в структурную ячейку (функциональной) власти.

Необходимое условие существования политической партии — наличие политики как особой сферы и гражданского общества. Но КП, как мы уже отмечали, предполагает отсутствие не только партий и политической сферы, но и государства, а также всех общественных организаций и профессиональных союзов. То, что в КП именовалось партией, государством, общественными организациями, профсоюзами, на самом деле являлось функциональными органами, сегментами этого порядка, неполитического по своей сути.

Далеко не всякая власть есть власть политическая, политика — результат, а не предпосылка исторического процесса, она имеет историческое происхождение. Политика, политические отношения, в *точном и строгом смысле слова*, суть такие, в которые вступают социальные агенты, свободные от каких бы то ни было внеэкономических связей государства-подчинения. Это отношения, обе стороны которых — субъекты. Отношения власти между рабом и господином, крепостным и феодалом не являются политическими, поскольку воля раба и

крепостного отчуждена внешнеэкономически. Следовательно, политика, политическая сфера вообще не нужны для регулирования отношений подобного типа. Условием (и необходимостью) возникновения политики, политической сферы является замена внешнеэкономических производственных отношений экономическими, когда в условиях рынка агенты производственных отношений противостоят друг другу не как господа и подчиненные, а как независимые, свободные индивиды, свободные владельцы, а точнее — частные собственники капитала или рабочей силы. Поскольку экономическая сфера социума обособляется от общественного целого и выделяется из сферы производственных отношений, здесь-то и возникает необходимость регулирования, во-первых, неэкономических отношений, во-вторых, отношений непроизводственных (раньше эта регуляция была единой) и, следовательно, необходимостью особого инструмента, особой автономной и институционально оформленной для достижения именно этих целей сферы. Такой сферой и стала политика, которая, следовательно, есть частичный (или частный) регулятор общественных отношений (в отличие, например, от отношений господства-подчинения, имеющих тотальный, синтетический характер)¹. Основное противоречие политической сферы, которое и конституирует ее как таковую, — это противоречие между государством и гражданским обществом. Короче, политическая власть есть власть дифференцированная, специализированная и частная.

Особое значение имеет вопрос о государстве, поскольку в Указе упор сделан на то, что КПСС превратилась в государственную структуру, подменяла собой государство. Государство как историческое явление (не путать с аппаратом управления вообще, сколь бы сложным и объемным он ни был) возникает наряду с гражданским обществом как составной элемент политической сферы. Как о государственном об аппарате управления можно говорить только в том случае, когда эта сфера управления обособилась от управления всеми другими областями общественной жизни. Не случайно Маркс называл государство в капиталистическом обществе «завершенным», т. е. обособившимся как политическое явление от экономики, морали, культуры и т. д., а в рамках политики — от гражданского общества. С исчезновением гражданского общества и политики государственная власть перестает быть государственной. Если государство уничтожает гражданское общество, оно перестает быть государством. В этом смысле был прав И. Сталин, который в «Вопросах ленинизма» писал, что в СССР государство отмирает не в результате постепенного ослабления его функций, как

¹ Подр. см. об этом: Фурсов А. И. Краткая история. Соцгум. М., 1991, №№ 8—12.

это предполагали относительно коммунистического общества Маркс и Энгельс, а в результате его максимального усиления.

Еще одна причина не признавать за советским государством статуса государственности заключается в следующем. То, что называли «государством» в СССР, было не просто системообразующим собственником, но — единственным. И это никак не подходит под тип «государственная собственность». Государство при капитализме может выступать собственником, — как правило, вторичным. Однако, помимо него, есть и другие собственники. Коммунистическое «государство» — агент собственности и воплощает нерасчлененность власти и собственности, а потому и о государственности в КП речи идти не может. Это само по себе, как минимум, ставит в совершенно иную перспективу, например, любые сравнения советского «государства» с государствами — капиталистическими или так называемыми развивающимися.

Итак, каково же было место КПСС в КП? В свое время об этом точно сказал Л. И. Брежнев (в докладе на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР IX созыва): «Очень не нравятся большинству буржуазных комментаторов и те положения проекта (Конституции 1977 года. — Авт.), в которых говорится о роли КПСС в жизни советского общества. Они шумят на все голоса, что это-де «провозглашение диктатуры коммунистической партии», «примат партии над государством», «опасное переплетение партийных и государственных органов», «уничтожение различия между партией и государством».

Что тут можно сказать? ... Пытаться противопоставить партию и народ друг другу, рассуждать о «диктатуре партии» — это все равно, что пытаться противопоставить, скажем, сердце остальному человеческому организму².

Это определение передает суть того типа отношений, который существовал между КПСС и КП в целом. И в наши дни коммунисты также понимают роль и место КПСС. В конце марта 1992 г. Г. Зюганов, бывший член Политбюро, секретарь по идеологии ЦК КП РСФСР, заявил: «Сломав партийный стержень, державу превратили в разбегающиеся галактики...»³. По сути, Г. Зюганов говорит о том же, что и Л. И. Брежнев, выделяя лишь другой аспект. Если Л. И. Брежнев имел в виду социальную систему, то Г. Зюганов рассуждает о том, что называлось «государством» СССР. Поэтому-то устранение КПСС привело к распаду «государства» СССР. Поэтому-то «центр», т. е. КПСС, так бился за СССР, поэтому-то коммунисты сделали все, чтобы сорвать подписание

нового союзного договора в августе 1991 г.

Чтобы лучше понять, что такое КПСС, имеет смысл обратиться к ее истории. Как известно, КПСС нередко именуют «партией нового типа». Действительно, она была таковой в период с 1903 по 1918 г. Под «партией нового типа» понимается организация, которая стремится исключительно к захвату власти и в этом своем стремлении пользуется абсолютно всеми средствами. Это организация профессиональных революционеров, которые в своей деятельности не признают моральных ограничений, не связывают себя правовыми установлениями и ориентированы на власть не в том или ином ее частно-ограниченном виде (например, политическая власть), а на власть вообще, власть как цель, абсолютную ценность и одновременно средство реализации этой цели и этой ценности.

Следует подчеркнуть, что, характеризуя КПСС и в тот период, когда она была «партией нового типа», и в другие периоды ее жизнедеятельности, свое внимание мы концентрируем на структурных и функциональных аспектах темы. В этой работе мы ничего не говорим об историко-культурном контексте, в котором возникла КПСС и который во многом обусловил как ее появление, так и ее уникальный характер. Это увело бы нас далеко от проблематики настоящего исследования. Скажем лишь несколько слов об идеологии «партии нового типа». Ее главными отличительными чертами являлись отказ от таких фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, как религия, собственность, право и т. п., и притязания на монопольное обладание Абсолютной Истиной, Правдой (в том исконно русском смысле этого слова, который предполагает единство правды, справедливости, законности). Подобная идеология, с одной стороны, создавала для «партии нового типа» возможность широчайшего маневра, делала ее открытой к восприятию наиболее мощных и перспективных — на данный момент — исторических стихий. Именно отсюда, — казалось бы, абсолютно беспринципное — колебание от военного коммунизма к нэпу, а затем к коллективизации и индустриализации, от космополитическо-интернационалистской риторики до националистическо-шовинистической пропаганды. С другой — это идеология, как монопольное обладание Истиной и Правдой, соответствовала и оправдывала монопольное обладание Властью, т. е., повторяем, властью вообще, а не каким-то ее частно-ограниченным видом. Эта идеология корреспондировала и организационному строению «партии нового типа» как немногочисленной, спаянной железной дисциплиной группы профессионалов — «практиков-подрывников» и одновременно носителей Истины и Правды.

Кстати, об идеологии. Принято считать, что коммунизм есть господство идеологии, чуть ли не идеократия. На са-

² Конституция общенародного государства. М., 1978, с. 94.

³ Литературная газета, 25.III.92. (№ 13).

мом деле КП — это одна из наименее идеологизированных социальных систем. Когда идеология становится одновременно целью, средством и ценностью — то есть, по сути, центральной идеей, когда идеология может быть единственно идеологией власти (и сохранения последней любой ценой — с нэпом или без него, с Брестом или без него, в союзе с Гитлером или без него и т. д.), то идеология растворяется в социально однородной власти. То, что обычно многими фиксируется как господство идеологии, есть на самом деле господство определенного типа производственных отношений, объекты которых — духовные факторы производства. При такого рода господстве у человека отчуждается прежде всего не его прибавочный труд и рабочее время (это здесь вторично), а воля. Но в отличие от докапиталистических обществ воля отчуждается не как средство присвоения природных факторов производства (включая самого человека как один из таксовых), а как средство присвоения человека в качестве социального существа. Т. е. присваивается его свободное время, его социальное пространство⁴.

Придя к Власти и тем самым реализовав все свои цели, а следовательно, и самое себя, КПСС перестала и должна была перестать быть «партией» даже «нового типа». Так как уже **ни в каком смысле** она не была частью (partia от pars — часть) чего-то внеположенного себе, большего, чем она сама. Напротив, завоевав Власть, КПСС — в тенденции — стала Целым, системообразующим началом. Разумеется, это произошло не сразу, а в ходе и по мере заполнения большевиками всех секторов, всех организационных форм российского социума. Растворяясь в них, перерабатывая их, создавая одни, убивая другие и самоуничтожаясь как «партия» («нового типа»), КПСС в то же время уничтожала эти секторы и формы как качественно особые. Результатом такой социальной аннигиляции и самоаннигиляции и стал Коммунистический Порядок как система ячеек и органов социально однородной Власти.

Предполагалось, что со временем этот порядок распространится на весь мир, переработает и поглотит его. Здесь хотелось бы привлечь внимание читателя к малоизвестной у нас работе русского государствоведа Н. Гронского «Юридическая природа С. С. С. Р.». Н. Гронский прямо говорит о негосударственном и антигосударственном характере «государства» СССР с точки зрения международного права. Принципиальное отличие коммунистической «государственности» от государственности ученый видел в том, что большевики не связывали свою форму власти с территориальным принципом ее организа-

ции. «...Советская Республика гостеприимно открывает двери перед всеми народами и государствами, приглашая их ко вступлению в Союз при одном лишь непременном условии — провозглашении советской формы правления и осуществлении коммунистического переворота. Стоит жителям Борнео, Мадагаскара или Зулуланда установить советский строй и объявить коммунистические порядки, и лишь в силу их заявления, эти новые, могущие возникнуть советские республики принимаются в Союз Советских Коммунистических Республик. Если бы Германия захотела перейти к благам коммунистического строя или же Бавария, или Венгрия захотели бы повторить опыты Курта Эйснера и Бэла Куна, то и эти страны могли бы войти в Советскую Федерацию»⁵.

Британская империя никогда не была единым властным организмом, государством, представляя собой содружество государств. Советская «империя» была именно единым властным организмом, совпадавшим по главным, системообразующим для нее признакам, с «мировой социалистической системой», выход из которой был невозможен. Достаточно было тому или иному режиму заявить о властном изоморфизме с КП, как он автоматически в той или иной мере включался в «социалистический лагерь» (читай: «государство» СССР): «пределы его безбрежны, оно стремится в идеале впитать в себя все народы мира [...] Союз Советских Социалистических Республик не представляет из себя прочно установленного государственного порядка, он может в любой момент исчезнуть (как это и произошло в 1991 г. и, кстати, открыло возможности для формирования государственности. — Авт.) и в то же самое время способен к беспредельному, ограниченному лишь поверхностью нашей планеты, расширению. Не обладая устойчивостью современного государства и определенностью границ, С. С. С. Р. не обладает и полноправной международно-правовой личностью. Трудно признать нормальным членом международного общения организм, который в силу своего основоположного акта — конституции может в любой момент прекратить свое существование или же изменять кардинально внутреннее свое содержание»⁶.

Короче говоря, КП был «сконструирован» не только для поглощения и гомогенизации российского общества, но и — теоретически, по «задумке» его отцов-основателей — всей земной цивилизации. Этим, в частности, КП отличается, с одной стороны, от тех докапиталистических систем, в которых некоторые склонны видеть аналог коммунизма или даже сам коммунизм (империя инков, Древний Египет и т. д. и т. п.) и от германского

⁴ Подр см.: Фурсов А. И. Кратократия. Социум. 1991, № 8.

⁵ Н. Гронский. Юридическая природа С.С.С.Р. Сборник посвященный памяти П. В. Струве. Прага, 1925, с. 180.

⁶ Там же, с. 178, 181.

национал-социализма, с другой. Национал-социализм, реализуя себя в ходе экспансии, не был системой с универсалистскими претензиями.

Главным органом «универсалистски-расползающегося» КП была КПСС. Лидеры и теоретики большевизма именно так и понимали специфику КП и роль КПСС в нем (конечно, выражая это на своем языке). Вот несколько характерных признаний В. И. Ленина.

Диктатура КПСС, якобы осуществлявшая диктатуру пролетариата, есть «ничем не ограниченная, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненная, непосредственно на насилье опирающаяся власть»⁷. — «Когда нас упрекают в диктатуре одной партии, мы говорим: «Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим, и с этой почвы сойти не можем»⁸. — «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу (подч нами)»⁹. — «Партией руководит... ЦК из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще узким коллегиям... Оргбюро и Политбюро... Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия»... Ни один важный политический вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии! Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассматриваемый «сверху» с точки зрения практики осуществления диктатуры... Вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных, подпольных кружков в течение 25 лет»¹⁰.

Слова В. И. Ленина подтверждает история Учраспреда — важнейшего и системообразующего органа возникшего КП. В работе «Номенклатура» М. С. Восленский отметил тот факт, что уже «в 1920 г. были образованы в ЦК и губкомах РКП(б) учетно-распределительные отделы. Они стали первыми органами, специально занимавшимися выдвинутым и перемещением ответственных партийных работников, а также учетом кадров»¹¹. Однако это было лишь начало. На XII съезде партии И. В. Сталин заявил: «Доселе дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учетом и распределением товарищей по уюмам, губкомам и обкомам. Теперь учраспред не может замыкаться в рамках уюмов, губкомов, обкомов... Необходимо охватить все без исключения отрасли управления»¹². «...В учетно-распределительных отделах были немедленно сконцентрированы учет и распределение ответ-

ственных работников «во всех без исключения областях управления и хозяйства»¹³. В учраспреде (отдел) ЦК «было создано 7 комиссий по пересмотру состава работников основных государственных и хозяйственных органов: в промышленности, кооперации, торговле, на транспорте и в связи, в финансово-земельных органах, в органах просвещения, в административно-советских органах, в наркоматах иностранных дел и внешней торговли»¹⁴.

Именно с созданием номенклатуры как главного, системообразующего принципа организации власти КП получил адекватное его природе оформление, а КПСС реально оказалась организующим звеном («сердцем») этого порядка, что и было позднее, в 1936 г., зафиксировано в Конституции. В статье 126 (глава X «Основные права и обязанности граждан») этой Конституции говорится: «...наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных»¹⁵.

В Конституции 1977 г. (ст. 6) роль и место КПСС формально трактуются несколько иначе. «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия»¹⁶. Здесь есть два отличия от Конституции 1936 г. Во-первых, среди тех институтов, ядром которых является КПСС, возникает политическая система. Во-вторых, сама статья помещена в главе первой («Политическая система») первого раздела («Основы общественного строя и политики СССР») Конституции.

За двумя этими, казалось бы, небольшими отличиями скрывается серьезная проблема. В Конституции 1936 г. непартийный характер власти КПСС и ее непартийная социальная природа отражены и выражены четко и откровенно. Поэтому-то (совсем не случайно!) упоминание о КПСС содержится в главе о правах и обязанностях граждан (десятой по порядку), регулирующей социальное поведение индивидов, а не в главе об общественном устройстве и политике (первой по порядку). Авторы же Конституции 1977 г. попытались приписать КПСС политические функции и даже включить ее в некую «политическую систему».

Это создавало иллюзию политического характера власти КПСС и иллюзию кон-

⁷ Ленин В. И. ПСС. т. 24, с. 441.

⁸ Там же, с. 423.

⁹ Там же, т. 31, с. 342.

¹⁰ Ленин В. И. ПСС. т. 25, с. 193—194.

¹¹ Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991, с. 86.

¹² XII съезд ВКП(б). Стеногр. отчет. с. 56—57.

¹³ Восленский М. С. Указ. соч., с. 36.

¹⁴ Там же, с. 37.

¹⁵ Конституция общенародного государства. С. 242.

¹⁶ Там же, с. 113.

ституционно закрепленного через политическую систему статуса КПСС в общественном устройстве. Иными словами, посредством этой операции не только «вводился» в реальности не существующий политический характер КПСС, но и само конституционное закрепление КПСС обосновывалось исключительно благодаря определению через политику, политическую систему. То есть одна фикция обосновывалась через другую.

Но внимательное прочтение текста ст. 6 Конституции 1977 г. развеивает поначалу складывающуюся иллюзию: ведь за КПСС закреплялся статус «ядра политической системы». Следовательно, получается, что КПСС имеет политический статус благодаря наличию политической системы, а сама эта система сущностно — как оболочка ядра — определяется КПСС. Создается логическая ловушка: два взаимно зависимых элемента (КПСС и политическая система) выступают по отношению друг к другу **одновременно** как определяемое и определение. Причем — дважды!

Советская Конституция была фиктивной в том же смысле, что и профсоюзы, государство, партия. Роль и место Конституции в КП занимал Устав КПСС. Кстати, в нем место и роль КПСС определяются точно так же, абсолютно теми же словами, что и в Конституции СССР. В Уставе ВКП(б), принятом на XVIII съезде (1939 г.), записано: «Партия является руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных»¹⁷. И это не совпадение, это — фиксация реальной ситуации. То, о чем вскользь, как бы между прочим говорится в Конституции, конкретизируется и развивается в Уставе: «Первичные партийные организации предприятий промышленности, транспорта, связи, строительства, материально-технического снабжения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, учебных заведений, культурно-просветительных и лечебных учреждений пользуются правом контроля деятельности администрации.

Партийные организации министерств, государственных комитетов и других центральных и местных советских, хозяйственных учреждений и ведомств осуществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и правительства, соблюдению советских законов. Они должны активно влиять на совершенствование работы аппарата, подбор, расстановку и воспитание его сотрудников, повышать их ответственность за порученное дело, за развитие отрасли, обслуживание населения, принимать меры по укреплению государ-

ственной дисциплины, вести решительную борьбу с бюрократизмом и волокитой, своевременно сообщать в соответствующие партийные органы о недостатках в работе учреждений, а также отдельных работников, независимо от занимаемых ими постов.

Примечание: В первичных партийных организациях могут образовываться комиссии по осуществлению права контроля деятельности администрации и за работой аппарата по отдельным направлениям производственной деятельности»¹⁸.

Кроме того, в Уставе КПСС зафиксировано, что «основными обязанностями республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных организаций партии, их руководящих органов являются:

а) политическая и организаторская работа в массах, мобилизация коммунистов, всех трудящихся на осуществление задач коммунистического строительства, ускорение социально-экономического развития на основе научно-технического прогресса, повышение эффективности общественного производства, производительности труда, улучшение качества продукции, на выполнение государственных планов и социальных обязательств, обеспечение неуклонного роста материального благосостояния и культурного уровня трудящихся;

б) организация идеологической работы, пропаганда марксизма-ленинизма, повышение коммунистической сознательности трудящихся, руководство местной печатью, радио и телевидением, контроль за деятельностью учреждений науки, культуры, народного образования;

в) руководство Советами народных депутатов, профсоюзными, комсомольскими, кооперативными и другими общественными организациями через коммунистов, работающих в них, все более широкое вовлечение трудящихся в работу этих организаций, развитие самостоятельности и активности масс, как необходимого условия дальнейшего углубления социалистической демократии»¹⁹.

Это и есть подлинная Конституция КП. Подробное и скрупулезное перечисление всех сфер и органов жизнедеятельности КП не случайно. Так фиксируется однородный характер власти в обществе, устранивший границы между различными сферами и лишающий их специфического содержания.

Это — с одной стороны. С другой — в Уставе зафиксировано особое положение КПСС в КП: «Она (КПСС.— Авт.) является высшей формой общественно-политической организации... советского общества»²⁰. Тем самым автоматически более низкими по отношению к КПСС оказываются статусы всех иных организаций в КП. И здесь возникает вопрос:

¹⁸ Устав КПСС. М., Политиздат, 1986, с. 26—27.

¹⁹ Там же, с. 18—19.

²⁰ См. Юридический словарь. М., 1953, с. 396. Устав КПСС. с. 3.

¹⁷ XVIII съезд ВКП(б). Стеногр. отчет. М., 1939, с. 677.

имела ли КПСС статус общественной организации (объединения) по советскому праву?

Как известно, общественные организации (объединения) по советскому праву возникали в «разрешительном» порядке. Совершенно очевидно, что КПСС никто не мог «разрешить», да она в этом и не нуждалась. Заявив о себе как о «высшей форме общественно-политической организации», КПСС «разрешила» самое себя.

За пределами конституционной нормы (ст. 126 Конституции 1936 г. и ст. 6 Конституции 1977 г.), не имеющей, впрочем, конкретного правового содержания, этот статус никак не определен.

В СССР не было закона о КПСС и КПСС не подпадала под действие единого общенормативного акта, регулирующего положение общественных организаций, а именно «Положения о добровольных обществах и союзах», утвержденного постановлением ВЦИК и СНК 10 июля 1932 г. Статья 15 этого Положения, в частности, предусматривала, что добровольное общество «считается организационным и пользуется правами юридического лица» только со дня утверждения его устава государственным органом. «До этого учредители общества или союза могут предпринимать лишь такие действия, которые необходимы для его организации»²¹.

Устав КПСС не утверждался государственным органом. В принципе советская правовая доктрина не исключала того, что общественные организации могут выполнять определенные правотворческие функции. Однако наличие таких функций всегда обуславливалось делегированием со стороны государства, т. е. прямым поручением, закрепленным в нормативном акте. Например, постановлением СНК от 21 августа 1934 г. ВЦСПС было предоставлено право издавать инструкции, правила и разъяснения по применению действующего законодательства о труде с утверждения или с предварительной санкции государства²². Применительно к правотворчеству характер отношений «государство — общественная организация» и «государство — КПСС» противоположный: в первом случае «общественная организация» выполняет конкретное поручение «государства», во втором «государство» выполняет поручение. Или, что вернее, оформляет волю КПСС.

КПСС не была общественной организацией и по советской правовой доктрине. В качестве примера можно привести монографию под редакцией С. Н. Братуся и И. С. Самощенко. В монографии отмечается: «Основное назначение советского социалистического права в период развернутого строительства коммунизма состоит в том, чтобы... служить решению задач коммунистического строительства,

намеченных в программе КПСС»²³. Далее: «Важнейшим принципом правотворчества в советском государстве служит руководство Коммунистической партии Советского Союза... Конкретные решения Коммунистической партии по вопросам государственного и хозяйственного строительства кладутся в основу важнейших правовых актов советского общенародного государства. Организуя и направляя правотворчество советского государства, ЦК КПСС непосредственно участвует в принятии важнейших нормативных актов...»²⁴.

Касаясь вопроса об изменении законодательства, авторы пишут, что в этом процессе «находит свое выражение экономическая политика Коммунистической партии, опирающейся на познанные ею законы экономического развития»²⁵. Из всего этого следует, что КПСС не была общественной организацией в смысле советского права, поскольку сама КПСС определяла содержание этого права.

Но вернемся к Уставу КПСС. Он делал исключение для Комсомола и Вооруженных сил, выделяя их из всего перечня государственных организаций и органов, в которых действовали ячейки КПСС. Этим подчеркивались особые отношения КПСС с ВЛКСМ и Армией, а также особая роль последних в КП. Однако ничего не говорилось в Уставе о репрессивных и правоохранительных органах и номенклатуре.

Это умолчание весьма красноречиво и точно характеризует КП, то, что он представлял собой, помимо прочего, совокупность фикций, пирамиду фикций.

В обществе была Конституция, но жизнедеятельность этого общества не регулировалась ею. Зато существовала подлинная конституция — Устав КПСС, в котором было зафиксировано реальное положение дел, но — не до конца. Более того, самое главное оставалось не зафиксированным. Проанализировав Конституцию СССР и Устав КПСС, мы так и не доберемся до «последнего элемента». Он — невидимка, он никак не зафиксирован, но он-то и является ядром всего и вся. То, что во внеправовой конституции КП (Уставе КПСС) не нашлось места, ни единой строчки для номенклатуры и репрессивных органов, лишь подчеркивает, что даже в рамках «внезаконного беззакония»²⁶ номенклатура и репрессивные органы были по сути нелегальными организациями. Не случайно вопрос о Законе о КГБ был поднят лишь в последний период существования КП: ведь в Конституции о КГБ ничего не говорилось.

Следует отметить один факт, красноречиво показывающий стремление скрыть номенклатурно-репрессивный принцип власти. Как заметил Е. К. Ли-

²³ Братусь С. Н., Самощенко И. С. *Общая теория советского права*. М., Юрид. лит., 1966, с. 10.

²⁴ Там же, с. 13.

²⁵ Там же, с. 24.

²⁶ О «внезаконном беззаконии» см. ниже.

сов, «работники КГБ в большей степени руководствовались в своей работе не законами, а инструкциями и положениями, и они все были засекречены не только от общественности, но и от прокуратуры»²⁷. Кстати, в СССР было засекречено 70% всех правовых норм²⁸. Короче, представители власти не знали (и не имели права знать) тех норм, в соответствии с которыми функционировала эта власть, причем даже ее репрессивные органы, т. е. тот элемент, без которого ни КП, ни КПСС не были возможны.

Тем более никогда, ничего и никем не говорилось о номенклатуре. И это умолчание тоже не случайно, оно отражает тайну тайн системы, указывает на то, что именно нужно было скрывать больше всего.

Непартийный характер КПСС проявлялся и в ее взаимоотношениях с институтами КП. Например, с «исполнительной властью». Уже на заседании ВЦИК 17.XI.1917 г. В. И. Ленин заявил, что ЦК партии имеет право отменять приказы Совнаркома²⁹. В первые годы советской власти, обращаясь к местным парторганизациям, ЦК предлагал руководствоваться декретами СНК как директивами партии. «Если же вам нужно знать линию ЦК, то рекомендуем вашему вниманию все декреты Совета народных комиссаров, так как они проводят в жизнь программные вопросы нашей партии»³⁰.

В декабре 1930 г. В. М. Молотов, уже получив назначение на пост председателя СНК, заявил на заседании ЦК и ЦКК: «До сих пор мне приходилось работать в качестве партийного работника. Заявляю вам, товарищи, что и на работу в Совнарком я иду в качестве партийного работника, в качестве проводника воли партии и ее Центрального комитета»³¹. Кстати, «взаимоотношения» КПСС и Совета Министров были закреплены и юридически. Так, статья 2 Закона о Совете Министров (от 5.VII.1978) гласила: «В соответствии с решениями Коммунистической партии и главными задачами социалистического общенародного государства Совет Министров СССР в пределах своей компетенции осуществляет деятельность...»³².

Эти взаимоотношения КПСС и «исполнительной» власти нашли отражение и в советской юридической доктрине. В известном четырехтомнике «Марксистско-ленинская общая теория государ-

ства и права», подготовленном Институтом государства и права АН СССР, со ссылкой на В. И. Ленина утверждалось, что КПСС «объединяет, координирует и направляет деятельность всех звеньев системы управления»³³ (подч. нами). Совершенно не случайно структура ЦК КПСС отражала структуру народного хозяйства и, дублируя структуры управления ими, осуществляла руководство в качестве их «верхнего этажа». Показательны в этом отношении слова «перестроечного» председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова, сказанные им в телеинтервью журналисту А. Караулову (19.IV.1992, II канал «Россия», 19.00). Н. И. Рыжков прямо заявил, что КПСС — это государственная партия, что она руководила государством, и все решало Политбюро. Так с максимально доступной для советского языка и типа восприятия советской же действительности (т. е. КП) точностью Н. И. Рыжков зафиксировал, во-первых, решающую, центральную роль КПСС и ее руководящих органов в КП, и, во-вторых, отсутствие партии и государственности в КП.

Не менее ценны признания М. С. Горбачева и Н. Е. Кручины. Бывший «казначей партии» за полтора месяца до путча сказал корреспонденту «Независимой газеты», что до 1991 г. валютные средства, необходимые для КПСС, ежегодно предусматривались централизованно Госпланом и Минфином СССР (!)³⁴. То есть в рамках КП была одна казна. И это прекрасно понимал последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР. О своих гонорах М. С. Горбачев говорил: «Я сдал все гонорары государству (подч. нами). Все до копейки, до цента». При этом деньги он сдал в кассу управления делами ЦК КПСС Н. Е. Кручине³⁵. Иными словами, М. С. Горбачев не видел разницы между «партией» и «государством».

В апреле 1992 г. в «Известиях» (№ 98) была опубликована статья Аллы Ярошинской (бывший народный депутат СССР, известный журналист) «Сорок секретных протоколов кремлевских мудрецов. Ложь о Чернобыле так же страшна, как и сама катастрофа». Эта статья, помимо прочего, иллюстрирует то, как на практике осуществлялись положения «Закона о Совете Министров» — деятельность Совмина «в соответствии с решениями Коммунистической партии». Алла Ярошинская получила доступ к недавно еще секретным протоколам заседаний оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС (группу возглавлял

²⁷ Стенограмма заседания Комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота на тему «О роли репрессивных органов в государственном перевороте 19—21 августа 1991 г.», с. 37.
²⁸ Отменены секретные акты. Известия, 30.XI.1990.

²⁹ Ленин В. И. ПСС. Т. 26, с. 250.

³⁰ Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными парторганизациями. М., 1957, т. 2, с. 81—82.

³¹ Цит. по: Медведев Р. А. Они окружали Сталина. Юность, 1989, № 3, с. 69.

³² Девятая сессия Верховного Совета СССР. Стеногр. отчет. М., 1978, с. 183—184.

³³ Марксистско-ленинская общая теория государства и права. М., 1972, т. 3, с. 455.

³⁴ Стенограмма парламентских слушаний Комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота на тему «Незаконная финансовая деятельность КПСС». с. 52.

³⁵ Столица. 1992, № 15, с. 7.

Н. И. Рыжков). Вот выдержки из этих протоколов: «Секретно. Протокол № 1. 29 апреля 1986 г. (...) О правительственных сообщениях. **Утвердить текст правительственного сообщения** (подч. нами) для опубликования в печати». «Секретно. Протокол № 5. 4 мая 1986 г. (...) Одобрить текст обращения ТАСС. Публикацию очередного сообщения от Совета Министров СССР перенести на 5 мая с. г.» — Вот подлинный механизм принятия решения в КП и подлинные взаимоотношения КПСС и Совмина. КПСС утверждает тексты правительственных сообщений и переносит сроки их публикации!

Аналогичным образом строились отношения КПСС с ведомствами, занимавшими особое положение в КП — МИД, Министерство обороны, КГБ. Не случайно, что на протяжении всей истории КП их возглавляли представители высшего «партийного» руководства страны.

Именно решения КПСС определяли внешнюю политику СССР, вопросы войны и мира. Еще на VII чрезвычайном съезде РСДРП(б) (1918 г.) было заявлено: «Съезд особо подчеркивает, что ЦК дает полномочия во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну»³⁶. В июле 1939 г., выступая на собрании ответственных работников Наркоминдела, В. М. Молотов следующим образом мотивировал причины отстранения наркома М. М. Литвинова: «Товарищ Литвинов не обеспечил проведение партийной линии, линии ЦК ВКП(б) в наркомате»³⁷.

Особая роль «партии» в руководстве Вооруженными силами была закреплена еще в декабре 1918 г. в постановлении ЦК РКП(б) «О политике военного ведомства», в котором подчеркивалось, что «политика военного ведомства, как и всех других ведомств и учреждений, ведется на точном основании общих директив, даваемых партией в лице ее Центрального комитета и под его непосредственным контролем»³⁸. И это положение сохраняло силу вплоть до самого недавнего времени. Укажем хотя бы на то, что Главное политическое управление армии и флота, высший партийный и административно-политический орган в Вооруженных силах СССР, одновременно являлся отделом ЦК КПСС (или согласно «принятой» терминологии — «работал на правах отдела»).

По словам С. В. Степашина, КГБ на основе инструкций ЦК КПСС, уже после отмены статьи 6 Конституции СССР, осуществлял гласный, негласный и технический надзор над народными депута-

тами и руководством Российской Федерации»³⁹.

Глубже понять, как место КПСС в КП, так и статус КПСС по «советскому праву», а также осмыслить вопрос о том, произошли ли в период перестройки существенные изменения и строя, и «партии», позволяет анализ финансовой и хозяйственной деятельности КПСС в последние годы и последние месяцы ее существования. Хотелось бы привлечь внимание к документу «О неотложных мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии». Это памятная записка от 23.VIII.1990 г. за номером 15703.

В документе отмечается, что «в последнее время принят ряд решений ЦК КПСС, предусматривающих перевод предприятий и хозяйственных организаций партии на коммерческие и акционерные формы деятельности». Сообщается, «что партийные организации различных уровней приступили к размещению депозитных ресурсов в коммерческих банках. В документе высказывается озабоченность о том, что «как свидетельствуют уроки компартий Восточной Европы, непринятие своевременных мер по оформлению партийного имущества применительно к требованиям коммерческой работы и включению его в нормальный хозяйственный оборот, особенно в условиях перехода к рынку, неминуемо грозит тяжелыми последствиями для партии». Также констатируется, что «значительная часть находящегося в распоряжении партии имущества остается юридически незащищенной».

В документе формулируется следующая задача: «потребуется соблюдение разумной конфиденциальности и использования в ряде случаев анонимных форм, маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель, по-видимому, будет состоять в том, чтобы наряду с «коммерциализацией» имеющейся в наличии партийной собственности планомерно создавать структуры «невидимой» партийной экономики, к работе с которой будет допущен очень узкий круг лиц, определяемый Генеральным секретарем ЦК КПСС или его секретарем».

Далее в этом документе намечается ряд мер, который «следовало бы принять в неотложном порядке»:

«— подготовить предложения о создании каких-то новых «промежуточных» хозяйственных структур (фонды, ассоциации и т. п.), которые при минимальных «видимых» связях с ЦК КПСС могли бы стать центрами формирования «невидимой» партийной экономики;

— безотлагательно приступить к подготовке предложений об использовании анонимных форм, маскирующих прямые

³⁶ КПСС в резолюциях и решениях. 8-е изд. М., 1970, т. 8, с. 27.

³⁷ Цит. по: Медведев Р. А. Указ. соч., с. 70.

³⁸ КПСС о Вооруженных силах Советского Союза. Документы 1917—1981. М., 1981, с. 42.

³⁹ Стенограмма парламентских слушаний Комиссии по расследованию причин и обстоятельств переворота на тему «О роли репрессивных органов в государственном перевороте», с. 7.

выходы на КПСС, в развертывании коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии (.....);

— рассмотреть вопросы о создании контролируемого ЦК КПСС банка с правом ведения валютных операций, об участии партии своими валютными ресурсами в капитале оперирующих в международном масштабе фирм, контролируемых хозяйственными организациями друзей. Для обеспечения внешнеэкономической деятельности следовало бы также безотлагательно начать аккумуляцию на отдельном счете КПСС партийных взносов заграничных учреждений;

— провести консультации с Госнабом СССР по вопросу об использовании для внешнеэкономического сотрудничества партии советского имущества, остающегося после вывода советских войск из Чехословакии, Венгрии и ГДР».

Этот документ свидетельствует о том, что основной акцент был сделан на развертывание нелегальных и полуполигальных экономических структур. Такой нелегально-подпольный тип действия и мышления всегда был и оставался традиционным для КПСС. Кроме того, КПСС не обладала никакими правами на то имущество, которое она распоряжалась. На первый взгляд, это кажется парадоксальным: КПСС — «руководящая, направляющая сила советского общества» — оставалась юридически бесправной даже по советскому праву. Поэтому в документе и идет речь о необходимости «юридического оформления» прав на имущество и подчеркивается, что в противном случае имущество, находящееся в распоряжении партии, остается «юридически незащищенным». Тем самым признается, что имущество, которым КПСС распоряжалась, не принадлежало ей. Кстати, руководители КПСС прекрасно осознавали и понимали это.

Понимали и признавали они и тот факт, что их финансирование и хозяйственная деятельность противоречит Закону РСФСР «О собственности в РСФСР», вступившему в силу 1 июля 1991 г. и запретившему общественным организациям заниматься производственно-коммерческой деятельностью⁴⁰.

Но в самый последний период существования КПСС ее лидеры, реагируя на изменившиеся обстоятельства, обратили внимание на юридическую сторону вопроса о партийном имуществе.

В последнем Уставе КПСС (принят летом 1990 г. на XXVIII съезде) сказано: «Собственность КПСС является общепартийным достоянием. Объектами права собственности КПСС являются здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, предприятия, партийные издательства с входящими в их состав

периодическими изданиями и типографиями, а также иное имущество, необходимое для деятельности партии.

Партийные комитеты осуществляют оперативное управление (владение, пользование, распоряжение) имуществом партийных организаций. Центральный Комитет КПСС, ЦК компартий союзных республик, партийные комитеты на местах, а также предприятия, учреждения и организации КПСС пользуются правами юридического лица и могут делегировать эти права своим структурным подразделениям. Первичные партийные организации могут пользоваться правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством»⁴¹.

Но сразу же возникает вопрос: на каком юридическом основании имущество, находящееся у КПСС, квалифицируется как собственность? На каком юридическом основании говорится об «объектах права собственности»? Как ЦК и парткомы получили статус юридического лица? Где этот конкретный правовой механизм? Ведь советское право не регулирует процедуру создания института юридических лиц.

Нерегламентированность статуса КПСС в рамках КП по советскому праву отражает тот факт, что она вообще не подпадала никакой регламентации, была выше и вне любой регламентации. Вопрос о регламентации КПСС в КП не мог возникнуть в силу того, что он противоречил самим основам КП, а потому исключался по определению. Более того, КПСС по сути вообще нельзя было вычленил из КП, поскольку она была функцией, организующей и пронизывающей все его структуры. КПСС присутствовала абсолютно во всех ячейках КП, превращая их в ячейки социально-однородной власти. Это всеприсутствие обеспечивалось номенклатурным принципом жизнедеятельности КП. Проникая во все структуры, КПСС как функциональная власть превращалась в структурный элемент всех структур КП.

Все это свидетельствует: КПСС не была юридическим лицом и не могла быть им. Сам термин «собственность КПСС» — это нонсенс с правовой точки зрения. Собственность — это не «кража», а сложное правоотношение, включающее права и обязанности сторон («собственника» и всех остальных). В нашем случае такого правоотношения, видимо, не было. «Собственность КПСС», возникшая сразу после революции, и была результатом «кражи», экспроприации. В дальнейшем КПСС как «ядро», как «высшая форма общественной организации», как «руководящая и направляющая сила» по существу, де-факто имела в «собственности» КП в целом, то есть и все его имущество. В том числе и поэтому КПСС не нуждалась в «правовой» фиксации распоряжения имуществом.

⁴⁰ См. Документы: 1) от 1 августа 1991 г. № 06224; 2) от 8 июля 1991 г. № 05312. Архив ЦК КПСС.

⁴¹ Устав КПСС. М., Политиздат, 1990, с. 15.

Сейчас широко распространены сравнения коммунистического и нацистского режимов. Такое сравнение действительно имеет смысл, поскольку, помимо прочего, позволяет выявить неправовой и неполитический характер власти в КП, неправовой и неполитический статус КПСС как вообще, так и по сравнению даже с НСДАП. Нацисты сразу же после прихода к власти зафиксировали правовой статус НСДАП. В «Законе об обеспечении единства партии и государства» от 1 декабря 1933 г. об НСДАП сказано следующее: «Она является корпорацией публичного права»⁴². Это позволяло партии нацистов быть партией, обладать статусом юридического лица, владеть собственностью на законных основаниях. Более того, НСДАП была легитимной партией внутри легитимного порядка. В послевоенной юридической и политологической западногерманской литературе политико-правовой режим «третьего рейха» квалифицируется как «узаконенное беззаконие». Но тогда КП можно охарактеризовать как «внезаконное беззаконие».

Вообще всякие аналогии между КП и тоталитаризмом являются, на наш взгляд, ошибочными. Тоталитаризм есть продукт собственно европейской цивилизации. Он тесно связан с капитализмом, его основа — частная собственность. КП, напротив, строится на основе отрицания частной собственности. Тоталитаризм ограничивает волеизъявление общества в политической, духовной и отчасти экономической сфере, а границу между государством и гражданским обществом делает во многих отношениях пунктирной. И все же: пока существуют право и частная собственность, существует и указанная граница, и гражданское общество — пусть в ограниченном, давленном, почти растворенном состоянии. Самое важное: тоталитаризм не гомогенизирует сферы общества. Поэтому тоталитаризм в принципе обратим.

КП, уничтожая частную собственность и право, превращая социум в систему ячеек общественно однородной власти, не просто ограничивает гражданское общество (общество как таковое), а уничтожает его — окончательно и бесповоротно. КП принципиально неререформируем. Его можно только сломать, разрушить. Или он должен разрушиться сам, сгнить.

Итак, «дело КПСС» закрыто. КП рушится на наших глазах. Что будет дальше? Во всяком случае, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что было «до». А для этого, в свою очередь, надо выработать понятийный аппарат и язык, ко-

торые можно использовать для описания КП. Более того, по-видимому, следует пересмотреть и господствующие представления о дореволюционном прошлом России. Вопрос этот тесно связан с историческими корнями и генезисом КП. Как знать, быть может, без возникновения КП и русская история «не дала бы себя прочесть»?

Далее, адекватные КП понятийный аппарат и язык дадут возможность корректно поставить вопросы, причем и такие, необходимость которых сейчас не осознается. И, напротив, как нерелевантные отпадут многие из вопросов, оказавшиеся сейчас в центре дискуссий.

Например, общепринято противопоставление коммунизма и капитализма. И это правильно. Но хорошо известно, что идеи, именуемые коммунистическими, существовали тысячелетия и в разных культурах. А вот в качестве особой социальной системы коммунизм возникает только в России XX века. То есть в эпоху капитализма и в стране, включенной в мировую капиталистическую систему в качестве ее полупериферии (по крайней мере, экономически) и находящейся после отмены крепостного права в состоянии социальной революции в самом широком смысле слова.

Следовательно, необходим новый взгляд не только на собственно российские корни КП и на коммунизм как явление русской истории, но и на этот строй как функциональное отрицание капитализма, как на особую — антикапиталистическую — зону капиталистической системы, выполняющую в последней определенные функции. И, как знать, не является ли упадок коммунизма первым ударом колокола по капитализму?

Кажется, мы приходим к парадоксальному выводу: коммунистический порядок умирает, а мы находимся лишь на дальних подступах к пониманию его природы. Но, может быть, это и не парадокс, а само умирание КП есть непереносимое условие для его постижения? Наверное, нельзя понять КП только изнутри. Слушания в Конституционном суде протекали так, что участвующие стороны (включая и самих судей) пытались определить и понять КПСС и советский коммунизм на языке и в рамках того типа сознания, которые были выработаны в самом КП.

В отличие от Нюрнбергского процесса, который явился «моментом истины» для западной цивилизации, слушания в Конституционном суде таковыми не стали. Они продемонстрировали бессилie нашей социальной мысли перед лицом феномена КП. В то же время опыт этих слушаний крайне важен для дальнейшего уяснения природы коммунистического и посткоммунистического общества в России.

⁴² Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1984, с. 67.

Литературная критика

Советская литература — новый взгляд

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Движущийся ребус

НАД СТРОКАМИ «ВЫСОКОЙ БОЛЕЗНИ»
БОРИСА ПАСТЕРНАКА И НЕ ТОЛЬКО

*Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила...
Я зеркальным письмом пишу...*

Анна Ахматова,
«Поэма без героя»

Один из персонажей столь нелюбезно-гордо сердцу Людмилы Сараскиной романа Ильфа и Петрова занимался составлением ребусов и шарад; дела его шли плохо. Он зашифровывал лояльно звучащий тезис («Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог»); при расшифровке выяснялось, что это эсеровский лозунг («В борьбе обретишь ты право свое»).

Русские писатели советской эпохи порой добровольно угодничали этому персонажу. Не «эзопов язык», не прием иносказания, а структура ребуса — наиболее характерное «эстетическое следствие» многолетнего цензурного гнета. Слово в системе «эзопова языка» указывает на оппозиционную идею с помощью полупрозрачной аллегории, внятной большинству читателей:

Надменный временщик, и подлый
и коварный!
Монарха хитрый льстец и друг
неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами
злодей!

Ребус же строится по принципу «вещи в себе», когда искомое слово подменено другим, и не один раз, а многократно, так что лишь «свой», мыслящий в той же языковой и «политической» системе читатель понимает, в чем дело. Есть знаменитое игровое задание: превратите слово «вагон» в слово «дурак», изменяя только по одной букве, причем таким образом, чтобы каждый раз получалась осмысленная лексема: вагон — загон — затон — батон — барон — баран — барак — бурак — дурак. В литературном ребусе советской эпохи очень часто проносили «вагон», чтобы сказать «ду-

рак». Тому, кто знал принцип замены данного на искомое («мой первый слог на дне морском...»), уловить смысл высказывания не составляло труда. «Чужому» читателю нужно было сначала получить в руки дешифратор — вроде того, над которым безуспешно трудятся зеки солженицынской шарашки в «Круге первом». Или, как в иностранной гостинице, опустить в телевизионную прорезь заблаговременно приобретенный жетон, чтобы расфокусированный сигнал вновь сложился в цельную картинку.

Принцип ребуса, повторяю, стал следствием цензурного гнета, но следствием, довольно быстро отслоившимся от причины и обретшим вполне самостоятельное художественное значение. С политической точки зрения абсолютно понятно, зачем Анна Ахматова шифрует в «Поэме без героя» отсылку к неподцензурному «Реквиему» («В печной трубе воеет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки Реквиема»); но как соображениями политики объяснить систему шифровок **внутри** «спрятанных обрывков»? Зачем в «сожженной поэме» «Реквием» с помощью неоднократных численных повторов («триста шагов», «триста часов» ...) выстраивать хронологическую цепочку, началом своим уходящую в 1913 год, год празднования **трехсотлетия** Дома Романовых и последний год XIX столетия? Уж, во всяком случае, не затем, чтобы обмануть Главлит. То же можно сказать и о Пастернаке.

В его художественной системе «эзопов язык» играет существенную роль. Одна из самых ярких и горьких главок «Охранной грамоты» — венецианская —

построена на этом фундаменте: «Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общине воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались»¹. Только глухой не услышит здесь намерения на политическую реальность России времен создания «Охранной грамоты» и на судьбу художника в «небывалом, невозможном государстве»; только слепой не увидит в словах: «Понять это — значит понять, как искусство обманывает заказчика» рецепт поведения художника в дни «Великого Совета». И все же «основной корпус» «Охранной грамоты», равно как и абсолютное большинство сочинений Пастернака (исключая заведомо «открытый» и тем самым обреченный на трагедию подвига роман «Доктор Живаго»), возведены на иных основаниях, именно «ребусоподобных»: **да и нет не говорите, черного [красного] и белого не называйте.**

Кто не помнит знаменитого примера с зачином «первомайского» стихотворения 1931 года, где не было ни слова о Первомае: «Весенний день тридцатого апреля»? Или о том, как Повествователь в «Спекторском» подменяет данное ему властью задание?

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их как водолаз.
Я по журналам понырять немало.

...Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Коинраде и Прусте.

Повествователь «Спекторского» получает работу «по сбору иностранной Лениньяны» в январе 1924 года; приблизительно тогда же автор «Спекторского» представил в «ленинский» номер «ЛЕФа» поэму «Высокая болезнь», где — в первом ее варианте — о Ленине ни слова сказано не было, а чтобы понять, каким вообще образом она к теме привязана, нужно было «реконструировать» ее внутреннюю хронологию. При том, что ни одна дата здесь прямо не указана (а что здесь указано прямо?). Зато были названы исторические события, легко локализуемые во времени; и от варианта к варианту тема не прояснялась, но прописывалась; даты не проставлялись, но хронологические подробности добавлялись.

«Два солнца встретились в окне; / Одно всходило из-за Тосна / Другое заходило в Дне». О чем это, как не о станциях на пути царского поезда, направлявшегося из Ставки в Псков, где **2 марта 1917 года** был подписан Манифест об отречении, и на пути финского состава, привезшего в Россию Ленина?

«С стальных газет вопрос карель-

ский...»: карело-финское восстание 1921/22 года.

«Но я выдал девятый Съезд / Советов...»: 23—28 декабря 1921-го.

«В зияющей японской брешни...»: страшное землетрясение в Японии, ранняя весна 1924-го.

То есть от мирного конца «старой России», от ухода царя, через «робеспьеровский» лик революционного потрясения и обещание перейти в мирную стадию, данное на IX, «нэповском», съезде — до смерти Ленина и первых месяцев после его ухода. От зимы до зимы. От весны до весны. От родов новой эпохи до ее рожденья и смерти главного «восприемника».

С цензурной точки зрения это запутывание следов не имело никакого смысла: не от большевиков же скрывать принадлежность сочинения к «ленинской теме»! Но и попытки — нравственно безупречной — обмануть интеллигентское общественное мнение, свою «среду», сделать вид, что поэма вовсе не **про это**, здесь не было и быть не могло: она печаталась в «ленинском» номере, и сомневаться в ее «тематической лояльности» не приходилось. **Уклонение** от темы не означало **отклонения** от нее; выбор окружного пути не означал отказа от общей дороги; цель заключалась в ином. Во-первых, соглашаясь говорить об «общем», Пастернак отстаивал право говорить при этом о своем, не в унисон, не жертвуя лицом ради положения. Точно так же, анонимно и прикровенно, спустя десятилетие он построил свое «сталинское» стихотворение о «кремлевском затворнике», где не назовет вожда по имени, не воспоет ему хвалу, не возведет тайную хулу, но поставит величие и трагедию «государя» в один ряд с величием и трагедией художника — и одновременно противопоставит их; причем автоцитатой соединит стихотворение с «Высокой болезнью» (об этом — ниже):

...В собраньи сказок и реликвий,
Кремлем пльвущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой. ...

И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал.
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал².

Во-вторых же, он с самого начала устанавливал «правила игры», одинаковые для всех читателей, от цензоров до участников ЛЕФа, от «попутчиков» до большевиков. Никому не сделано поблажек, никому не подыграно; докопаться до смысла сможет лишь тот, кто полностью примет **пастернаковскую** систему художественных координат: «Всю жизнь

¹ Здесь и далее пастернаковские тексты цит. по: Пастернак В. Л. Собр. соч. в 5 т. Т. 1—4. М., 1989—1990. Выделения в цитатах — мои. — А. А.

² Об этом стихотворении см.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы Jerusalem. 1984, с. 278—287.

я быть хотел как все, / Но век в своей
красе / Сильнее моего нитя / И хочет
быть, как я». И во второй редакции это
было еще резче подчеркнуто: поэма на-
чиналась не строкой «Ахейцы проявля-
ют цепкость», но строкой, предельно
четко определяющей принцип построения
текста: «Мелькает движущийся ре-
бус».

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета,
Выходят, входят, идут дни,
Сбиваясь с ног от беготни,
Принесат весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, идут входы,
Выходят, входят, идут дни,
Проходят месяцы и годы,
Проходят годы, — все — в тени.
Рождается троянский эпос,
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут — идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Рождается эпос; совершается револю-
ция; больна земля, она в родовых муках
и — в бреду (если вспомнить раннее,
времен «Сестры моей — жизни», па-
стернаковское стихотворение «Болезни
земли», — «Нужно быть в бреду по
крайней мере, / Чтобы дать согласье
быть землей»); речь поэта вихрится,
нить рассказа то как бы теряется, то
вновь — и опять как бы случайно —
обретается. Хронологический круг уже
был очерчен: от конца старого мира до
кончины того, кто принял роды мира но-
вого. Этот круг пересечен крест-накрест:
друг против друга, лицом к лицу постав-
лены четыре фигуры. Поэт, Плакати-
ст, Царь, Вождь.

Поэт, отдавший себя во власть «Высо-
кой болезни», музыкальной стихии, сми-
рившийся с неуместностью своего при-
звания и ролью гостя на жизненном
пире:

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песней.
Уместно ль песню звать содом,
Усоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штыки.

«Интеллигент», не пожелавший за-
нять эту трагическую и в прямом смыс-
ле болезненную вакансию, вторгшийся
в историческое делание, чтобы излечить
землю от ее болезни, обреченный гореть
«во славу темной силы, / Что потихоньку
по углам / Его с усмешкой поносила», и
из героя легенды превращающийся в
Плакатиста:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката³.

³ Отсылка к образу Маяковского очевид-
на; но неприкрытой насмешкой над «Окна-

Царь, подписывающий манифест об
отречении и покидающий «вакансию»
исторического деятеля:

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли заласы
Отмеченных на картах шпал.

Вождь, приходящий ему на смену и
вторгающийся в Историю:

Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.

Понять, что они «построены парами» и
что Поэт в той же мере противопостав-
лен Плакатиству, в какой Вождь — Царю,
не так уж сложно; столь же просто вы-
членить метафорические цепочки, кото-
рыми поэма затаянута, как революцион-
ный матрос португеей. Это метафо-
рический ряд огня — теней — сна — хо-
лода — смерти. Это ряд земли — ро-
дов — болезни. Это тишина — музыка —
родовой крик.

Эпоха потрясений несет с собой холод
и непроницаемую снежную пелену; хо-
лод несет с собой смерть; снег погружа-
ет мир в сон, как в вату, и наступает
страшная — кладбищенская — тиши-
на; но в этой тишине лишь отчетливее и
громче звучит крик рожающей земли;
в ее крике оживает звуковая стихия бы-
тия и значит — музыкальная стихия
(недаром Пастернак играет со смысло-
выми обертонами слова «роды», то
сближая его с «родимчиком», то — че-
рез сказочную декабрьскую символику
— с Рождеством).

И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый...

Холод и тьма заставляют обратиться
к помощи огня и света: «Не верят,
верят, жгут огни...»; но свет и огонь
в свою очередь отбрасывают тень: «Про-
ходят годы, — все — в тени». Несовме-
стимое — сплутывается, уже невозможно
разобрать, где клад и мрак, где свет и
жар; вспомним, что было сказано
о Плакатисте: «Горел во славу темной
силы», соотнесем тему его заката с «ог-
ненно-сумеречной» символической поэмы,
а ту, в свою очередь, с темой смерти,
сна, небытия как зимнего царства тьмы
и непроницаемой тишины...

И вот сквозь эту — построенную до-
статочно просто, и в то же время эзоте-
рично — художественную призму Пас-
тернак постепенно начинает пропускать
совокупное множество смыслов, в том
числе — смыслов политических.

Начнем с, казалось бы, постороннего.

ми РОСТА» дело здесь не ограничивается.
Самый символ «высокой болезни» восходит
к «Облаку в штанах» с его гениальным:
«Мама! ваш сын прекрасно болен, а слова
о «радости [...] заката» в такой смысловый
перспективе звучат не просто как сожаление
об иссякающем даре, но как приговор
за измену «прекрасной болезни».

В поэме срифмованы ребус и эпос, соединены песнь и сказка, помянуты легенды и реклама, плакат и песнь, загадка и речь, фарс и драма, лубок и преданье, декрет и отрывок⁴. Ясно, что это не поэтическая иллюстрация к учебнику теории литературы, что за каждым из помянутых жанров для Пастернака стоит некая духовная реальность, и уловить иерархию в этом жанровом смешении не так уж и трудно. Всерьез подано все, что связано с «болезнью» и родами истории: Песнь (отвергаемая Историей, но внутренне родственная, соболезнующая ей); Преданье, Загадка («Вокзал загадкой сверкал...»), Легенда, даже ребус и жестокий романс. С насмешкой все, что историю театрализуется и схематизирует: с театральной пошлостью неразлучны поставленные в один ряд декреты и рекламы, трафареты речей и фарс, лубок.

В этом смысле характерна игра со смыслами слова «драма» в строфе о японском землетрясении:

Я долго помнил назубок
Кощунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсоюзский лубок.

Роды эпоса, родовая болезнь земли как бы докатывается до Японии, и чисто звуковое сближение родов и родимчика внезапно реализуется в жизни: землетрясение уносит сотни тысяч жизней. Это — драма истории, на которую Совнарком откликается «агитпрофсоюзской» телеграммой, чтобы придать событию **театральный** смысл, поставить на трагической сцене человеческой истории поучительную агитационную драму.

Так мир «Высокой болезни» оказывается поделенным на две несмыкающиеся сферы, на два несоединимых никакими подземными ходами пространства: «почвенное» и «театральное», и каждый из ее героев пребывает в той или иной «жанровой зоне». Устранившийся из гущи событий, принявший на себя бремя «высокой болезни». Автор разделяет с землей ее страдание; Плакатист, отвергнув **трагическую неуместность** своего призвания, тем самым смещается из полюса легенды — в полюс «декретов и реклам»; Вождь, Деятель, как и подобает Вождю и Деятелю, **рождающийся** из этого средоточия, тем самым — неразрывно связан с «родовой» стихией земли:

Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел...
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок...

⁴ Не все опять же названо прямо; «песнь» косвенно соотносена как с тюремной песней, так и с алкоголическим романсом — в одном случае через парафраз строк «Солнце всходит и заходит...» в той главе, где описаны прощание с царем и встреча с вождем («Два солнца встретились в окне...»), в другом — через отглаголок бессмертного «Шумел намыш, деревья гнулись...» в строке «Трещал мороз, и ведра висли...».

Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгнб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глухой слой лужи. ...
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

В этом его парадоксальное родство с Поэтом, и в этом — его парадоксальный антагонизм с Плакатистом; «Герой» не может быть Поэтом, Поэт не должен быть «Героем»; не случайно в финальном двустишии Пастернак «перепоручает» Ленину роль Гения, отведенную романтической традицией именно Поэту: «Предвестьем льгот приходит гений / И гнетом мстит за свой уход». Не случайно и то, что за год до «Высокой болезни», в 1922 году, Пастернак сделал стихотворную надпись Маяковскому на «Сестре моей — жизни», где почти слово в слово предвосхитил описание ленинского выступления на IX съезде Советов, но с **прямо противоположным** знаком:

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терпеве,
Который вернул бы вам гнев.

Но отчего же ленинские слова о мазуте вызывают душевный подъем, а Маяковскому с упреком брошено:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ?

Единственно потому, что у каждого свой путь, у каждого свой жанр, Поэт и Вождь — «предельно крайние два начала». Для Поэта «трагедия ВСНХ» — это «своды богаделен». Напротив, для работника Истории обращение к фактам экономики, в том числе и к «прописям о нефти», — дело жизни, и «полет голой сути» будет дышать сквозь любые слова, звучащие в его устах, сквозь любой жанр, им избранный.

Но это — лишь первый слог пастернаковской литературной шарады. Есть и второй, и он тоже — «на дне морском». Поэт в «Высокой болезни», как было сказано, противопоставлен Плакатисту. Врывающийся на трибуну истории Вождь — сходящему с ее арены Царю:

Все спало в ночь, как с громким порском

Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались пары...

Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле...

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал...

Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.

Этот фрагмент композиционно встроен в «ленинскую» главку, и метафорически такое «совмещение» подготовлено всем повествованием. Уже четвертая

строфа поэмы, как раз и отсылающая к событиям февраля, строится на пересечении двух метафорических рядов, «театрального» и «вокзального»:

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив,
Бывало, крикнет, кровь откашляв,
И сплунет, и пойдет тихомом
Шептать теплушкам на ушко
Про то, про се, про путь, про шпалы...

При чем тут шпалы и теплушки, как бы ясно: только что речь шла о «слухе тишины, / Вернувшейся с войны»; но к чему тут театральные ложи? — о них не было ни слова в начале поэмы, и, едва появившись в ее метафорическом слое, они вновь надолго исчезают. И почему, едва упомянув о театральных ложах, Автор тут же переходит к рассуждению о смерти? Какой метонимической связью связаны эти темы? — «Уж ты и спишь, и смерти ждешь»? Только ли потому все это становится возможным сочетать, что и театр, и вокзал — связаны со стихией звука, «духом музыки», а смерть — безмолвна и беззвучна? Но в том и дело, что метафора здесь — тоже элемент «движущегося реbusа»; мы обречены восстанавливать смысл сказанного по метафорическим «слогам».

«Театральный» и «железнодорожный» ряды вновь сомкнутся через четыре строфы — в описании вокзала: «Там, как орган, во льдах зеркал, / Вокзал загадкой сверкал, / ... / И спорил дикой красотой / С консерваторской пустотой / Порой ремонтов и каникул». И вновь — между Театром и Вокзалом, между музыкой и грохотом, в их звучащей сердцевине уютно расположилась тишина смерти, кладбища, небытия: «Невыносимо тихий тиф, / Колени наши охватив, / Мечтал и слушал с содроганьем / Недвижно лившийся мотив / Сысучего самосверганья». И вновь совершенно неясно, чем мотивирована нераздельность этих метафор в мире «Высокой болезни».

Сознательно пропустив еще одно звено этой метафорической цепи, укажем, наконец, ключ, «дешифратор»; он дан как раз в «царской» главке поэмы: «Сужался круг, редели сосны...».

Деятель, уходящий из Истории, в прямом смысле слова **сходит со сцены** — на страшную **почву** большой земли, по которой проложены рельсы и в которую вдавлены шпалы; он обречен тишине, и, стало быть смерти: «Ах, если бы им мог попасться / Путь, что на карты не попал...»

Деятель, входящий в Историю, сам рожден болезнями земли; он тоже движется по шпалам железной дороги, но в противоположном направлении — из средоточия «почвы» через театроподобное жерло Вокзала на сценическую площадку Истории.

«Два солнца встретились в окне». «Солнце восходит и заходит».

А что же Поэт? «На какой арене / Стяжал он поздний опыт свой?». Здесь все зеркально противоположно. Если он хочет сохранить верность призванию, «высокой болезни», то должен отказаться от «театрального» соблазна, добровольно **сойти со сцены**. Именно в таком смысле следует понимать строки:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой и имел в виду
Сойти со сцены и сойду.
Здесь места нет стыду.

И то, что сулит Деятелю смерть, дарует Поэту творчество. Напротив, стремление попасть на арену исторического действия, согласие на «театрализацию», на жизнь «в блеске выставочной витрины», как сказано в «Охранной грамоте», или «В огне декретов и реклам», как определено в «Высокой болезни», — все, что присуще Вождю, — губительно для него. Не случайно параллельно «Высокой болезни», к 17 декабря 1923 года, Пастернак создает стихотворное поздравление Брюсову по случаю его пятидесятилетия — и пользуется «театральными» сравнениями **не только** потому, что торжества проходили в Большом театре.

...Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки...

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд
Где вас, как вещь, со всех сторон
покажут.

И золоту судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться,
мучась? ...

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только
в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Полемика природа стихотворения очевидна⁵; но известно, что у городских торжеств «была изнанка, придававшая «радости юбилейных сборищ» дополнительный оттенок «горечи». Юбилей старого поэта был омрачен беспрецедентным литературно-общественным скандалом. За несколько дней до празднеств нарком просвещения А. В. Луначарский обратился с ходатайством о награждении Брюсова орденом Трудового Красного Знамени и присвоении ему звания народного поэта Республики. 14 декабря в газете «Вечерняя Москва», редактировавшейся одним из руководителей группы «На посту» Б. Волиным, были опубликованы протесты партийных литераторов против ходатайства наркома. В результате этого предложение Луначарского было отклонено Президиумом ЦИК [...] Именно те — «официальные» — стороны облика Брюсова, которые восстановили против него мно-

⁵ Подробнее см.: Пастернак и Брюсов К истории отношений. Публикация Елены Пастернак // Russia. Россия. 1977, № 3.

гих близких к Пастернаку литераторов, оказались выставленными на помешнице в ходе юбилейного скандала»⁶.

Все это можно знать; всего этого можно и не знать (как и того, что на вечере Брюсова присутствовал Маяковский и что именно в Большом театре состоялась первая «читка» поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», которой пастернаковская «лениньяна» значимо противопоставлена); можно не помнить, что в первом варианте «Высокой болезни» в роли Художника, трагически соскользнувшего на государственную арену, кроме Маяковского, выступал еще и Горький («Поздней на те березки, зорьки / Взглянул прямолинейно Горький. / А зади, в зареве легенд...» — и далее по привычному тексту). Главное — помнить законы внутреннего «мироустройства» поэмы, систему ее метафорических, символических, иных пропорций. Ребус тем и отличается от эзопова языка, что нуждается в расшифровке политических реалий, в иллюзионной «подсветке» лишь как в **необязательном (хотя и желательном) дополнении**; основной объем смысла читателю либо сразу доступен, либо может быть медленно извлечен им **из самого текста**, либо навсегда закрыт. Другое дело — контекст творчества, подсветка с помощью параллельных фрагментов в других сочинениях того же автора, где однажды найденный мотив варьируется, углубляется или отвергается, а тем самым — проясняется и дешифруется.

Единственная **арена**, поэту по праву принадлежащая, — это арена древнеримского цирка, арена первохристианина, брошенного в клетку с дикими зверями, на мучничество и растерзание. Или современная цирковая арена, на которой поэт — паяц. Как будет написано чуть позже, в стихотворении «О, знал бы я, что так бывает...» (1931):

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной либелы всерьез.

Когда строку динтует чувство,
Оно на сцену шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба⁷.

⁶ См.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. München, 1981, с. 35. Здесь же см. о политической подоплеке стихотворения, а также о неразрывной связи его с контекстом «Высокой болезни».

⁷ В книге «Второе рождение», где напечатано процитированное стихотворение, помещен и рекевим по Маяковскому — «Смерть поэта»: «...Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих. /...Врезаясь вновь и вновь с наскоку / В разряд преданий молодых». Характерно это — предумышленное или нет — противопоставление старости как возраста трагической зрелости поэта, когда только и начинают дышать «почва и судьба» заведомой молодости Маяковского. О том, как эта проблема решена в «Охранной грамоте», см. в статье О. Равеской-Хьюз «О самоубийстве Маяковского в «Охранной грамоте» // Boris Pasternak and His Times. Berkeley, 1989.

Тема эта — тема схода со сцены в страшную темную зрительного зала, оборачивающуюся тьмою Гефсиманского сада, — будет, если еще выше подняться по хронологической вертикали, подытожена Пастернаком в «живаговском» цикле, который открывает стихотворение «Гамлет» («Гул затих. Я вышел на подмости... / На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси...»), а завершает «Гефсиманская ночь», где не мерцанием биноклей, а «мерцанием звезд далеких» озарены черные провалы последней ночи, ночи страшного выбора...

Но теперь вернемся к «Высокой болезни», к пропущенному звену метафорической цепи.

Куда трезво движется «по трезвым рельсам» «сошедший со сцены» Поэт? Где происходит его первая встреча с Лениным? Там же, где проходил юбилей Брюсова, — **в театре**.

Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сугки на вторые
И, помню, в самый день торжеств
Пошел, взволнованный домелья,
К театру с пропуском
в оркестр.

Этими строками многое объясняется. И то, почему с такой горькой иронией пародирует Пастернак знаменитое пушкинское «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...»: «Иди, поэт, и суй свой пропуск». И то, почему такое **двойственное** впечатление производят сравнения ворвавшегося в зал Ленина с шаровой молнией, с выпадом на рапире, встречающих его появление оваций — с ядром. С одной стороны — этот ряд сравнений олицетворяет собою весеннюю стихию, которая пробивается сквозь мертвенный заслон зимы и сулит избавление от родовых мук; с другой — он описывает движение **поверх почвы**, верчение в воздухе, **поверх** тяжелобольной земли, в замкнутом пространстве театрального вакуума. Вождь не **принимает** на себя болезнь земли, он лишь **аккумулирует** ее крик. Он не творит музыку мысли, но он управляет ее течением («и только потому — страной»). Если вспомнить определение, которое Пастернак только что дал своему поколению, — «Мы были музыкаю мысли...»; если развернуть метафору «музыки во льду» во всей ее символической полноте, включающей отсылку и к дантову «Аду», и к пастернаковским стихам о «горючей», «адской» природе творчества («Нас мало. Нас, может быть, трое, / Донецких, горючих и адских...»); если наложить все это на запутанные цепочки «огненных» и «снежных», «театральных» и «почвенных» метафор «Высокой болезни», рассмотренные выше, — станет ясна вся сложность и нескрываема противоречивость «ленинского» финала поэмы. Станет ясен «адский» подтекст не только сравнения Ленина с грозным просверком:

Он проскользнул неуследимо...
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок...—

но и грозная числовая символика всей
«съездовской» строфы:

Мы были музыкаю мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.
Но я выдал девятый Съезд
Советов...

Девятый съезд, погруженный в «ледяные» сравнения, как девятый круг ада; Ленин — одновременно и как Вергилий, обещающий выход (но обманывающий в итоге — «Предвещьем льгот приходит гений / И гнетом мстит за свой уход»), и как торжествующий князь тьмы... И когда мы обнаруживаем эту взаимоисключающую **одновременность**, то наконец понимаем, почему ребус назван **движущимся**. Не только и не столько по «конспиративным» причинам, сколько по философским, ибо Пастернак сознательно дает читателю **равные** основания предположить два разных смысловых итога поэмы.

Вариант первый. Финальным «ленинским» фрагментом подчеркнута странное родство Поэта и Деятеля в эпоху «болезней земли». Первый «соучаствует в бытии» именно тем, что отказывается соучаствовать в нем; он болен «высокой болезнью» непричастности к Истории и тем самым — причастен к ее родовым мукам; он плоть от плоти своего поколения, которое «было музыкою чашек, / Ушедших кушать чай во тьму», он сходит вместе с этим поколением «с арены», но в то же время он — вне поколений и действует (без-действует) от своего лица. Он — **автор**, он — если позволительно так выразиться — звуковое лицо всеобщей мысли. Но то же самое и практически теми же самыми словами сказано в поэме о Вожде. «И эта голая картановость / Отчитывалась вслух во всем, / Что кровью былей начерталось: / Он был их звуковым лицом». Оба они, Поэт и Деятель, **слышат**, как рождается трагедия из духа музыки, и заинтересованы друг в друге именно потому, что являют собою воплощения «предельно крайних двух начал». На этом со- и противопоставлении Поэта и Вождя, «гения поступка», Пастернак и попытается в 1936 году построить «сталинское» свое стихотворение, буквально повторив характеристики, данные в «Высокой болезни» («Столетий завистью завистлив, / Ревнив их ревностью одной...» — о Ленине; «Столетия так к нему привыкли, / Как к бою башни часовой», — о Сталине). С другой стороны, эта роль «гения», завистливого «завистью столетий», пребывающего на коротке лишь с Историей и всегда готового «к ней придраться», неожиданно сближает Ленина «Высокой болезнью» с Германом Когеном «Охранной грамоты»⁸, гения поступка и

гения мысли, лидера Марбургской школы философии, куда Пастернак приехал на летний семестр 1912 года, чтобы стать мыслителем, и где разорвал со вторым — после музыки — призванием своей жизни, с философией, чтобы стать поэтом: «Разве он не останется для меня гением?»; «Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. ...Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатит ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...» И это будет значить, что **выговор веку** сделан, **представление** кончилось и можно перейти к предмету курса». Заметив одну перекличку, мы обращаем внимание и на другие. На то, как похожи в пастернаковском изображении Ленин на театральной трибуне Девятого съезда — и Коген на семинарском занятии в Марбурге. На то, как близки «снежные» описания пореволюционной России в «Высокой болезни» и послевоенной Германии в «Охранной грамоте»: «...И была зима». Но главное сближение заключено, кажется, в теме двух «мстящих гнетом» утрат, в соположении января 1924-го — и февраля 1923-го: «А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер». Достаточно вспомнить, **кем** был Герман Коген для Пастернака, **что** значил в его жизни, чтобы понять, **какое** возвышающее значение имеет соотношение смерти Ленина — с его смертью.

Вариант второй, равноправный. Поэт, отказавшийся «гореть во славу темной силы», согласившийся на заведомое одиночество попутчика, сошедший с арены истории на горячую почву больной земли, тем самым **оправдывает** свое назначение: «Всю жизнь я быть хотел, как все. / Но век в своей красе / Сильнее моего нытья / И хочет быть как я». Художник, разорвавший со своим кругом, но не решившийся на «высокую болезнь», на роль **незваного гостя** (который известно хуже кого) и попытавшийся встроиться в иной круг, чтобы повести его **за собою**, оказывается заложником «темной силы» и теряет «право дерзать от первого лица». Но Деятель обречен **всегда** действовать от имени этой «темной силы», он ее медиум, он ее заложник, — «а мелочи преобладали», — **и в этом смысле он ближе к Плакатисту**. Не потому ли, создавая несколько лет спустя реквием по Маяковскому, Пастернак не упустил случая еще и еще раз повторить художественные конст-рук-

моть» присутствовало сравнение младшего Самарина с Лениным поры Девятого съезда — сравнение речи философа с речью вождя. Подробнее см.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы... С. 230.

⁸ В «доцензурном» варианте «Охранной гра-

ции «ленинского» фрагмента «Высокой болезнью» («Ядра, невластного не рваться / В кольце поддержки и преград») — в описании «смерти поэта»: «Твой выстрел был подобен Этне / В предгорье трусов и трусих»? И не потому ли описание покончившего с собой Маяковского в «Охранной грамоте» так похоже на стремительный, как бег тореадора, портрет Ленина в «Высокой болезнью»? «...только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными...»

«Странен странностями эпохи...» — «Ревнив их ревностью одной...»

...И тут мы оказываемся вынужденными еще раз вернуться к параллели между Лениным и Когеном.

Ибо Коген в «Охранной грамоте» — не только недостижимый образец для подражания, но и символ мира, с которым Пастернак разрывает, от которого отрекается ради нового — поэтического служения; философия Когена — **гениальна** именно **математической гениальностью**: «У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтения и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятие требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел». Описание это нейтрально; точно также нейтрально — если не сочувственно — описана последняя встреча с философом, когда Пастернак пытается объяснить, почему отрекается от благополучной судьбы европейского философа: «...при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок». Но только что, в предыдущей главе своей повести о судьбе художника в нашем горьком столетии, Пастернак сказал: «Прямая речь чувствва иносказательна, и ее нечем заменить», а еще раньше, рассуждая о сущности искусства, обронил: «Что делает честный человек, когда говорит **только** правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?»

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: **только** образ поспевает за успехами природы». После этого еще раз перечитаем восторженное описание ленинской речи, несомненно, сообщающее с описанием когеновского презрения к загадке: «...корпуса его изгиб / Дышал полетом голой сути, / Прорвавшей глупый слой лужи». **Только** ли восторженно оно? Для того, кто отдал себя во власть «Высокой болезнью», лишь образ поспевает за меняющейся реальностью; для того, кто математически «просчитывает» реальность и меняет ее, как слагаемые в уравнении, важен лишь полет «голой сути»...

Истинный же смысл поэмы **располо-**

жен не в золотой середине, а медленно раскачивается между этими полюсами, ни с одним из них **полностью** не соприкасаясь. Деятель — и гений, и заложник, и Вождь, и ведомый; он знает о болезнях земли, он рожден ими, но сам не «болен» (энергия и «здоровье» форсированно подчеркнуты в ленинском облике); он движется как бы поверх почвы, в условном театральном пространстве — и все же «накоротке» с историей; гений и злодейство совмещены в его «праве держать от первого лица»...

Но если структура поэмы от редакции к редакции лишь усложнялась, то финальные строки — наоборот — ужесточились и прояснились страшной, последней ясностью.

Первая редакция завершалась «царским эпизодом»; «Два солнца встретились в окне. / Одно из них всходило в Тосна, / Другое заходило в Дне». Чтобы не свести смысл этих строк к верно-подданному противопоставлению Ленина — царю, зашедшего солнца — восходящему, чтобы понять **причастность** «взошедшего солнца» агитпрофожескому лубку и уловить жесткое противопоставление «февральско-мартовских» надежд 1917 года и декабрьских упований нэповского съезда 1921-го — безнадежности первой послеленинской весны, нужно было соотнести их с подчеркнутосозвучным двуступнем о японском землетрясении: «Уже я позабыл о дне, / Когда на океанском дне...». Землетрясение произошло сразу после смерти Ленина, и таким странным, «омонимичным» способом Пастернак сообщает читателю, что и это «солнце» тоже — зашло, и тоже — «в дне» (смысл еще более обострится, если вспомнить, что «пошлую» телеграмму посылают в Страну восходящего солнца). В «каноническом» же варианте 1928 года «Высокая болезнь» завершается предельно жестким двуступием «Предвестием льгот приходит гений, / И гнетом мстит за свой уход». «Чужим» читателем это воспринимается как очередной выверт непредсказуемой, «юродливой» пастернаковской мысли и потому — прощается, не ставится лыком в строку, не рассматривается всерьез. На самом же деле никакого «выверта» здесь нет. Наоборот: утрачивает свои права ребус, завершается загадка, в щелку опускается монетка, и на один-единственный миг цветные пятна сменяются простым и ясным изображением. **Столь простым и столь ясным, что ничего понять невозможно**⁹. Так глаза, привыкшие к темноте, слепнут от внезапного пронзительного света. Загадка запутана.

Разгадка дана открытым текстом.

«Но сложное понятней и м».

⁹ Тем самым реализуется еще один слой начальной метафоры поэмы: «Рождается тройнянский эпос», ибо искусство в эпоху «небывалого, невозможного государства» оказывается тройняским коном, для которого стены Трои — не более чем «крошечная крепостца».

ВЛАДИМИР НАБОВ. БЛЕДНОЕ ПЛАМЯ. Перевод с английского С. Ильина. Свердловск, Независимое издательское предприятие «91», 1991.

Екатеринбург лидирует в деле возвращения на родину набоковских романов. В журнале «Урал» впервые в нашей стране были опубликованы сначала «Дар», затем «Под знаком незаконнорожденных». Екатеринбургское Независимое издательское предприятие «91» недавно выпустило в новом русском переводе один из интереснейших его поздних англоязычных романов «Бледное пламя».

Этот роман появился ровно тридцать лет назад. Имя Набокова было тогда в центре общего внимания: только что вышел на экраны фильм Стенли Кубрика «Лолита», и Набоков отозвался о нем: «По-своему он первоклассный, но это совершенно не то, что написал я...» Продолжались споры о нашумевшем романе, от Набокова ждали новой вариации на тему «Лолиты», но он вместо этого переводил на английский язык русскую классику, писал комментарии к своим переводам и литературоведческие эссе. Самоирония Набокова: чудаковатый чужак, профессор русской литературы в американском университете стал героем его романа, написанного вслед за «Лолитой», — «Пнин».

«Бледное пламя», едва появившись на свет, вызвало множество откликов в печати. Некоторые критики называли его новым словом в литературе; Эндрю Филд провозгласил не только одним из лучших у Набокова, но шедевром и мировой литературы XX века. А между тем широкая публика встретила роман сравнительно равнодушно, повторить успех «Лолиты» Набокову не удалось.

Роман был слишком необычен по форме, неожидан. Приученный к стандартам массовой культуры читатель привык понимать под романом более или менее правдоподобное происшествие, рассказанное по образцу театральной пьесы в трех актах: в первом экспозиция и завязка, во втором действие, в третьем развязка. Набоковское «Бледное пламя», бросая вызов традиции, было составлено из поэмы и комментария к ней.

Широкому читателю, и американскому, и российскому, оба эти жанра, особенно литературоведческий комментарий, традиционно кажутся скучноватыми. Но если читатель «Бледного пламени» сумеет преодолеть предвзятость, его ждут восхитительные часы наедине с книгой. И поэма, и комментарий — произведения высокого искусства, они по-набоковски исполнены лукавой иронии. Словесные игры, острые метафоры, неожиданные сравнения.

Поэма университетского профессора Джона Шейда раскрывает духовный мир современного интеллектуала. Комментарий его коллеги Чарльза Кинбота привязан к отдельным пассажам поэмы, но дает им парадоксальную трактовку. Концепция Кинбота вполне логична, последовательна и в то же время противоречит здравому смыслу.

Будто бы каждая строка поэмы навеяна им, Кинботом, и рассказывает о его драматической судьбе. Будто бы он экс-монарх страны под названием Зембла, бежавший в Америку на моторной лодке после революции. Будто бы новые революционные власти подослали к нему в Штаты убийцу, а тот, перепутав, стрелял в поэта Шейда и убил его...

Пусть все это почти невероятно, но как увлекательно! Читателю предлагается и иная версия событий. Шейда действительно убили по ошибке, но совсем не той, какую подозревал Кинбот. Кинбот никогда не был монархом, и страны Зембла, быть может, не существует.

Мания величия, совмещенная с манией преследования. Кинбот из той же плеяды набоковских героев, что Лужин, Герман из «Отчаяния», Гумберт Гумберт из «Лолиты». Но в написанных ранее романах писателя художнические натуры обыкновенно терпят поражение при столкновении с реальной действительностью и финалы имеют трагическую окраску. Концовка «Бледного пламени» — Кинбот полон новых творческих замыслов, мечтает покорить Голливуд — не столько дань традиционному для Америки хэппи-энду, сколько утверждение победы творческого воображения над скучной прозой бытия.

В реальной литературоведческой практике изредка, но все же случаются почти кинботовские ситуации. В пухлом сборнике «Русские писатели в Москве» автор статьи о Лермонтове пустился в рассуждения на тему: с какой целью Лермонтов, отлично знавший, что коней на фронте здания Большого театра четыре и что они бронзовые, говорил в своей «Панораме Москвы» о трех алебастровых конях. Неужто ученый хотел подшутить над читателем? Большой театр при жизни Лермонтова на самом деле выглядел так, как описал его поэт. Лишь после пожара 1853 г., когда здание заново отстроили, его украсили новой скульптурной группой. Знал бы эту историю Набоков!

Роман талантливо переведен Сергеем Ильиным. Набоков, как известно, ратовал за нерифмованный точный перевод стихов — Ильин взял на себя смелость поступить наперекор, перевел поэму рифмованными строками, жертвуя точностью, но делая перевод более органичным для русского читателя. Хотя в 1983 г. роман, озаглавленный «Бледный огонь», вышел в «Ардисе» в русском переводе В. Е. Набоковой, думается, он заслуженно войдет в наш круг чтения и в новом отечественном переводе. Жаль только, что книга изобилует опечатками и что за пределами Урала ее почти невозможно купить. Но любителям Набокова рекомендую его новый однотомник, выпущенный издательством «Художественная литература». В него включены романы «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин», «Просвечивающие предметы». Изданию предпослана содержательная статья А. Долинина «После Сирина».

Б. ЧЕРНИН

САЛЬВАДОР ДАЛИ. ДНЕВНИК ОДНОГО ГЕНИЯ. Перевод с фр. О. В. Захаровой. М., «Искусство», 1991.

Эта гальная белая страна как нельзя лучше отвечала моей патологической страсти ко всему совершенно необычайному...

Сальвадор Дали

Летом 1953 года Сальвадор Дали предлагает своим друзьям и домашним совершить путешествие в Россию. Свое прибытие на яхте к русским берегам он видит так: «...встречать меня выйдут восемьдесят юных девушек. Я немного помалом. Они будут упрашивать. В конце концов я уступлю и сойду на берег под оглушительный взрыв аплодисментов». Проблематично, правда, чтобы в тот момент в стране набралось восемьдесят юных особ, лишенных культурной девственности настолько, что им было знакомо имя и творчество Сальвадора Дали. Но когда тридцать с половиной лет спустя в ГМИИ открылась первая выставка графических работ художника, эффект явно превосходил все, на что мог рассчитывать мэтр, неоднократно подчеркивавший: скромность — черта не его характера. Все совершалось в лучших «далианских» традициях. Петли толпы, намертво сжавшей здание музея; касса, выдающая желанное сугубо гомеопатическими дозами; бесстрашные многодетные матери и ветераны, пробивающиеся к заветному окошку вне очереди... И в залах в отведенные от звонка до звонка полтора часа, в толчее и суетоке гуще вокзальной — преодолевшие все препоны и безмерно счастливые сознанием этого посетители, не смеющие признаться ни себе, ни другим, что они ну ничего здесь не понимают...

Сегодня, когда мы успешно «акклиматизируемся» во всеобщем культурном пространстве, естественными становятся не краткие и сенсационные встречи с творчеством Дали. Он наконец вполне основательно располагается в стране, с которой, по его признанию, связаны многие «воспоминания о том, чего не было», благодаря которой он обрел свое «alter ego» — непрестанно воспеваемую Галю (бывшую, как известно, изначально Еленой Дьяковой). Без особого шума и ажиотажа появились «Дневник одного гения» и «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» (фрагменты книги; «Иностранная литература», 1991—1992, пер. Н. Малиновской).

В совокупности два текста взаимодополняют друг друга, так как события «Тайной жизни...» охватывают период от рождения Дали до рубежа 30-х—40-х годов, записи «Дневника...» делались в 50-е. «Иностранка» осуществляет публикацию как «документальную прозу», в издании «Дневника...» предпринята попытка создать некий «искусствоведческий фон»: довольно обширная вводная статья А. Якимовича и подборка иллюстраций, представляющих не только работы Дали, объединены темой «Сюрреализм и Сальвадор Дали». Так читатель знакомится с кругом проблем, намечает для себя контуры того «культурного поля», на котором возрастает искусство художника (в частности, осознает значение фрейдизма для сюрреалистического движения в целом и Дали в особенности). Но все же это — лишь начало постановки вопросов о творчестве Сальвадора Дали и уж никак не обретение ответов. Главное, что происходит благодаря этим публикациям, — столкновение с личностью автора-героя, и эта встреча весьма впечатляющая. Яркости впечатления немало способствует литературный дар Дали: из-под его пера, как и из-под кисти, мгновенно возникают выразительные образы, он мастер афоризмов, особенно парадоксальных, диапазон его интонаций широк (сравним, например, едкие выпады в адрес «друзей-сюрреалистов» в «Дневнике...» и почти лирические страницы, посвященные Лорке), темперамент не заглушаем и переводом. «Русскоязычный читатель», наконец, убеждается в том, о чем его неоднократно предупреждали: художник Дали — фигура сложная, более того — амбивалентная. Слухи о его способности к эпатажу ничуть не преувеличены, и остается

все же загадкой, насколько близко к сердцу все это воспринимать. Знаменитое изречение Дали: «Публике не обязательно знать, шучу я или серьезен, так же как не обязательно знать это и мне», — реализовано на 100 процентов.

Итак, перед нами предстает Дали, описанный самим Дали. Несомненно, что художник-человек совсем не то же самое, что художник-творец. Однако бесспорна и глубинная связь между этими двумя явлениями, ставшая особенно актуальной в культуре романтического типа (по классификации С. С. Аверинцева). Не случайно в сознании сменяющих друг друга поколений укореняется представление о непохожести «артиста» на прочих смертных. Сюрреализм вносит иные акценты в процесс возникновения новых миров из творческого усилия художника — важно уже не сознание, а область бессознательного. С этой точки зрения Дали является просто-таки образцовой для истории культуры фигурой. В «Тайной жизни...» он достаточно подробно останавливается на том, как «взрачивал свою неповторимую индивидуальность», как непрерывно доказывал себе и окружающим: «Я — другой, чего бы мне это ни стоило...!» Вскользь он бросает: «...что же до «Заратустры» Ницше, то, пока я читал, мне казалось, что о том же я мог бы написать куда лучше», — давая понять, что к идее сверхчеловека пришел еще в школьные годы. «Одним из важнейших событий» своей жизни Сальвадор Дали называет знакомство с трудами Фрейда, происшедшее вскоре после поступления в мадридскую Школу Изящных Искусств. И хотя, по его собственному признанию, «тогда еще Сальвадор Дали не знал, что гением можно стать, играя в гения, — надо только заиграться», он демонстрирует нам успешное продвижение в этом направлении, лишь «к слову» упоминая о часах, проводимых за рисованием, о своей осведомленности как в вопросах истории искусства, так и в современных художественных процессах. Весьма успешно он уверяет читателя в том, будто главное — сформировать творца, а творчество приложится.

Представляется вполне естественным, что путь, по которому движется Дали, приводит его к знакомству в Париже с группой поэтов и художников, именующих себя сюрреалистами. Их поиски оказываются созвучными Дали: «Насколько я понял, речь там как раз шла о том, чтобы спонтанно воспроизводить замысел, не связывая себя никакими рациональными, эстетическими или моральными ограничениями...» Так в конце 20-х годов на европейском культурном горизонте появляется художник-сюрреалист Сальвадор Дали. За этим периодом его творчества утвердилось определение «классически фрейдистского», так как именно психоанализом поверял он свое искусство. Тогда были созданы «Тревожная игра», «Великий мастурбатор», «Постоянство памяти»... Тогда же определяется своеобразный «почерк» Дали: предельная конкретность, натуроподобие изображения при смешении самых обыденных и самых фантастических элементов.

Однако художник не останавливается на достигнутом. К середине 30-х годов его уже не так устраивают психический автоматизм, сновидения, произвольный идеографизм, эксперименты с галлюцинациями — все эти самодостаточные сюрреалистические приемы. В статьях 1933—35 гг. он провозглашает новый творческий метод — «параноидально-критическую деятельность». Метод возник в результате знакомства Дали с профессиональными психиатрическими исследованиями. С этого времени «игра» Дали становится особенно сложной: «Не могло еще существовать на земле человека, который бы, подобно мне, претендовал на роль истинного безумца...» Теперь должно осуществиться стремление «бредовых образов сюрреализма» «к осязаемости, объективному и физическому существованию в нашей реальности». «Воспоминаниям-галлюцинациям, потенциальным и невозможным образам, рассчитанным на чистое восприятие, которые можно только рассказать, мы противопоставляем физические предметы объективной иррациональности, о которых можно по-настоящему пораниться...» К этому времени — так называемой «метафизической фазе» — относятся такие вещи, как «Осенний каннибализм», «Мягкая конструкция с бобами. (Предчувствие гражданской войны)», «Пылающий жираф», опыты с «двойным изображением» — «Явление лица и фруктовой вазы на пляже», «Рынок рабов и невидимый бюст Вольтера». В это же время осложняются и его взаимоотношения с соратниками по сюрреалистическому движению, в итоге заканчивающиеся разрывом. Сам Дали в «Дневнике...» утверждает: «...меня исключили из группы, потому что я был слишком уж ревностным сюрреалистом...»

Внешним поводом к «суду» над Дали стала политика. Если желание написать «лирическую ядобицу Ленина» (трехметровой длины, которую будет подпирать костыль) не вызвало особого шока, то «Загадка Гитлера», где фюрер приобрел «женственность и неотразимую порочность», была последней каплей. Отныне пути Дали и остальных участников группы расходятся, что не мешает ему и в дальнейшем заявлять: «Сюрреализм — это я».

Однако к началу 50-х годов он уже как бы «экс-сюрреалист», жизнь его, по собственному убеждению, «стала... образом аскетизма и добродетели», и ее лейтмотив — постоянно испытываемое «высочайшее наслаждение...: это наслаждение быть Сальвадором Дали». Меняя порок на добродетель в жизни, Дали изменяет и свое творчество. Главной его темой становится теперь религиозные композиции. «Мадонна Порт-Льигата» и «Распятие Corpus hyper cubicus», «Ан-

гельское распятие» и «Христос св. Иоанна на кресте», «Тайная вечеря» и «Экуменический собор»... Здесь требуется особо деликатный разговор. Заметим лишь, что мистика — это еще не христианство и что, несмотря на виртуозность светотеневой моделировки, роскошь венецианских складок, эффектность пространственных решений, безграничный холод царит в этих композициях, вступая в явное противоречие с идеей Божественной любви, спасающей весь мир и каждую душу. Что на полотне речь идет не столько о Спасителе-Христе, сколько о Сальвадоре Дали, не о Благословенной в женах Марии, а о сверх-женщине Галé.

Знакомство с творческим наследием Дали и его осознание у нас только начинается. Внимательное изучение этого наследия неизбежно, ибо созданное художником — как на полотне, так и в собственной жизни — прочно вошло в культуру нынешнего столетия, многие образы стали своего рода новыми «символами и эмблематами». Аспекты исследований могут быть самыми разнообразными: с точки зрения фрейдизма, развития тех или иных пластических форм, появления и трансформации тех или иных семантических образов, цитат и самоцитат и т. д. Но, наверное, одним из самых заманчивых направлений может стать то, которое обусловлено самим нынешним временем — ситуацией конца века, когда естественной становится тенденция к подведению итогов, расстановке точек над «i». Проблема искусства Сальвадора Дали в контексте эпохи, их взаимообусловленность и взаимовлияние, думается, приобретут некие новые очертания в том сложном мозаичском рисунке, который представит нам завершенную картину культуры XX столетия.

Т. ВАСИЛЕВСКАЯ

ДЕЛО МАСТЕРА БО. Сборник. Полное собрание стихотворных текстов **БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА** и других авторов. Творческое товарищество «Сестра», Л., 1991.

Не удивительно, что наша высоколобая критика обошла вниманием появление книги песен и стихов Бориса Гребенщикова. Высоколобым дела нет до рок-поэзии, пусть даже она не только выразила, но во многом и определила мироощущение «поколения дворников и сторожей» (возрастной диапазон слушателей — от двадцати до сорока; те самые «сыновья молчаливых дней» — дети и пасынки застоя). Повседневная утвержденность БГ критикум настораживает и отталкивает.

А отчего ж, однако, не задуматься: правда ли, что рок-культура — особенно в ее уникально-«Аквариумном» варианте — это непременно культура массовая? Отчего ж не побеседовать о том, кто почти двадцать лет не-существования официального, гражданского и в музыке, и в поэзии говорил (пел) об этой стране и об этом государстве, старательно затягивающем удавку на горле любой его песни? Говорил правду — такую и так, — какой сам ее видел и миллионам своих сверстников сумел показать. Куда как проще и приятнее было бы, верно, Гребенщикоу проявлять свой игровой и игривый дар в прямо-таки хармсовских балладах об Иннокентии и Полтораки! Ан нет. Поэт в России, как всем хорошо известно, больше, чем поэт. Боль за землю, что «была нашей, пока мы не увязли в борьбе», оторвет его от забот суетного света и заставит задуматься о мире, где «боятся шагов вниз, боятся своих детей».

Парадокс: пиши Гребенщикоу двадцать лет свои стихи «в стол», чтоб ни одна живая душа не знала об их существовании, так ему б сейчас была в определенных кругах честь и хвала. И толстые журналы, глядишь, подборку-другую напечатали бы. И критики бы снисходительно похвалили...

Да Бог с ними, с критиками! Не их радением стихи БГ знает и стар, и млад, и всяк сущий язык. Не их трудами и книга вышла. Теперь каждый, кто раньше что-то сквозь магнитофонные несовершенства не расслышивал, недопонимал, может прочесть и убедиться: да, и рок-поэзия, оказывается, не чужда вечным вопросам литературы, и она не прошла мимо специфически литературных тем и проблем.

Вот, скажем, то, что принято называть «образом героя-аутсайдера». Жуткие, но как ярко написанные персонажи населяют поэтическое пространство Гребенщикова — сторож Сергеев, бывший инженер из «Новой жизни на новом посту», некто из «Выстрелов с той стороны». Или Иванов, живущий «на Петроградской, в коммунальном коридоре, между кухней и уборной», тот самый, которому «не слиться с ними, с согражданами своими, — у него в кармане Сартр, у сограждан в лучшем случае — пятак...»

И это именно БГ дал многим своим слушателям первые уроки стихийного экзистенциализма: «...если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой». И он же еще в семидесятые взамен веры в идеалы коммунистического будущего предложил иные варианты веры — или неверия, иное осмысление (или намеренно абсурдистское обесмысливание) действительности и места личности в ней («Иван Бодхидхарма», «Кад Годдо», «Моя смерть» «Пока не начался Джаз», «Друзьям»). Но это, пожалуй, тема отдельного разговора.

Интересно присмотреться к творчеству Гребенщикова и с точки зрения художественной формы. Как показывает практика, отличие песенного текста от поэзии как таковой проявляется как раз при перенесении его на бумагу. (Печально было видеть, как поблекли и утратили большую часть своего обаяния напечатанные песни Виктора Цоя.) Читая «Дело мастера Бо», ревнители высокого стиля, разумеется, могут и не согласиться с поэтической ценностью таких строк:

Я скажу тебе, я скажу тебе: «Скипсн драг». (Чуки чуки. Банана куки.)
Вана хойа, Яна хойа. Но хо...

(«Вана Хойа»)

Но, во-первых, от опуса так и веет загадочным Востоком. А что знаем мы о Востоке?

Во-вторых, эксперименты в области словотворчества и речезвука вполне традиционны для русской поэзии (были же у нас и Бурлюк, и Крученых, и Хлебников). Почему не счесть петербуржца БГ наследником и продолжателем заумнических идей Туфанова и Введенского?

Сборник, безусловно, свидетельствует о том, что автор (к слову, Гребенщиков себя автором книги нигде не именуется, т. к. в нее «включены тексты других авторов, использовавшиеся в музыкальном творчестве группы «Аквариум». Соотношение текстов БГ и «других авторов» такое — 262:7.) знаком с художественным и литературным авангардом и в западном, и в отечественном вариантах. Иногда он как бы присматривается к метаметафоризму:

Королева, мы слышали, что движется лед,
Но когда поднимаются реки, это даже не стоит ответа.
Ладони пслны янтарем, он будет гореть до рассвета,
И песнь яблоневых ветвей — ее никто не поэт.

(«Рождественская песня»)

Гораздо чаще — не скрывает своего интереса к концептуализму с его игрой смыслами, столкновением разных слоев и уровней языка:

И мы несем свою вахту в прокуренной кухне
В шляпах из перьев и трусах из свинца,
И если кто-то издох от удущья,
То отряд не заметил потери бойца.

(«Электрический пес»)

Называя творчество Б. Гребенщикова рок-поэзией, я вовсе не подчеркиваю его отличий от поэзии вообще, а лишь констатирую принадлежность к миру рок-музыки, отношения которой с официальной критикой, а в некоторых случаях и с общественным мнением, тоже, прямо скажем, не сложились: привычным стало априорное отрицание и порицание. И порицали сурово: культ жестокости, эротизм, намеренное отвлечение молодежи от социальных проблем...

На деле все, как видим, иначе. Во все не нравственная разнузданность и тотальный нигилизм определяют рок-творчество. У БГ, пожалуй, таких определяющих мотивов несколько: человеческое братство, противостоящее одиночеству, стремление к духовному совершенствованию. Но главный из них — мотив возвращения Домой. В книге собрано написанное в 1976—1989 гг. Легко поэтому проследить эволюцию — творческую и человеческую — этого мотива. В целостном восприятии книга — история воспитания чувств, движения к постижению «взрослых» истин. Юношей герой покидает дом («желая счастья каждой двери, захлопнутой» за ним), чтобы «выйти к победе в срок». «Все пути начинались от наших дверей», — замечает он, но какими бы увлекательными (или, напротив, темными и извилистыми) они ни были, все же, «чтобы стоять, надо держаться корней»: возмужав, усвоив жизненные уроки, возвратиться к себе. Но как? Каждый ищет свой путь и метод возвращения. У Гребенщикова он прост и универсален, но в то же время единственно необходим и единственно доступен:

А любовь — как метод вернуться домой...
Любовь — дело мастера Бо.

Такое вот главное дело у мастера рок-поэзии...

А. ГОМАРНИК

М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...», М., 1991, В. М. АЛПАТОВ. ИСТОРИЯ ОДНОГО МИФА. М., 1991.

При тоталитаризме все науки несчастны, но каждая несчастна по-своему. И у каждой были свои герои и мученики, свои стучаки и палачи. А также мыльные пузыри. Теперь лишь старожилы в науке и ее историки помнят трагические судьбы и события. Только эти люди могут рассказать о былом. Но тут может возникнуть знакомая фигура с сакраментальным вопросом из времени перехода от «коттепели» к брежневским заморозкам: «А надо ли ворошить прошлое?» Воро-

шат прошлое старьевщики от истории, а историки его исследуют, стараясь узнать, что было, как было и почему было так, а не иначе.

Сегодняшние молодые, если не имеют отношения к языковедению, разве только в песне Ю. Алешковского встречают имя «отца народов» рядом со словом языкознание. А ведь лингвистика была второй после философии отраслью знания, которой «корифей всех наук» специально посвятил печатное выступление. Третьей и последней была политэкономия.

О несчастье советского языкознания в «те годы дальние глухие» рассказывают М. Горбаневский и В. Алпатов, опираясь на солидный фактический материал: книги, статьи, стенограммы, архивные документы, воспоминания.

Они написали не всю историю советского языкознания, а лишь ее фрагмент, связанный с именем Н. Я. Марра. Авторы соединенными усилиями предлагают читателю очерк марризма («нового учения о языке») — направления, захватившего господство в советском языкознании с конца 20-х годов и удерживавшего его вплоть до выступления Сталина в языковедческой дискуссии в июне 1950 года. Они рисуют портреты Марра, И. И. Мещанинова, эскизные наброски марристов (тех, кто в той или иной степени пытался следовать идеям марризма) и марровцев (людей, делавших на марризме карьеру, создателей марровщины). Марровщину часто и справедливо сравнивают с лысенковщиной. И то и другое — порождение тоталитаризма, атмосферы террора и посеянного им страха, торжества воинствующего, нахрапистого невежества. И там и тут на первых порах орудуют особенно активно непрофессионалы-универсалы: за марризм горой стоят юрист А. Г. Башинджагия, преподаватель истории из педтехникума С. Н. Быковский и врач В. Б. Аптекарь. У Лысенко их всех заменяет геростратовски известный Президент. Исчезнувших в годы ежовщины (своя своих не познаша) трех названных марровцев заменяют два других, но не менее оголтелых, хотя и языковеды, — Г. П. Сердюченко и Ф. П. Филин. Этим суждено будет присутствовать при кончине марризма, но одному из них — Ф. П. Филину, как это показано в обеих книгах, еще пригодятся навыки, приобретенные во времена марровщины, он пустит их в дело во времена брежневщины.

Марр полагал, что им создано «новое учение о языке». Напомню кратко некоторые из его основных положений. Язык — надстроечное явление, как «искусство и вообще искусство». Нет неклассового языка, а потому Марр не признавал существования национального (общенационального) языка. Первоначально люди объяснялись жестами («кинетический язык»). Сперва звуковая речь состояла всего из четырех элементов (сал, бер, йон, рош — эти звуковые комплексы Марр почерпнул из названий средиземноморских племен). Роль овладевших звуковой речью была такой же, как роль грамотных. Звуковой язык служил тогда «орудием власти», классового господства. При этом Марра не смущал факт отсутствия классов в первобытном обществе. Упомянутые четыре элемента появились в итоге «эволюции трудового процесса», который был магией («трудмагическая теория» происхождения языка). Утверждалось, что в словах всех языков есть эти элементы. Не признавалось родство языков, отвергалась идея праязыка. Пропагандировалась идея иерархии языков: все языки располагались на четырех ступенях (стадиях): на низшей — языки типа китайского, на высшей — семитские и индоевропейские.

В. М. Алпатов говорит, что критика «нового учения о языке» — задача, доступная человеку с филологическим образованием. Однако если учение столь явно плохо, почему именно оно в течение двух десятилетий было принятой догмой в советском языкознании? Контраст между научной слабостью этого учения и силой его влияния так разителен, что требует пояснений. Автор не считает марризм (как систему взглядов) неизбежным порождением советского общества: многие идеи Марра возникли до революции. Но, конечно, «новое учение о языке» было «очень удобным для превращения в господствующую догму в сталинский период».

Несомненно, в насаждении «нового учения» свое дело сделали разного рода репрессии. Удивляет другое: «популярность идей Марра... была значительной уже в начале 20-х годов; еще большей она стала с формированием «нового учения»... Но это не была притягательность научной теории, которая, кстати, и не могла бы обеспечить столь массовый успех. Это была притягательность мифа». Популярности мифа способствовали высказывания А. В. Луначарского, Н. И. Бухарина, академиков В. М. Алексеева, А. Ф. Иоффе, А. П. Карпинского, И. Ю. Крачковского, С. Ф. Ольденбурга. Академик А. М. Деборин назвал Марра «творцом новой науки, заказанной пролетариатом». Все эти люди не были языковедами. «...Марру верили не только из-за обаяния его личности или из-за чисто научного недовольства лингвистической традицией. Важнейшую роль играла созвучность идей Марра эпохе», — констатирует В. Алпатов.

В книгах обсуждаются причины, побудившие Сталина организовать дискуссию 1950 года и участвовать в ней, — от предположения, сделанного А. Солженицыным («В круге первом») до предположения Н. Хрущева, мимоходом обронившего его в своих мемуарах, от предположений советских ученых до гипотез зарубежных коллег.

В. Алпатов пишет: «Естественное для наших дней осуждение личности и поступков Сталина нередко ведет к упрощенным оценкам... Ненормальным было само положение, когда один человек, не закончивший даже семинарии, решал судьбы любой науки... Целью вождя, скорее всего, не было оздоровление ситуации в советском языкознании, но объективно это произошло... Летом и осенью 1950 года безусловно искреннее ликование охватило многих языковедов, как противников марризма, так и тех, кто раньше словесно его признавал. Все ученые-немарристы, преследовавшиеся в 1948—1950 гг., получили возможность нормально работать, уволенные были возвращены на прежние места или получили новые назначения...»

Думаю, что организация дискуссии и участие в ней Сталина — многоцелевая акция. И важнейшая цель, о которой среди прочих упоминается в обеих книгах, — тактическая: «... решение о проведении такой удивительно демократической по тем временам дискуссии вполне могло быть своеобразным тактическим ходом Сталина при неизменности общей стратегической линии на подавление любого инакомыслия... Причем дискуссия могла быть ему нужна для достижения политического эффекта не только внутри страны» (Горбаневский).

Конечно, разгром марризма сопровождался неизбежными при тоталитаризме крайностями, хотя они не идут ни в какое сравнение с теми, к которым прибегали во времена марровщины, лысенковщины. Нынешнему «непоротому поколению» языковедов трудно ощутить эту разницу. Эти перегибы касались не только людей: содержание работ Сталина было объявлено «сталинским учением о языке». Все его положения превращались в догмы.

Книги, о которых я веду здесь речь, знакомят лингвистов и языковедческую молодежь с хождением советского языкознания по мукам. Помогают понять и, может, даже почувствовать, каково было науке в условиях тоталитарного режима.

Э. ХАН-ПИРА

ВСТРЕЧИ. Альманах. Ежегодник. Под ред. В. Синкевич. Филадельфия, 1991.

Наше время отбивает охоту к серьезному чтению. И если пара-, порно- и просто массовая литература еще пользуются спросом, то поэзия стала решительно никому не нужна. Свобода, как показывает и наш опыт, не приводит автоматически к духовности и культуре. И всякое новое культурное начинание требует больших усилий, решимости делать задуманное, не надеясь на скорое признание и успех.

Новые альманахи не растут, как грибы, ни у нас, ни за рубежом. Поэтому особым уважением проникаешься к людям, пытающимся сохранить и укрепить интерес к серьезной литературе. Среди них издатели ежегодного альманаха «Встречи», выходящего в Филадельфии. Он собирает под одной обложкой поэтов и художников трех волн русской эмиграции, живущих ныне не только в разных странах, но и на разных континентах. В сборнике за 1991 год к первой волне относятся Кирилл Померанцев, Зинаида Шаховская, Александр Кондратьев, Дмитрий Соложев. Вторая волна представлена именами И. Буркина, С. Голлербаха, Н. Моршена, И. Чиннова. Из представителей третьего поколения назовем Е. Игнатову, В. Крейда, Л. Лосева, А. Радашкевича... Разные поэты собраны под одной крышей: живые и покинувшие этот мир, давно и хорошо известные и неизвестные вовсе; те, чье мировоззрение тесно связано с христианством, и те, кто ищет свой путь к истине. Разные и стихотворения: наряду с несомненными удачами есть и скромные произведения, основное достоинство которых скорее в чистоте и пламенности побуждений. Однако эта своеобразная неровность, шероховатость книги создает трогательное ощущение живого, неформального процесса.

Из представленных авторов хотелось бы прежде всего выделить профессора-слависта Льва Лосева, известного уже нашим читателям (см. подборку его стихов: «Октябрь», 1990, № 9). Его традиционный, с неожиданными ритмическими перебивками, поэтический консюязычием и бытовой лексикой стих звучит ультрасовременно. И на фоне этой современности возникает миф; два-три штриха — и вот уже мчащаяся по магистрали машина влетает в сумрачный лес:

Удивляются дубы — что за околесица,
сколь угодно то же самое, то же самое долбить.
А березы говорят: пройдет, перебесятся,
просто сразу не привыкнешь мертвым быть.

Интересно работает со словом и живущий в Париже Александр Радашкевич. Манерой письма, простой, с неожиданными переносами речью он чем-то напоминает Евгения Харитонову. Тексты поэта завораживают гибкостью интонаций и «мирикуснической» поступью стиха:

Болит иль поневоле отпустило,
а ты в себя влюби, пасущий муз,—
в такого ли, сякого, о том не
выказав заботы и в том не усмотрев
нужды. Иначе ты навек напрасен,
строку без пользы безобразил
радением закусенной губы и потом
смертным метил. А ты, напичканный
недугом, нечистью, недолей, сумей
припомниться за мраморные жесты,
за ветер рваный — вкусом поцелуя.

Талантлив, хотя и неровен, Вадим Крейд. Главная тема его подборки — дореволюционная Россия. Гуляя среди октябрьских айвовских дубов, он грезит «в стране над пропастью во ржи страной, которой больше нет».

Он свай вколачивал в топи свои,
И мысли роились, как пчел рок,
Постройку хотел возвести прекрасну.
Но вот погляди смелее окрест —
Тут смысла и горсточки не наскресть,
Все было и было и бу...
Опять понапрасну.

Россия — прошлая и настоящая — сквозная тема сборника. Многие авторы пользуются возможностью приехать на родину и сравнить мечту с реальностью. «Владимир, Суздаль... Ветхое Кольцо, когда-то впрямь, должно быть, Золотое», — вздыхает Лия Владимировна. Все так.

Другая тема, объединяющая большинство авторов альманаха, — тема поиска вертикали: поэты сквозь призму искусства стремятся изобразить жизнь в ее духовных измерениях. Выбор связующей нити отвечает, видимо, вкусам редактора ежегодника поэтессы Валентины Синкевич. Отправленная в 1942 г. на принудительные работы в Германию, она не захотела после войны очутиться на принудительных работах на родине и с 1950 г. живет в США. Первую поэтическую книгу опубликовала в 1973 г. — в возрасте уже сорока лет. С тех пор регулярно печатается и редактирует альманахи: с 1983-го — «Встречи» — до этого — «Перекресток» (1977—1982). Чтобы читатели могли представить творческую манеру поэтессы, приведу начало одного стихотворения:

Здравствуй, вечер рождественской ночи.
Светят звезды и фонари
тем, кто идут, останавливаясь у обочин
тех путей и дорог, что невмочь до зари
им пройти. Так идут, спотыкаясь и падая — снова
поднимаюсь, протягивая две руки
фонарям и звездам, и золоту слова
и шепча, как заклятье шепча — помоги!

Стихи В. Синкевич также были напечатаны в № 3 «Октября» за 1990 год.

Стихотворения, собранные в сборнике, несомненно, претендуют на высокий уровень духовности. Но что, собственно, мы понимаем под духовной поэзией? Строго говоря, это — аскеза, послушание на ниве храмостроительства. Достаточно привести примеры церковных стихов: покаянный канон Андрея Критского, псалмы царя Давида, молитвы Иоанна Златоуста. К таким стихам можно отнести и тексты Александра Кондратьева. Это, конечно, поразительный автор Серебряного века... Идет гражданская война, белая армия наступает на Москву. А поэт живет себе тихо в польско-волинском селе Дорогобуже и пишет стихи-молитвы, прося у Господа и Богородицы милости грешной стране.

Под защиту Твою прибегаем,
Богоматерь, спасенье людей.
Огради нас от бед и страстей
И укрой нас спасительным краем
Ризы чистой и светлой Твоей.

Безусловно, проблема взаимоотношения религии и литературы непроста. Чем больше совершенствуется художник слова, тем быстрее исчезает питавший его творчество греховный опыт, и на смену ему приходит опыт иной, духовный. Он сам по себе ценен, но не всегда получает должное воплощение в произведении. Видимо, в этом причина некоторой тематической и версификационной монотонности сборника, несмотря на, казалось бы, широкий диапазон и того, и другого. Мало чисто языковых и — не побоюсь этого слова — авангардных поисков. Ведь, чтобы доходчиво сказать о чем-то, нужно прежде всего найти понятный, адекватный художественный язык, придать ему характер «объективно сильной речи» (Вс. Некрасов). Без этого поэзия, и духовная в том числе, умирает. Поэтому жаль, конечно, что во «Встречах» не появляются; как раньше, авторы вроде Р. Худякова и В. Бахчаняна. Но это я говорю так, к слову.

В целом же сборник интересен: приятно встретиться с людьми, живущими там, пишущими по-русски и душой болеющими за Россию. И нужен: время, безусловно, отберет из этого альманаха то, что действительно достойно войти в наследие отечественной культуры.

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН. СЫН ИМПЕРИИ. Роман. Рассказы. М., «Радуга», 1992.

Мальчик засыпает, рядом на стуле висит отцовский китель со стоячим воротником, сукно пахнет табачным дымом и еще запахом взрослого мужского тела. Так кончается вечер.

Сквозь дремоту мальчик видит — отец одевается, бренчит застежками скрипучей, душно пахнувшей португалии. Так начинается утро.

Повествование разворачивается, оставаясь на месте. Ведь здесь главное — не сюжет, а ряд картинок, сцепленных по принципу яркости. Больше не за что зацепиться. Послевоенная тяжесть и разор выглядят легкостью в этой летящей прозе, где все понятно и возможно, как и было тогда.

Незнакомый военный предлагает маме выйти за него замуж. «Да вы меня не знаете — так давайте познакомимся — но у меня сын — усыновим — но у меня дочь — удочерим...» Невыносимая легкость бытия, послевоенного, торопливого, когда жажда жизни пересиливает все. Бытия всегда такого, потому что мы уже притерпелись, наше время навсегда делится на «до войны» (там хорошо) и «после войны» (здесь тоже хорошо). Лишь бы войны не было... Мы зависли — это апокалиптическое, вечное время, когда времени больше нет.

Ясно, почему автор решил чуть слукавить, выбрал странноватый жанр. Так и обозначил: «Инфантильный роман». У нас все инфантильно, по-детски, даже у взрослых. И вокруг стоит она, Империя, а мы — ее сыны и дочери.

Генетическая или художественная память тут властны? — картинки столь знакомы. Кто знает, мы сами видели это в собственном детстве или читали в какой-то книге? И этот детский взгляд, видящий все и ничего не замечающий... Может, так кажется потому, что у нас была уже великая эпоха, а школа дураков набирала учащихся.

Детский взгляд, использованный для «остранения», не открывает доселе невиданного. А ведь хочется понять, почему мы — такие. Иногда это становится понятным, хотя ничего вроде бы и не сказано. Повествование тогда раздваивается, будто надавил на зрачок, заснул и теперь сонный пытаешься увидеть мир. Ирония сосуществует с пафосом, они проникнуты друг другом, как в той нерасчлененной действительности, которая длится и сейчас.

Венгры сбросили памятник Сталину. Папа с боевым товарищем собирается наводить порядок. «Если завтра в поход...» Достаточно выпито. Завтра — в поход. «...Папа обнял его, поцеловал в лоб, приятно уюлов усами, а потом отстранил и, плечи сжимая, предъявил Александра командиру эскадрильи:

— Видишь? Во второй класс уже пошел. Не себя... Что мы? Нас этому учили — умирать. И если живы мы остались после мясорубки той, кой-чему, значит, в этом деле научились. Но их вот, незапятнанных, — и он тряхнул Александра так, что зубы лязгнули, — их — жалко. Иди, сынок, играй. И ничего не бойся, понял? Пока мы живы — я и дядя Слава, — ты можешь ничего не бояться. Потом пьяного папу тащили под дождем домой. А утром он уехал. В Венгрию...

Проза С. Юрьенена пронизана автобиографизмом, и в трех рассказах, как бы дополняющих роман, достаточно подробно говорится о том, как его поколение — чуть позже — учили умирать и бояться. Бояться и умирать. И это лучший комментарий к названию серии, в которой издана книга: «Русское зарубежье».

И жалко всех — и этих, из «третьей волны», жгущих душу в Парижах и Берлинах и тех, облаченных в гимнастерки со стоячими воротниками, собирающих «тревожный» чемодан то ли в Венгрию, то ли в Польшу, то ли в гартарары, на край света, — и жалко себя... И только стишок, неизвестно откуда всплывший, и неизвестно — грустный или ироничный — крутится и крутится в памяти без конца:

Безутешная Россия
О своих скорбит сынах...

О чем он, этот стишок? Кто ведает.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

ЮЛИЯ КАПУСТО. ПОСЛЕДНИМИ ДОРОГАМИ ГЕНЕРАЛА ЕФРЕМОВА. М., Изд-во политической литературы, 1992.

«Легенда — бль. Она сложилась в тебе, в нее поверил, и она стала правдой. Значит, отлилось в ней что-то такое, что правда».

Проеденные ржавчиной десятилетий солдатские медальоны, блеклые фотографии в полуистлевших документах, патронные гильзы да братские могилы — страшный архив Шпыревского леса. Земля здесь ревет под рамкой металлоискателя, а вознесшиеся к небу кроны сосен надежно укрывают от посторонних глаз следы трагедии полувековой давности. Незаметно, но основательно делает свое дело время, — кто осмелится теперь, спустя столько лет, с полной определенностью утверждать: то было, а того не было? Наверное, оттого так противоречи-

вы рассказы ветеранов, видевших историю еще не переписанной набело, еще «в черновике»...

Гибели окруженной 33-й армии в лесах под Вязьмой посвящена новая книга Юлии Борисовны Капусто «Последними дорогами генерала Ефремова». Так много говорилось и писалось у нас о войне, что сама война затерялась где-то среди напластований исторической ретуши и литературной пудры, превратилась в сверкающий глянец сборник лубочных картинок. Война без «косметики» не просто страшна — она уродлива и отвратительна. Вчерашние юноши, прошедшие Афганистан, знают это не по книгам. Не дай нам Бог видеть ее звериный лик, но и забывать о войне по меньшей мере преступно.

В своих размышлениях Юлия Капусто отнюдь не стремится докопаться до абсолютной и безоговорочной истины — совсем наоборот, жизнь показана именно такой, какая она есть, во всем бесконечном многообразии. В авторском восприятии история представляется не аккуратной системой разложенных по полкам идей и периодов, но стволом могучего дерева, состоящим из тончайших волокон человеческих судеб. Действительно, возможно ли подсчитать, из скольких миллионов личных драм соткана эпоха? Эти незаметные, полузабытые нашим временем трагедии одна за другой оживают на страницах книги, и практически невозможно распознать, где здесь была, а где — легенда.

О кровавой вяземской мясорубке 1942 года классические сочинения по истории Великой Отечественной упоминают лишь эпизодически, однако сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что заранее обреченное наступление на Вязьму армии генерал-лейтенанта Ефремова было преступной ошибкой Ставки, порожденной жадной жаждой новых побед; в более мягких выражениях это признает в своих мемуарах Георгий Жуков. Самое время, казалось бы, гневно обрушиться на чудовищность промахов сталинских стратегов, на несправедливости тех лет. И все же решать вопросы такого рода автор предоставляет историкам, сознательно избегая оценивать события с точки зрения военного специалиста:

«Для народной памяти каждая военная операция связана с жертвами, связана с жизнью. И уж во всяком случае для народной памяти герои всегда остаются героями, независимо от того, какой научной оценки заслуживают операции, в которых они, выполняя приказ, проявили мужество. Бессмертное «Слово о полку Игореве» рассказывает о совершенно неудачной военной операции, но оно проникнуто сочувствием к погибшим и пострадавшим, чувством восхищения теми, кто вел себя в этом походе геройски, — другими словами, чувством народной справедливости к воинам независимо от стратегической и тактической оценки военных событий».

Параллель со «Словом...» далеко не случайна. Между походом новгород-северского князя на половцев и некоторыми наступательными операциями рубежа 1941—1942 годов нетрудно уловить характерное сходство, проявляющееся прежде всего именно в этом безнадежном героизме русских воинов, в победе духа как над стратегией, так и над тактикой. Отсюда наше отношение к описываемому действию, а потому очень удачен и эпиграф к книге, взятый из «Слова о полку Игореве»: «...А сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а древо с тоской к земле приклонилось». Отзвук этих строк скорбным мотивом пронизывает весь текст, придавая ему неповторимый оттенок.

Стилистически книга принадлежит жанру документально-художественного повествования, по тематике, оформлению и манере подачи материала близкого военной мемуаристике. Но невозможно не заметить целого ряда особенностей, бесспорно выделяющих ее из ряда типичных для этого жанра изданий.

Во-первых, это эпичность, которой удается достичь очень немногим «документальным» авторам. Ключ к активному восприятию текстового материала читатель получает в небольшом по объему, но динамичном авторском предисловии. Однако в ходе дальнейшего повествования автор внезапно отходит от прямого описания, и события далекого 1942 года, образы генерал-лейтенанта Ефремова и его бойцов раскрываются уже совершенно иным способом, через деятельность участников поисковой группы Александра Краснова. Рассказ о работе поисковиков выглядит мастерски написанным фоном, задача которого — оттенить вяземскую трагедию. Но, думается, нельзя принимать этот фон только лишь как средство для достижения единой цели; было бы правильнее признать, что на страницах книги сосуществуют две взаимопродолжающих и взаимодополняющих сюжетных линии. Прием, конечно, далеко не новый, но здесь, помимо того, что он дает объемность изображаемого, он служит оригинальному решению авторской задачи: не просто восстановить картины гибели ефремовской армии, но показать возрождение памяти об отцах в их детях. В этом смысле книга Юлии Капусто — своеобразный диалог двух последовательно сменявших друг друга поколений. Основа такого диалога — память, то есть та линза настоящего, сквозь которую прошлое проецируется на смутную поверхность будущего. Память — это всегда прогресс, ибо она лежит в основе генетической связи поколений. Читая книгу, невольно удивляешься гордости, с какой уцелевшие ветераны и сыновья ветеранов именуют себя ефремовцами; важно то, что это слово — не хвастливый фетиш и не ностальгический жест. Это скорее символ железной спаянности ныне жи-

вущих с ушедшими, того, что память об отцах определяет поступки, а то и судьбы детей.

Большое достоинство книги — житейская правда при однозначном отсутствии как идеологических умолчаний и стыдливых недоговорок, свойственных публицистическим жанрам прошлых лет, так и кричащей постперестроечной расхристанности. Это проявляется и в сдержанности суждений, и в реалистичных, тщательно выписанных характерах героев. Переплетенный воспоминаниями, отступлениями, размышлениями рассказ ведется неторопливо. Не монументальная, а человеческая правда о войне заставляет соседствовать героическое с низким, возвышенное с обыденным:

«...Командарм распахнул маскхалат, шинель, расстегнул гимнастерку, отвинтил свои ордена Красного Знамени — хотел было отдать их пулеметчикам.

— Не бери,— успел тихо шепнуть Титков пулеметчикам.— Нельзя. Да и все равно удостоверение нужно».

А вот описание последнего боя командарма ветераном Стопудовым: с беспощадной откровенностью он рассказывает, как оборванные, изголодавшиеся солдаты, едва успев окончить бой, забывают обо всем на свете и с нечеловеческой жадностью опустошают немецкую полевую кухню. Как говорится, геройство героизмом, — а это тоже портрет войны...

Нестандартен язык книги. Грань между документальным и художественным настолько тонка, что порой становится невидимой. Здесь можно подметить талант импрессиониста — картины боев, которые под иным пером вполне могли бы стать сухим батальным официозом, нарисованы с такой потрясающей яркостью, с такой необычной выпуклостью, что при всей документальности напоминают фольклорные предания, идущие из глубин веков.

И вряд ли стоит говорить о нужности этой книги после десятилетий незаслуженного забвения, сорной травой затянувшего память о невернувшихся. «Чем дальше, тем глубже мир, который они завоевали, тем тише небо, тем явственнее слышны их голоса из-под земли. Не бойтесь их слышать. Это голоса совести нашей».

Валерий ВОЛКОВ



Татьяна КОНШИНА

Серебряный фермуар

Автор воспоминаний о Сергее Яковлевиче Эфроне, предлагаемых вниманию читателей, Татьяна Ильинична Коншина — дочь известного в свое время театрального критика Ильи Николаевича Игнатова (1858—1921), долгие годы работавшего в газете «Русские ведомости». Можно предположить, что ее заметки не предназначались для публикации, а были написаны просто для себя, так же как и воспоминания о М. Пришвине (двоюродном брате Ильи Николаевича) или академике С. Вавилове. Это, на мой взгляд, придает мемуарам особую достоверность, подкупает безыскусностью и искренностью интонации.

Воспоминания касаются мало известного широкой публике периода жизни С. Эфрона — с октября 1917-го по январь 1918 года, который, однако, определил всю последующую трагическую эмигрантскую судьбу самого Сергея Яковлевича и Марины Ивановны Цветаевой. Трогательная и по-своему романтическая история, рассказанная Татьяной Коншиной, дает нам почувствовать и драматизм внутренней борьбы, происходившей в душе С. Эфрона накануне его отъезда в Добровольческую армию Корнилова, и одновременно позволяет догадываться о том, сколь непростыми были взаимоотношения в семье Цветаевой—Эфрона. Известно, что в январе 1918 года он буквально на несколько дней тайком приезжает в Москву. Какая же сила влечет его именно теперь в дом почти незнакомых ему людей, к девушке, которую он едва знает? А может, его просто вела судьба и нечаянная встреча с подругой матери и должна была стать последним толчком, окончательно разрешившим все сомнения Сергея Яковлевича?

Мы долго жили в скверном деревянном доме, на втором этаже. Лестница деревянная, почти голландская; все ветхое. Боялись пожара. Самые любимые и ценные вещи отдавали на хранение друзьям.

Когда, наконец, переехали в новый каменный дом, вернулись вещи — старые друзья, — которых давно не было дома. Вернулся любимый том Фета, весь исписанный на полях выдержками из высказываний о нем Л. Толстого и др., разные полужабытые безделушки и та старинная серебряная с бриллиантами вещь, которая и навела меня на мысль записать то, что было с нею связано.

Наша семья (более дружной и любящей семьи я не знаю) всегда жила в Москве — и до и после революции. Нас было всего две сестры и родители. (Отец — по образованию врач, но к концу жизни не практиковал.) А на Рождество и на Пасху к нам приезжала всегда сестра отца¹. Она была учительницей в сельской школе в Орловской губернии, Елецком уезде (как написал о ней ее двоюродный брат, М. М. Пришвин, «на легальном положении»), а до этого, в ранней молодости, она приехала «из провинции» в Москву вместе с двумя своими кузинами и подругой — учиться. Но с учением у них дела как-то плохо налаживались, а политикой они занялись сразу. Вокруг них появилось много студентов. Кружки, споры, доклады. Тетушка наша много рассказывала нам об этом периоде своей жизни. Подруга их, очень красивая девушка, была дочерью генерала, воспитывалась строго и тонно. Но аристократическая среда ей была не по душе, она поврала с домом и с моими тетками зажила «студенческой» жизнью. Не знаю, все ли они, но моя тетушка, Евдокия Николаевна Игнатова, вскоре по приезде в Москву вступила в народническую организацию «Черный передел» и работала там

¹ О нашей тетушке, Евдокии Николаевне Игнатовой, см. сборник «Группа «Освобождение труда», а также у М. М. Пришвина в романе «Кащеева цепь», где она выведена под именем Дунечка. О ней же М. М. Пришвин писал в «Литературной газете» в связи с постановкой фильма «Сельская учительница». (Здесь и далее примечание автора.)

до момента, когда начались поголовные аресты, когда принужден был уехать за границу (где вскоре и умер) ее брат, В. Н. Игнатов (член-организатор группы «Освобождение труда»), и послан был ее младший брат, И. Н. Игнатов. Она умела так увлекательно говорить об их молодой жизни, о революционных идеях, которыми они горели, о тех героических подвигах, которые им хотелось (но не удалось) совершить, что мы с детства привыкли видеть в этих студентах и их приятельницах чуть что не декабристов. Слушали рассказы с горящими глазами. Сплошная романтика.

В период между февралем и октябрем (ноябрем н. ст.) 1917 года все между собой разговаривали «о событиях», даже незнакомые. Говорили у памятника Пушкину, выступали с речами возле памятника Скобелеву, митинговали на улицах, говорили «на темы дня» в трамваях и на бесчисленных собраниях.

На одно из таких собраний в самом начале октября месяца (ст. ст.) отправились мы с сестрой. Младшая — начинающая курсистка, я — кончающая, замужняя (муж был где-то в отъезде). Обещали отцу вернуться не поздно, на трамвае. Он никогда не ложился, пока мы не возвратимся домой.

Собрание бурное. Выступали ораторы всех направлений. Страсти разгорались. Аплодисменты, свистки, топание. Мы опомнились, когда собрание было объявлено закрытым и публика ринулась к выходу. Все сроки были просрочены. Трамвай кончили ходить. Надо было ловить извозчика. Толпа шумела, споры продолжались на улице. В пылу страстей что-то восклицали и мы, кто-то подавал реплики, кто-то был согласен, другие оспаривали. Около нас оказалось два молодых офицера в длинных кавалерийских шинелях, в фуражках со сбитыми назад тульями. С ними мы главным образом и перебрасывались словами. Постепенно публика таяла; расходились по разным направлениям. На углу Мясницкой оказалось, что на опустевшей улице только и остались мы, две и два офицера. Где извозчики? Что делать? Ах, Боже мой! И неожиданно один из офицеров (тот, которого за большой рост мы потом прозвали «высокий») обратился со следующим предложением: «Разрешите нам сопровождать вас, пока не попадется извозчик?» Разрешение было дано: оставаться одним на темной улице было страшнее, чем идти, хотя и с незнакомыми, но, по-видимому, такими умными (!) офицерами. Прерванный разговор продолжался в том же страстном и высокоом стиле. О чем? Точно передать трудно. О слышанных речах, о будущей судьбе России. Мы только могли установить (потом, когда вспоминали), что в то время, как мы сами никак не могли остановиться ни на каких твердых политических позициях и соглашались почти с каждым оратором, если его речь была пламенной и убежденной, — незнакомцы, по-видимому, имели более установившиеся взгляды. Но определить, какой партии они отдавали предпочтение, мы не могли. Они, казалось, воспринимали всех критически: все кадеты насмешливо именовались ими «Дарданеллами Николаевичами» (это название принадлежало не им; оно было образовано из имени лидера кадетов Милюкова — Павла Николаевича, который не переставал говорить, что России нужны проливы, главным образом Дарданелльский), с.-д. они называли «твердокаменными» и «твердолобыми», с.-р. — «мелкой земской единицей». Свою речь они пересыпали словами «человеческое достоинство», «свобода духа», «право», «вечность».

Извозчик так и не попался. (Может быть, его не заметили?) Проходя по Каретному ряду, мы, увидев свет в особняке, занимаемом Станиславским, упомянули что-то о его сыне (с ним в эту пору дружила моя сестра). Оказалось, новые знакомцы с ним тоже знакомы, а также и с его двоюродным братом, одним из друзей детства² моей сестры.

Когда подошли к воротам нашего дома, «средний»³ (по будущему прозвищу за средний рост) отрекомендовался: «Г... А. С.», а высокий сказал: «Разрешите не называть себя. Мы, по-видимому, из одного круга. Потянется вереница общих знакомых. Пересуды. К чему? Не лучше ли продолжать вести те беседы, которые так были интересны». Простились. Пробежали двор. Только открылась дверь квартиры, мы ворвались с криком: «Мама, папа, нас офицеры провожали». Пошли подробные рассказы обо всем, что было в этот вечер и главным образом о провожавших, из которых, как мы определили, один веселый и умный, а другой — умный и особенный. В результате сообщений отец сказал: «И где вы только нашли такого маркиза Позу, гражданина будущих поколений?»

Прошло несколько дней. Звонит по телефону упомянутый друг детства (племянник К. С. Станиславского — Сергей Борисович Алексеев). «Пойдем в кино». — «Пойдем». Условились, где встретиться. Не сознались друг другу, что хотелось расспросить о новых знакомых. Пришли. Серезжи нет и в помине. Ждут

² «Друг детства» — Сергей Борисович Алексеев, сын родного брата К. С. Станиславского, очень милый человек, ничего, однако, интересного собой не представлявший; умер в эвакуации во время второй мировой войны.

³ «Средний» — Александр Сергеевич Говоров. Я ничего, кроме того, что записала, о нем не знаю.

новые друзья, которые, очевидно, и подстроили это приглашение. После сеанса бесконечное хождение по улицам и разговоры, разговоры. И на этот раз офицерские речи (особенно слова «высокого») показались опять необыкновенно интересными. Он говорил, что Россия должна спасти мир от «ига духовного рабства», что «русский народ — избранник и пойдет впереди всего человечества». Куда? Зачем? Как? Мы узнать не пытались, да конкретности в речах и не было. Скорее (как мы вспомнили потом) полет в неопределенное царство свободы и справедливости, где «гражданин человечества» найдет возможность проявить свой творческий дух. Что-то в этом роде. (Отвлеченно. Возвышенно и неопределенно, — это говорю я теперь, через несколько десятков лет.) Оба они произвели впечатление чего-то необыкновенно чистого, и стремления их облагодетельствовать человечество были хотя и неопределенны, но полны благородных побуждений. (Это тоже я подвожу итоги теперь.)

Прощаясь, сестра пригласила «среднего» как-нибудь посетить наш дом. «А с незнакомыми, — сказала она, не без кокетства обращаясь к «высокому», — мы незнакомы». Безмолвный поклон, рука к козырьку, звон шпор.

После нашего рассказа отец сказал: «Не довольно ли ходить по улицам? Пригласите домой или прекратите знакомство».

Однако мы были немало заинтересованы такими своеобразными незнакомцами. Длинные прогулки, кино в обществе офицеров, да еще незнакомых, — так это было необычно в мирной жизни нашего патриархального семейства! К тому же и наружность обоих была, что называется, интересна. «Средний» — весь хорошо сложен. Ясные черные глаза, правильные черты лица, общее выражение веселого задора. Внешность же «высокого» была и красива, и не совсем обычна. На худом нервном лице — огромные серо-зеленые глаза (по нашему определению, «озера»). Движения небыстрые, речь негромкая, во всем облике какая-то редко встречающаяся серьезность и порой вдруг — оживление, бьющий изнутри темперамент. Инкогнито не раскрывалось. Слышали только, что «средний» называл «высокого» Сергеем.

На следующее утро после посещения кино сестра моя увидела «высокого» у ворот нашего дома. Он оказался там для нее совершенно неожиданно, для него, вероятно, неслучайно. Проводил ее до курсов, куда она шла. Разговор шел о литературе.

А дальше... Дальше прогремел Октябрь. Все изменилось. Новые знакомцы исчезли. Да и было не до них.

Как-то еще перед самыми боями сестре моей пришло вдруг в голову позвонить своему знакомому и спросить: «Скажите, пожалуйста, нет ли брата у вашей знакомой такой-то? Я видела ее у вас несколько раз, у нее такие необыкновенные, красивые глаза». «Как же, как же, Сережа. Он был студент, но теперь офицер. Он женат...» (называет фамилию известной поэтессы).

Так и было открыто инкогнито: по необыкновенным глазам. Но события заставили забыть обо всем.

12 (25) января — Татьянин день. В 1918 году он справлялся в нашей семье более чем скромно, не так, как в прежние года, когда мои именины праздновали весело, шумно и многолюдно. А в этот раз только моя семья, одна подруга, пришедшая с ночевкой, чтобы не выходить вечером «в переулочки глухие», и сестра отца Евдокия Николаевна, приехавшая к нам из деревни на две недели. Только сели за стол в уютной столовой — звонок. Меня вызывают в переднюю. Стоит очень высокий человек в длинной дохе с поднятым воротником, наполовину закрывающим лицо. Видны только огромные глаза. «Узнаете? Можно поздравить? Я всего на несколько дней в Москве».

Боже мой! Какая неожиданность, даже как будто таинственность!

Вот как прошел этот вечер: тетушка наша, обычно такая молчаливая при чужих, вскоре обратилась к пришедшему: «Мои племянницы рассказывали нам, как случайно и необыкновенно они познакомились с вами. В молодости я знала студента, носившего вашу фамилию. За него потом вышла моя подруга. Мне хотелось бы знать, как урожденная ваша матушка?» «Дурново». «Лилечка! Ну, конечно же, я была уверена, взглянув на вас. У вас — ее глаза».

Тетушка рассказала ему следующее (то, что мы знали, но, конечно, совсем не связывали с нашим офицером). Как они, три сестры, приехали в Москву молодыми девушками, как жили вместе с подругой. «Лилечка была очень хороша собой, все мы, правду сказать, были недурны, но она была настоящая красавица, — рассказывала тетушка. — Вокруг нас было много студентов. Под их влиянием мы скоро прониклись революционными идеями и даже предоставили одну из своих комнат под явочную квартиру. Как теперь подумаешь, все было еще такое наивное! Лилечка, например, разбудила нас как-то ночью. «Слушайте, — говорит, — какой звон! Может быть, это начало революции? Набат». Оказалось, это благовест под Светлый праздник. Вот такие мы были глупые. А между тем эти полудетские бредни стоили иногда искалечения целой жизни. У Лилечки было два поклонника. У одного была кличка «Юрист», а другой — ваш будущий

отец. Она, по совести говоря, тогда отдавала предпочтение «Юристу», но его арестовали. Вообще арестов было много, и ваш отец уговорил Лилю ехать за границу. Мы все считали, что ее надо спасать из-за дружбы с «Юристом». Но средств на поездку не было. К своему отцу она обращаться не хотела. У меня было жемчужное ожерелье. Мы быстро его ликвидировали, и на эти деньги она уехала за границу. Там они и поженились. А вот сегодня я подарила своей племяннице тот фермуар, который скреплял этот жемчуг». Я принесла фермуар, и тетушка показала, где и как было прикреплено ожерелье. «И подумать только, через столько лет я рассказываю все это Лилечкину сыну. Какой случай! Как все на свете удивительно!»

Рассказ так сильно взволновал гостя, что он долго сидел молча. Он все рассматривал фермуар. «И эту вещь держала в руках моя мать». Его, по-видимому, особенно поразило, что воспоминание о ней пришло, когда он этого совсем не ждал, и в момент, когда он стоял перед решением важных для себя вопросов жизни. Он пробормотал что-то вроде: «Теперь, именно теперь!»

Случайность нашей встречи и неожиданный рассказ тетушки — все было так необычно, так подействовало на всех сидящих за столом, что моментами глаза увлажнились, наступало молчание. Все были взволнованы. Весь вечер был пронизан каким-то диккенсовским настроением, идущим прямо вразрез со всеми событиями и переживаниями последнего времени. Много говорилось о необычайном случае, который свел потомков двух подруг. («И зовется случай — чудом...». Вяч. Иванов.) Тетушка еще много рассказывала о прошлом.

Он ушел. Никто не спросил, где он был эти два с половиной месяца, когда уезжает, что думает о происшедшем в октябре. Вопросы не предлагались. Сам же он об этом молчал. Оставались одни предположения, догадки. Юг? Белый? Красный? Никакой?

Что потянуло его, приехавшего, как он сказал, всего на несколько дней и, кажется, действительно инкогнито, в семью почти незнакомых сестер? Не магический ли магнит фермуара привел его? Неведомо. Пути неисповедимы. Сам он, по-видимому, воспринял рассказ тетушки как нечто мистическое, как протянутую к нему материнскую руку в такой решительный и значительный момент его жизни.

Больше мы никогда не видели этого человека. Через несколько месяцев дошел слух, что потесса получила разрешение на отъезд за границу. Она уехала, как говорили, к мужу. «Средний» как-то посетил нас вместе с Сереей Алексеевым («другом детства»), но разговор не клеился. Всем почему-то было неловко. Слишком все переменялось кругом.

Но случай (все случай!) несколько раз приводил к тем же воспоминаниям. Прошло десять лет. Летом 1927 года мы с мужем сели на небольшой пригородный катерок, чтобы прокатиться и не скучать на пристани во время длительной стоянки большого парохода, на котором мы ехали вниз по Волге. Среди толпы пассажиров я несколько раз поймала на себе внимательный взгляд человека, лицо которого показалось мне знакомым. Подошел. «Мы когда-то встречались». «А. С.?» «Да. Вот и опять встретились». Как он постарел, наш славный «средний». Где веселый задор? Глаза потускнели. Весь какой-то пришибленный. Познакомился с мужем. Разговор обывательский. Спешил рассказать, что женился, что живет здесь, в провинциальном городе, растит сына, служит в краеведческом музее. Казалось, что боится вопросов, страшится старых воспоминаний. Чуть-чуть только посветлел, когда, прощаясь, спросил о моей сестре.

Какая опять случайная встреча! Ведь он проехал на катере всего полчаса. Мог сестра на любой другой (они ходят, как трамвай). Он слез, а мы поехали обратно. Встреча произошла, чтобы поставить последнюю точку. Грустно было видеть, что сделала жизнь с человеком, еще так недавно живым и веселым, полным самых светлых мечтаний о благе человечества. Хотелось думать, что это состояние временное. Больше за всю жизнь никто из нас о нем не слышал.

А вот о «высоком» пришлось услышать и опять так неожиданно, как все, что было с ним связано.

1938 год. Теплушка. Через маленькие зарешеченные прорезы наверху свет проходит скудно. Нары в два яруса. Я лежу на нижних. Во всех концах говор. Надоело. хочется помолчать. Дремлется, но разве заснешь, когда через тебя ведется разговор двумя твоими соседками? Одна оживленно рассказывает другой о своей поездке с мужем за границу (он был командирован). «Понимаешь, там все такое шикарное. Конечно, я знаю, это все капиталистическое, но все-таки как посмотришь на эту жизнь... ах, до чего шикарно!» «Ну, а русских ты там видела?» — с любопытством спрашивает собеседница. «Видела. Ну, что тебе сказать? Шантрапа. Вот только был один, как там называют, гид. Это, видно, был человек. Фамилию забыла, а звали Сергей. Он нам все показывал, все объяснял. Очень много, видно, знает. А сам такой интересный, хоть и молодой: высокий, глаза большущие, в руках палка, только не хромает, а так, для форсу. Что-то в нем было особенное. Даже муж говорит: «Ты чего на эмигранта заглядываешь»

ся?» А когда ушел, сам сказал: «Интересный мужик. Романтик». «Романтик, наверное», — не удержалась и раздраженно вмешалась я.

«Муж с ним про политику говорил, гид все что-то про свободного человека рассказывал. Ну, этого я, конечно, ничего не знала, а только я не слыхала, чтобы он романы сочинял. Почему это муж его так назвал? Мне потом сказали про его жену, что она у него писательница, — это правда». И женщина, несколько переуврав, назвала фамилию «поэтессы». Опять промелькнул образ «высокого», как неожиданно и в какой обстановке.

Долго спустя мы услышали, что «поэтесса» с разрешения властей возвратилась на родину. Говорили, что получил возможность вернуться и ее муж, после того как он сражался за освобождение Испании, но погиб. Где и при каких обстоятельствах, я не знаю. «Поэтесса», как стало известно в Москве, вскоре скончалась с собой.

Вот и все. В вымышленном произведении был бы, вероятно, роман, любовь, все было интересней, а в жизни только случайности. Только случай. Но след в душе остается.

А камни фермуара переливаются бесстрастным своим блеском. В чьи руки передать его? Говорят, у них была дочь. Но кто она? Где? Говорят, на родине. Может быть, отдать ей? Может быть, этой оставшейся части украшения тоже суждено сыграть какую-нибудь немаловажную роль в жизни внучки? Ведь когда-то половина его так много сделала для перемены судьбы ее бабки.

Когда я прочла «Северную повесть» Паустовского, я (в подтверждение того, что в жизни бывает нечто аналогичное тому, что вышло из-под его пера) послала ему свою запись. У него описывается **вымышленная** история, как через несколько поколений встречаются потомки людей, предки которых были связаны общей судьбой. Событие же, о котором я вспоминаю, — не фантазия, не вымысел, а истинная правда.

*Вступление и публикация кандидата
филологических наук Галины ЧЕРМЕНСКОЙ*



Содержание журнала «Октябрь» за 1992 год

ПРОЗА

АЛДАНОВ Марк. Десятая симфония. Повесть. Публикация, подготовка текста и предисловие А. Чернышева.	XII	44
АЛЕШКОВСКИЙ Юз. Книга последних слов. Фрагменты.	VIII	83
АНАНЬЕВ Анатолий. Лики бессмертной власти. Роман. Книга первая. Царь Иоанн Грозный.	III	3
	IV	24
	V	69
	VI	24
БАРВЕНКО Владимир. Гон. Рассказ.	VIII	3
БУИДА Юрий. Апокрифы нового времени. Рассказы.	III	128
ВАСИНСКИЙ Александр. Большое безумие. Повесть.	XI	3
ВОЛКОГОНОВ Дмитрий. Лев Троцкий. Политический портрет. Книга вторая.	I	131
	II	140
ГЕНАТУЛИН Анатолий. Валуны. Рассказ.	V	138
ГОРЕНШТЕИН Фридрих. Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних. Послесловие Б. Хазанова.	I	92
	II	66
ГОФ Инна. Долгий век. Публикация К. Я. Ваншенкина.	IV	107
ДЕНИКИН А. И. Очерки русской смуты. Том третий. Подготовка текста и примечания доктора исторических наук, профессора Л. М. Спирина.	VIII	111
	IX	114
	X	76

ИВАНОВ Георгий. Книга о последнем царствовании. Предисловие, комментарии и публикация В. Крейда.	VII	71
ИВЕНШЕВ Николай. Худое горло. Рассказ.	XI	124
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Младший брат. Роман.	VII	7
	VIII	22
	IX	33
КИРЕЕВ Руслан. Песни Овидия. Повесть.	IX	3
КЛИНГ Олег. Меченыс. Повесть.	V	3
КОНДРАТЬЕВ Александр. Сны. Повесть. Вступительная статья и публикация В. Крейда.	IV	148
КОРОТКОВА Екатерина. День рождения Катки. Рассказ.	III	154
МАКСИМОВ Владимир. Как в саду при долине. Маленькая повесть.	VI	3
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. Иисус Неизвестный. Предисловие и публикация И. Васильева.	XI	134
	XII	127
МИТРОФАНОВ Илья. Бондарь Грек. Быль.	III	79
МИТРОФАНОВ Илья. Куклы. Рассказ.	IX	88
Новые имена. Рассказы Е. НЕКРАСОВА, О. ЛЕЩУКА, П. АЛЕШКОВСКОГО, И. АЛЕКСЕЕВА, М. ВУТОВА, В. ЛАВРИШКО.	XII	3
ОГАНОВ Иван. Песни об умерших детях. Трагифарс.	II	3
ОДОЕВЦЕВА Ирина. Оставь надежду навсегда. Роман. Предисловие и		

публикация А. Колонницкой.	X	3
	XI	70
	XII	91
ПЬЕЦУХ Вячеслав. Рассказы.	I	117
САЛЫНСКИЙ Афанасий. Одиночка. Рассказ.	VI	140
САПГИР Генрих. Рассказы. Предисловие Ю. Орлицкого.	X	57
СУХАНОВА Наталья. Вода возьмет. Рассказ.	II	120
ТУМАНОВ Юрий. Буйвол, бедный Буйвол. Рассказ.	IV	3
ШТЕНГЕЛОВ Евгений. По следу. Повесть.	VI	119
ЭППЕЛЬ Асар. Пока и посколькы. Рассказ.	IX	103
ЯМПОЛЬСКИЙ Борис. Знакомый город. Современные портреты.	I	19
ЯРОШИНСКАЯ Алла. У разоренных гнезд. Рассказ.	XI	130

ПОЭЗИЯ

АХМЕТЬЕВ Иван. На своей лад.	III	207
БЫКОВ Дмитрий. Наши игры.	VI	21
ВАНШЕНКИН Константин. Поздние уроки.	XI	67
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. Унавшая тень.	IV	21
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей. Одно стихотворение.	I	116
ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья. Стихи последних лет.	XI	126

ГРЕЧКО Ольга. **Дождь с сентября.**

VII 69

ГРИВНИНА Ирина. **Каждый день — разлуки.**

IV 104

ДУНАЕВСКАЯ Елена. **Без дали и боли.**

VII 20

КЕНЖЕЕВ Бахит. **Чем обреченнее, тем слаще...**

V 64

КОНОНОВ Николай. **В тени.**

II 194

КРЕПС Михаил. **Глоток зимы.**

VI 116

КРИВУЛИН Виктор. **Последняя книга.**

V 136

ЛЕОНОВИЧ Владимир. **Пять стихотворений.**

X 54

ЛОСЕВ Лев. **Новые стихи.**

III 75

ЛЯМПОРТ Ефим. **Про фазана.**

III 125

МАЗО Наталия. **Сквозняки родных окраин.**

IX 31

МЕЛАМЕД Игорь. **Три стихотворения.**

VII 112

МОЧАЛОВ Лев. **Голоса Гефсиманского сада.**

XII 89

НАЙМАН Анатолий. **Убыль звука.**

II 63

Новые имена. Анастасия

ЧАЙКОВСКАЯ, Александр

МАКАРОВ-КРОТКОВ, Татьяна

ВОЛЬТСКАЯ.

XII 37

РУБИНШТЕЙН Лев. **Поэзия после поэзии.**

IX 84

СКИДАН Александр. **Цвет и орнамент.**

VIII 81

СОСНОРА Виктор. **Два сентября и один февраль.**

I 90

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

АВТОРХАНОВ А. **Мемуары.** Подготовка текста к публикации С. Николаева. Примечания Д. Г. Юрасова. «Вместо послесловия» Г. Померанца.

VIII 142

X 131

АНДРЕЕВ Сергей. **Россия в перспективе.**

III 162

ВАСИЛЬЕВ Борис. **Россия: Четыре Книги Бытия.**

I 4

ПАРАМОНОВ Борис. **Горький, белое пятно**

V 146

ПИВОВАРОВ Ю. **Бывшее, но не сбывшееся. О «русском марксизме» и его удивительной судьбе.**

II 177

ПИВОВАРОВ Юрий, ФУРСОВ Андрей. **КПСС: состоялся ли суд истории?**

XII 155

РАЗГОН Лев. **Письмо в редакцию.**

XI 192

СОКОЛОВ Максим. **Так какую же войну мы проиграли?**

IV 165

СТРЕЛЯНЫЙ Анатолий. **На верхней боковой.**

I 168

СТРУВЕ Петр. **Итоги и существо коммунистического хозяйства.** Предисловие и публикация Ивана Задорожнюка.

VII 114

Товар — деньги — товар

ВИНОКУР Сергей. **Конверсия и экономика: возможен ли брак по любви?**

IV 173

ОЛЬСЕВИЧ Ю. **Свобода и хлеб.** О Хайеке, Кейнсе и нашей реформе.

V 168

ПИЯШЕВА Лариса. **Приватизация и мы.** Беседу вел Сергей Винокур.

VI 151

РУДЫК Э. **О собственности работников без гнева и пристрастия.**

IX 146

СИМАКОВ Владимир. **Биржа как колыбель предпринимательства.** Беседу вел Иван Жагель.

III 183

Гуманитарный факультет

КОКС Харви. **Религия в мирском граде.** Перевод и примечания Ольги Боровой. Послесловие Сергея Лёзова.

VI 156

ТИЛЛИХ Пауль. **Мужество быть.** Перевод с английского Татьяны Вевюрко.

Послесловие Татьяны Вевюрко и Сергея Лёзова.

IX 152

Духовное наследие России

«...Социализм можно понимать разное». «Большое письмо» Д. И. Шаховского А. А. Корнилову.

Предисловие и публикация Н. П. Соколова. Послесловие Дмитрия Шушарина.

XI 156

XI 156

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АРСЛАНОВ Виктор. **Три революции.**

X 189

БРОДСКИЙ Иосиф. **Fondamenta degli incurabili.** Перевод с английского Г. Дашевского.

IV 179

ВЕНЦЛОВА Томас. **Путешествие из Петербурга в Стамбул.**

IX 170

ЗОЛОТОНОСОВ Михаил. **Картезианский колодец.** Заметки из цикла «Засада гениев».

II 188

КОЛЫМАГИН Борис. **От слова первого до точки.**

III 205

К столетию Марины Цветаевой. Марина ЦВЕТАЕВА. **Девять писем с десятком, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, — и послесловием.**

Вступление, публикация и перевод с французского Юрия Клюкина. * Н. КАТАЕВА-ЛЫТКИНА. **Поэт Марина Цветаева и семья композитора Скрябина.**

X 160

МАРТЫНОВ Леонид. **Старинные легенды.** Публикация Г. Суховой-Мартыновой.

VII 187

МЕДВЕЦКИЙ Игорь. **«Игра ума. Игра воображенья...».** Метод анализа художественного текста.

I 188

ОРЛИЦКИЙ Юрий. Роман... с газетой.

III 202

ПЕРЕЯСЛОВ Николай. Синдром Нострадамуса, или Гоголь против тоталитарной системы.

V 176

ШАЙТАНОВ Игорь. Текст от руки.

IV 206

ШКЛОВСКИЙ Евг. Обязательные заметки. По мотивам «Апокалипсиса нашего времени» В. Розанова.

X 180

ШОХИНА Виктория. Восемнадцатое брюмера генерала Букашева.

III 198

Советская литература — новый взгляд

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр. Движущийся ребус. Над строками «Высокой болезни» Б. Пастернака и не только.

XII 166

САРАСКИНА Людмила. Ф. Толстовский против Ф. Достоевского.

III 187

САРНОВ Бенедикт. Что же спрятано в «Двадцати стульях»?

VI 165

Панорама

П. А. СТОЛЫПИН. Нам нужна великая Россия (В. Арсланов); Владимир МАКАНИН. Лаз (Л. Барташевич); Венеамин БЛАЖЕННЫХ. Возвращение к душе (П. Красноперов); Зинаида ШАХОВСКАЯ. В поисках Набокова (Б. Филевский); А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. У парадного подъезда (Н. Мазур); В. Ф. ПАНОВА, Ю. Б. ВАХТИН. Жизнь Мухаммеда (Ю. Майшев); Эжен

ИОНЕСКО. Носорог. (М. Краснова).

II 197

Владимир НАВОКОВ. Бледное пламя (Б. Чернин); Сальвадор ДАЛИ. Дневник одного гения (Т. Василевская); Борис ГРЕБЕНЩИКОВ. Дело мастера Бо (А. Гомарник); М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ. «В начале было слово...», В. М. АЛПАТОВ. История одного мифа (Э. Хан-Пира); Встречи. Альманах (Б. Колымагин); Сергей ЮРЬЕНЕН. Сын империи (Б. Филевский); Юлия КАПУСТО. Последними дорогами генерала Ефремова (В. Волков).

XII 174

Гипотезы, разыскания

ВОЛГИН Игорь. Не удостоенные света. Булгаков и Мандельштам: опыт синхронизации.

VII 126

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГИППИУС Зинаида. «Не угасим огонь души...» Предисловие и публикация Н. И. Осьмаковой.

VIII 169

Николай Иванович ГЛАЗКОВ — Великий русский Гуманист и Путешественник. Публикация Н. Н. Глазкова. Вступительная статья Евг. Перемышлева.

I 193

САМОЙЛОВ Давид. Друг и соперник. Публикация Г. И. Медведевой.

IX 178

ШКАПСКАЯ Мария. Черная пчела. Стихи. Вступи-

тельная статья и составление М. Л. Гаспарова

II 168

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИВАНОВА Тамара. Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. Бабеля. Комментарий Евг. Перемышлева

V 183

VI 183

VII 161

КОНШИНА Татьяна. Серебряный фермуар. Вступление и публикация Г. Черменской.

XII 185

Разгром ОБЭРИУ: материалы следственного дела. Вступительная статья, публикация и комментарий И. Мальского.

XI 166

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Сергей БИРЮКОВ. Жизнь как слово. * Елена СТЕПАНЯН. Приятие того, что есть. * Александр ЛЮСЬИЙ. Вспоминая тишину...

VIII 188

ОТКЛИК

на книгу Сельмы ЛАГЕРЛЕФ «Сказание о Христе» (Елена Трофимова)

III 197

на собрание сочинений Г. К. ЧЕСТЕРТОНА в 3-х томах (Феликс Икшия).

IX 177

К нашим читателям

В канун нового, 1993 года хотелось бы подвести некоторые итоги достаточно трудного для нас года минувшего. Мы не выпустили ни одного двойного номера, хотя, быть может, и были некоторые задержки с выходом в свет и доставкой журнала. С чувством удовлетворения хочу сказать, что все — или почти все, — что было обещано читателям, мы сумели опубликовать и, судя по вашим многочисленным письмам, достигли желаемого результата.

Особо хотел бы поблагодарить за нравственную и финансовую поддержку тех наших подписчиков, которые в трудный для нас момент помогли журналу. С вашей помощью мы смогли более или менее успешно завершить год.

Что касается будущего года, то, на наш взгляд, и он не будет легким. Продолжают возрастать цены и на бумагу, и за доставку, увеличиваются типографские расходы. Назначенная за номер цена — 26 рублей без надбавок «Роспечати» — едва ли позволит нам свести концы с концами. Тем не менее, как и в этом году, мы будем изыскивать возможности покрыть недостающую сумму.

В лучшем положении оказались москвичи и жители ближнего Подмосковья. По многочисленным просьбам столичных подписчиков мы организовали подписку непосредственно в редакции по номинальной стоимости журнала; подписчику надо только раз в месяц захватить в редакцию за очередной книжкой. Подобная подписка может проводиться и коллективно, в том числе и по безналичному расчету. Все подробности и условия можно узнать по телефону: 214-62-05. Нам представляется также возможным проводить — при определенной договоренности — прямую коллективную подписку и на предприятиях других городов России. При этом дополнительно оплачивается только стоимость пересылки.

Новая форма предусматривает подписку и на второе полугодие 1993 года и еще одну возможность: до 20 числа каждого месяца можно подписаться на очередной или следующие номера текущего года.

Наши редакционные планы известны: в 7-м, 8-м, 9-м номерах печаталась наша реклама, которую по мере необходимости мы будем уточнять и дополнять, как того потребуют жизнь и литературный процесс. Но одно остается неизменным: направление журнала, в котором главным ориентиром всегда будут оставаться высокая духовность и просветительство, так необходимые сегодня народу. История, современность, будущее — ничто не останется за пределами нашего внимания, и мы постараемся сделать так, чтобы каждая книжка журнала стала для вас настольной, стала помощником, другом, советчиком в обновляющейся российской действительности.

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ


Новости

ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ!

Издательство «Новости» в 1993 году выпустит Собрание сочинений в 14 томах выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876—1916), в котором представлены наиболее значительные романы, повести, рассказы и статьи писателя.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ

- Том 1 — Северные рассказы, объединенные в сборники: Сын Волка, Бог его Отцов, Дети Мороза.
- Том 2 — Путешествие на «Ослепительном». Повесть.
Дочь Снегов. Роман.
Зов предков. Повесть.
- Том 3 — Люди Бездны. Очерки.
Игра. Повесть.
Мужская верность. Рассказы рыбацкого патруля. Сборники.
- Том 4 — Морской волк. Роман.
Белый Клык. Повесть.
- Том 5 — Луннолицый. Любовь к жизни. Сборники рассказов.
Дорога. Очерки.
До Адама. Повесть.
- Том 6 — Статьи.
Железная пята. Роман.
Путешествие на «Снарке». Автобиографическая повесть.
- Том 7 — Мартин Иден. Роман.
Потерявший лицо. Сборник рассказов.
- Том 8 — Время Не-Ждет. Роман.
Когда боги смеются. Сборник рассказов.
- Том 9 — Рассказы Южного моря, Сын Солнца.
Храм гордыни. Сборники рассказов.
Лютый зверь. Повесть.
- Том 10 — Смолк Беллью. Цикл рассказов.
Рожденная в ночи, Сила сильных. Сборники рассказов.
- Том 11 — Джон Ячменное зерно. Повесть
Смирительная рубашка. Роман.
Алая Чума. Повесть.
- Том 12 — Маленькая хозяйка большого дома. Роман.
Черепаша Тасмана, Голландская доблесть. Сборник рассказов.
- Том 13 — Джерри-островитянин. Роман.
Майкл, брат Джерри. Роман.
Красное божество. Сборник рассказов.
- Том 14 — На днеовке Манилоа. Сборник рассказов.
Сердца трех. Роман.

ИЗДАНИЕ ПОДПИСНОЕ.

Условия подписки:

- Ориентировочная цена одного тома 100 рублей.*
Оформление серийное, твердый переплет,
объем каждого тома в среднем 500 страниц.
Подписка принимается книжными магазинами,
распространяющими подписные издания.